М. ГОРЬКИЙ

М. Горький

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

15

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

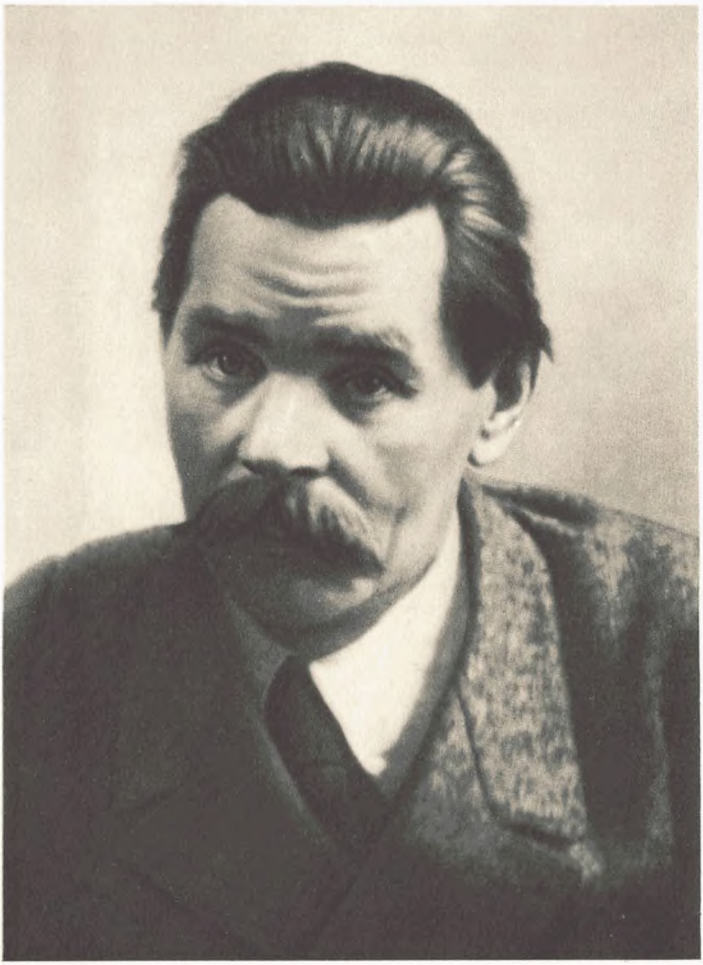
ТОМ ПЯТНАДЦАТЫЙ

ПОВЕСТИ
НАБРОСКИ

1910—1915

МОСКВА • 1972

7-3-1
Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ
Париж, 1912 г.

I

ДЕТСТВО

СЫНУ МОЕМУ
ПОСВЯЩАЮ

I

В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Меня держит за руку бабушка,— круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за нее; мне боязно и неловко.

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

— Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжко болен,— только что встал на ноги; во время болезни,— я это хорошо помню,— отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я ее.

Она ответила:

— С верху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые крашеные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком,— это я знал хорошо. И при чем тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь,— сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такою,— она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня,— причесывает отца и всё рычит, захлебываясь слезами.

В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено темной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего, не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; ее слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это — не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша! Пресвятая мати божия, заступница...

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребенок.

— Слава тебе, господи! — сказала бабушка.— Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу,— ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки,— две уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай,— сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

— Отойди, Леня,— сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, господи,— пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сравнялась с землей, а она всё еще стоит.

Мужики гулко шлепали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за

руку и повела к далекой церкви, среди множества темных крестов.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду.— Поплакал бы!

— Не хочется,— сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо,— тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут,— ответила она.— Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льется мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся,— говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поела чего, маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов,— неожиданно громко и сердито сказала мать.— Где же матрос?

Вот и слова у нее странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но,— толстая,— она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша,— крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошел братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю зароют?

— А как же? Зароют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь! — сказал он.— Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей,— вон как ее горе ушибло!

Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это — пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь.

В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидал людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода,— значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

— Это астраханский, из каюты...

Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем:

— Я тебе задам!

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошел к двери. Она не отворяется, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:

— Видно, в наказание господь дал,— расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости кляну! А ты спи! Еще рано,— солнышко чуть только с ночи поднялось...

— Не хочу уж спать!

— Ну, ино не спи,— тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать.— Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно вышевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка,— она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком,— это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей

воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час всё вокруг ново, всё меняется; зеленые горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенется она.— А я будто задремала да сон вижу.

— А о чем плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости,— говорит она, улыбаясь.— Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Еще!

— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые ласковые мужики,— слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

И, понюхавъ табаку, начинаетъ разсказывать мнѣ какія-то диковинныя исторіи о добрыхъ разбойникахъ, о святыхъ людяхъ, о всякомъ звѣрьѣ и нечистой силѣ.

Сказки она сказываетъ тихо, таинственно, наклонясь къ моему лицу, заглядывая въ глаза мнѣ расширенными зрачками, точно вливая въ сердце мое силу, приподнимающую меня. Говоритъ, точно поетъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ складнѣй звучатъ слова. Слушать ее невыразимо пріятно. Я слушаю, [redacted] и прошу:

— Еще!

— А еще вотъ какъ было: сидитъ въ подпечкѣ старичокъ-домовой, занозилъ онъ себѣ лапу лапшой, качается, хныкаетъ: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерпію!»

Поднявъ ногу, она хватается за нее руками, качаетъ ее на вѣсу и смѣшно морщитъ лицо, словно ей самой больно.

Вокругъ стоятъ матросы, — бородатые ласковые мужики, — слушаютъ, смѣются, хвалятъ ее и тоже просятъ:

— А ну, бабушка, разскажи еще чего.[redacted]

Потомъ говорятъ:

— Айда ужинать съ нами!

За ужиномъ они угощаютъ ее водкой, меня — арбузами, дыней; это дѣлается скрытно: на пароходѣ ѣдетъ человѣкъ, который запрещаетъ ѣсть фрукты, отнимаетъ ихъ и выбрасываетъ въ рѣку. Онъ одѣтъ похоже на будочника и всегда пьяный; люди прячутся отъ него.

Мать рѣдко выходитъ на палубу и держится въ сторонѣ отъ насъ. Она все молчитъ, мать. Ея большое, стройное тѣло, темное, желтоватое лицо, тяжелая корона заплетенныхъ въ косы сѣтыхъ волосъ, — вся она мощная и твердая, — вспоминаются мнѣ, какъ бы сквозь туманъ или прозрачное облако; изъ него отдаленно и

За ужином они угощают ее водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос,— вся она мощная и твердая,— вспоминаются мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка.— А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— Нашто они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка.— Эко неумное племя!

И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный

грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть,— слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил,— да и по сей день живет,— простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между

ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пущу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им всё, отец,— спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дико́е племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:

— Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где всё было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же,— маленький против нее,— ткнулся лицом в плечо ей:

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни,— в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шёлковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш»... Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который всё прерывался у нее:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так,— высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! — сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян,— это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку,— дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали.

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым

Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы,— проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими,— тише.

Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михаилов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем

небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне:

— Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему семишник дам,— сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал

из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу,— сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак.— Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки,— ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей,— позвал дед,— иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врешь,— сказал дед,— это не больно! А вот эдак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку.— Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука,— и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно Псалтырь читая, дед говорил:

— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце мое,— шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел,— в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет,— это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места,— старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами креп-

кими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели,— косточки скрипят,— идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится,— эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки,— в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел,— показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной,— он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь, под зеленой горой, поразложим, бывалоче, костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель,— аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет,— так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шёлковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.

— Ты глянь-ка,— сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах,— вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много!

— Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало,— видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шёлковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела; сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его,— он незабвенно просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю,— за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то,— чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было,— киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом,— ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок.— Конешно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу,— ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет,— ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять,— так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи,— он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер всё сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может,— дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

— Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его

в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль,— квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи,— о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя,— она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон обернут,— задумчиво и таинственно сказывала бабушка,— еле попискивает, закоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсупет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность всё, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить,— стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили,— целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, всё брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу,которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке,— уж больно люблю вас, малень-

ких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала,— он, бывало, ужжал особенно,— совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

— За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду,— он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, красноружая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

— Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масленом тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михаилов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются

желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимою быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —
Выл бы Яков с утра до ночи:
Ой, скушно мне!
Ой, грустно мне!
По улице монахиня идет;
На заборе ворона сидит.
Ой, скушно мне!
За печкою сверчок торохтит,
Тараканы беспокоятся.
Ой, скушно мне!
Нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл!
Ой, скушно мне!
Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне,— пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёлка, а шёлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому:

— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда,— он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

— Нет.

— Ну? Бывало, он да бабушка,— стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

— Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка.— Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилася работой,—
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее,— и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее — так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.

Ушла с улицы последней,
Жаль,— праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна,— уж и не помню чья, как звали,— так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее,— вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

— Певцы да плясуны — первые люди на миру! — строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

— Тебе бы в трактирах плясать,— с ума свел бы ты людей!..

— Мне голос иметь хочется! — жаловался Цыганок.— Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после — хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много — Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

— Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

— Пускай! Мне глаза больше не надобны,— всё видел я...

Пил он, не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

— Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

— Да, господне дитя...

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

— Что это такое, что? — выл он, обливаясь слезами. — Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

— Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

— Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

— Полно, Яша, господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

— Господи, господи! Как хорошо всё! Нет, вы глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

— Всё бы тебе знать! — неохотно, против обыкновения, сказала она. — Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

— Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

— Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

— Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал:

— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает,— понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием — просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

— Как забил? — говорит он, не торопясь.— А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная, как бы. Ты держись за нее крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

— Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием.

Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

— Нет, это всё без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

— Ты ведь не хотел?

— Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу.

— Не сдет?

— Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

— Эхма,— говорила она сыновьям и деду,— погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги,— накажет вас господь!

Дедушка хмуро ворчал:

— Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

— Всего купил, как сказано было? — спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

— Всё как надо,— весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

— Не бей голиц, за них деньги даны,— строго кричал дед.— Сдача есть?

— Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

— Опять что-то много ты привез. Гляди, однако — не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели:

— Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыгана:

— Тебе отец сколько дал?

— Пять целковых.

— А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

— Четыре с гривной.

— Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги ро́стят?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

— Ты нам, Ванька, по косушке поставь,— лениво говорил он.

Бабушка распрягала коня.

— Что, дитятко? Что, котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, богова забава!

Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шёлковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

— Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

— Уж так, бабаня, хорош мерин, так умен...

— Поди прочь, не верти хвостом! — крикнула бабушка, притопнув ногою.— Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

— Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдет,— невесело говорила она.— Любит воровать, баловник! Раз попробовал,— ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя дóсыта отведал — под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

— Тут, Леня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве,— забьют до смерти...

И еще, помолчав, она тихонько сказала:

— Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

— А то тебя будут бить до смерти...

— Не достигнут,— вывернусь: я ловкий, конь резвый! — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился.— Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.

Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

— Не знаю.

— А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

— А меня?

— Ты — не Каширин, ты — Пешкóв, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожег бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонен к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме,— тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтоб поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых черных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

— Не сдюжишь? — спросил Григорий.

— Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

— Отворяй ворота, слепой чёрт!

А дядя Яков сказал:

— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

— Гляди же, не перемогайся! Пошли с богом!

— Плешивая дура!— крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

— Может, сегодня дедушка не посечет тебя,— ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на груду приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

— Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Савватеич, козырь был, он всё понимал,— за то дедушка и не любил его, не признавал...

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши,— сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:

— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже,— отстанет...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

— Стой-ко? — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору, Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в черный потолок; темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, цапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шёпот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

— Споткнулся он,— каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

— Упал, а его и придавило,— в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

— Вы его и задавили,— глухо сказал Григорий.

— Да,— как же...

— Вы!

Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

— Михайло в церковь погнал на лошади за отцом,— шептал дядя Яков,— а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыгана, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

— Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

— И то.

— Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

— Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, пришёптывая:

— Голубчик ты мой, ястребенок утешный...

Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

— Волки!

И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

— Знаю я,— он вам поперек глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что,— говорю, — поделаешь? Кони — чужие, вожжи — гнилые.

Мать, не взлюбил нас господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

— Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

— Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она.— Не спишь, мол, голубá душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

— Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всем, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

— Ты, господи, сам знаешь,— всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет — неведомо. А отец,— он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик,— ты бы, господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, господи, Григорья,— глаза-то у него всё хуже. Ослепнет,— по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О господи, господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости,— ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

— Всё ты, родимый, знаешь, всё тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

— Расскажи про бога!

Она говорила о нем особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинет на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

— Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господа ангелы летают во множестве,— как снег идет али пчелы роятся,— али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин,— каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечет его!» И так всё, про всех, и всем он воздает по делам,— кому горем, кому радостью. И так всё это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видела?

— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо ее молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжелые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

— Бога видеть человеку не дано,— ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поскорости после того успел,

скончался. Я тогда, как увидала их,— обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся,— ох, хорошо было! Ой, Ленька, голубá душа, хорошо всё у бога и на небе и на земле, так хорошо...

— А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

— Слава пресвятой богородице,— всё хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме всё хорошо; мне казалось, в нем живется хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

— Господи, прибери меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

— Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее,— я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

— Вот и ладно, и пойдем! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на желтом лице ее — вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

— Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

— Бьет тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить ее, так он по ночам. Злой он, а она — кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

— Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова́ бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьет — устанет, а отдохнув — опять. И вожжами и всяко.

— За что?

— Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до

полусмерти да пятеро суток есть не давал,— еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть ее.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше! Кроме того,— муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она отирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных каменьях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на нее и говорила умиленно:

— Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

— Запылилася, окоптела,— ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голубá душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников, в середине же божия матерь Феодоровская, предобрая. А это вот — Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

— Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его»,— говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор,— расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как чёрт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие,

зеленые, черные, как тараканы. Я — к двери,— нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубенки мышиные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи,— ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя,— свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с ее серых булыжников густым потоком льются мохнатые пестрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти, свистят, кричат, колпаками машут,— да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерьми; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела...

Не верить бабушке нельзя,— она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Ва-

силисе, о Попе-Козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась черных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

— Олеша, милый, таракан лезет, задави Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

— Нет нигде,— говорил я, а она, лежа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась,— я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

— Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегченно вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает ее тело при малейшем шорохе в ночной, мертвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

— Около порога он... под сундук пополз...

— Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

— А непонятно мне — на что они? Ползают и ползают, черные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп — значит, стены грязные; вошь нападает — нездоров будет человек,— всё понятно! А эти,— кто знает, какая в них сила живет, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас господь,— горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

— Цыц, пес,— сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шёлковый шелест бился в стекла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

— Купорос, дураки! Взорвет купорос...

— Григорий, держи ее! — выл дедушка.— Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она.— Снимите с плеч-то,— горю, али не видно!..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал,— наше всё дотла сгорит и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней,— бог вам на́ помочь.

Она была так же интересна, как и пожар; освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод.— Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильич, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая ру-

кой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она.— Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня,— только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветив синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы,— сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

— На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо,— это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх! вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

— Боялся ты?

— Нет.

— И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошел в угол, к рукомойнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

— Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он — дурак, а то — вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай, спи. Чего сидишь?

Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: только что лег в постель,— меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:

— Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, всё более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

— Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

— Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

— Что это делается?

— Тетка Наталья родит,— равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.

Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне ее.

— Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю — лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его ребра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

— Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь, как стенает тетка! Забыли про нее; она, слышь, еще в самом начале пожара корчиться стала — с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть...

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

— Царские двери отворить надо...

— Дайте ей масла лампадного с ромом да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи...

Дядя Михайло назойливо просил:

— Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлепая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей,

он поймал меня за ногу, дернул, и я упал, ударившись затылком.

— Дурак,— сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

— Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:

— Оправдания же нам нет, никому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты,— свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

— Что болит?

Всё болело; голова у меня была мокрая, тело тяжелое, но не хотелось говорить об этом,— всё кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и еще много; все они сидели неподвижно,как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

— На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошел на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

— Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня,— она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

— А где бабушка?

— Там,— ответил дядя, махнув рукою, и ушел всё так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки,— я это знал,— но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжелый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались

ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиною и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампады, тихо, по-детски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно...

V

К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с малепькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам.— Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка,— смотреть на всё это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

— Здравствуй, мир честно́й, во́ веки веков! Ну, вот, Олеша, голуба́ душа, и зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало всё!

А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, все готовились к чему-то и звали:

— Акулина Ивановна!

Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:

— Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная,— берите гусиного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть,— ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте,— вредно!

Иногда она задумчиво советовала:

— Вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите,— не умею я ответить вам.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

— Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрен был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще — кавказский...

Я весь день вертелся около нее в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

Однажды я спросил бабушку:

— Ты — колдунья?

— Ну, вот еще выдумал! — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: — Где уж мне: колдовство — наука трудная. А я вот и грамоты не знаю — ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.

И открывала предо мною еще кусок своей жизни:

— Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную,— живи-де, как сама знаешь,— а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та́ пора люди-то богаче жили, добрее были,— славные балахонские плотники да кружевницы,— всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по́ городу, а как Гаврило архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет,— так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту,— голосок у ней не силен был, а звонок — и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках — по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удается чего,— слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть

и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе па приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит смирной буду, н-ну... А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.

И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.

— Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:

— С медом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

— Ты гляди, не помереть бы мне!

— Не бойся, догляжу.

— То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил,— всё прахом пойдет!

— А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:

— Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жены да новые дети попридержат их,—а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно́ сверкают стекла в окнах домов,— дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?

— Буки.

— Попал! Это?

— Веди.

— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть,— это что?

— Добро.

— Попал! Это?

— Глаголь.

— Верно! А это?

— Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно...

— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, по́том и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и

вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлек меня к себе и сказал угрюмо:

— Бросила тебя мать-то поверх земли, брат...

Бабушка встрепенулась:

— Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..

— Не сказал бы — горе нудит... Эх, какая девка заплуталась...

Он резко оттолкнул меня.

— Иди, гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду...

Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нем, на горке,— мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.

— Быpь пришел! — кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь.— Лупи его!

Я не знал, что такое «быpь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня всё внимательнее и всё реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

— Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

— Хитер ты али простодушен, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.

— Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же-блаже; наш-ер-блажен,— выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:

— Блажен муж,— это дядя Яков?

— Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто есть блажен муж!— сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.

И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

— Н-да, по игре да песням он — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит! Песнотворец, словотер, балагур... Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот,— далеко ли?

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, теплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

— Дедушка!

— Ась?

— Расскажите что-нибудь.

— А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза.— Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь...

Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.

Я усердно просил его, и старик, становясь всё мягче, уступал мне.

— Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.

— Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; всё народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал, гарнизонные вступились,— разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти — народ ловкой, догадливый; довольно даже веселые, — песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут,

и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже, другие — разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал; вконец,— говорит,— погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.

— Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери,— она калачи пекла да продавала,— стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий— прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это — нельзя понять! Многие поумирали от холода, они — люди теплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Выучился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он — черный, злой! Плохо говорил, а понять можно, и верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то по Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыре про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова — в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.

Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.

— Рассказывайте,— напоминаю я тихонько.

— Ну, вот,— вздрогнув, начинает он,— французы, значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама,— это, стало быть, моя дама, барыня моя,— а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у

нее не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнется, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николы вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нем; нежным он был, возьмет меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал...

Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя — горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:

— Запомни! Ты это запомни!

Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а всё только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:

— А кто лучше: французы или русские?

— Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут,— сердито ворчит он и добавляет:

— В своей норе и хорек хорош...

— А русские хорошие?

— Со всячинкой. При помещиках лучше были; ко-

ваный был народ. А теперь вот все на воле,— ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок,— что в него сунут, то и несет. Скорлупы у нас много; взглянешь — человек, а узнаешь,— скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего...

— Русские сильные?

— Есть силачи, да не в силе дело — в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.

— А зачем французы нас воевали?

— Ну, война — дело царское, нам это недоступно понять!

Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:

— Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба — вся разная: осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали,— Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу...

Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.

И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.

Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом:

— А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком, бишь, это году?..

Подумав, дед обстоятельно отвечал:

— Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.

— А верно! Еще боялись мы их...

— То-то.

Я спрашивал, кто такие олончане и отчего они бегали по лесам,— дед не очень охотно объяснял:

— Олончане — просто мужики, а бегали из казны, с заводов, от работы.

— А как их ловили?

— Ну, как? Как мальчишки играют: одни — бегут, другие — ловят, ищут. Поймают — плетями бьют, кнутом; ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.

— За что?

— За спрос. Это — дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит,— нам не понять...

— А помнишь, отец,— снова говорит бабушка,— как после большого пожара...

Любя во всем точность, дед строго спрашивает:

— Которого большого?

Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.

— Сколько прожито, сколько видано! — тихонько бормотал дед.

— Али плохо жили? — говорила бабушка.— Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!

— Это — в 48-м году, в самый венгерский поход; кума-то Тихона на другой день после крестин и погнали...

— И пропал,— вздыхает бабушка.

— И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара...

— А ты полно, отец...

Он сердился, хмурился.

— Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали,— в лукошко кладем, а господь-от вложил в руки нам худое решето...

Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.

— А всё ты потакала им, татям, потатчица! Ты, ведьма!

В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь:

— Господи, али я грешней других? За что-о?

И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.

Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:

— Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же,— споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один...

Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.

Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:

— Эх, дурак...

И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки:

— Уйди, убью!

— Дурак,— повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.

— Старая шкура,— шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.

Я сидел на лежанке ни жив ни мертв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нем,— такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он всё стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не

устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:

— Ну, господи...

Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.

— Тебе больно?

Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:

— Ничего, зубы целы, губу разбил только.

— За что он?

Выглянув в окно на улицу, она сказала:

— Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё... Ты ложись с богом, не думай про это...

Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:

— Кому я говорю,— ложись? Неслух какой...

Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее: в синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, в комнате — темно.

Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:

— Спи спокойно, а я к нему спущусь... Ты меня не больно жалей, голубá душа, я ведь тоже, поди-ка, и сама виновата... Спи!

Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.

VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрепанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

— Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ — шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозится: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор.

— Слышишь, мать? — взвизгнул он.— Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошелся по комнате, расправляя плечи, подошел к двери, резко закинул тяжелый крюк в пробой и обратился к Якову:

— Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Нате-ка!

Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил:

— Тятенька, я-то при чем?

— Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкап.

— Я же защитить вас приехал...

— Ну? — насмешливо воскликнул дед.— Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кось лисе этой чего-нибудь в руку — кочергу хошь, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат — бей его в мою голову!..

Дядя сунул руки в карманы и отошел в угол.

— Коли вы мне не верите...

— Верю? — крикнул дед, топнув ногой.— Нет, всякому зверю поверю,— собаке, ежу,— а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

— Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее...

И вот я, немножко испуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широ-

кая, она покрыта густым слоем пыли; сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам — старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развертывается Сенная площадь, замкнутая желтым корпусом арестантских рот и пожаркой каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами; в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее — тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна — переулок, застроенный маленькими пестрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трех Святителей. Если смотреть прямо,— видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стертые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны нелюбимые мною запахи пирогов с зеленым луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наливается жидким, теплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, ребра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил; он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нем рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом черными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он

пришел, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые свои сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака,— дверь визжит, дребезжат стекла.

Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

— Кто это? — грубо спрашивает он, не открывая.— Ты? Ну? В кабак зашел? Ладно, ступай!

— Я боюсь там...

— Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются желтые пятна огней; в доме напротив музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углем на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

— Экой ведь благодатной,— какие стихи знает! Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поет, сказывает, а бабушка — рядом с ним, слушает, расспрашивает.

— Погоди-ка, да разве божия матерь и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

— Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течет по улице сонная усталость и жмет, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я всё чаще думаю о матери, ставя ее в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает ее в моих мечтах; мне кажется, что она живет на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые гра-

бят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живет в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая ее сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгалычева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,
Со всея земли злата, серебра;
Не прикрыть тебе, душа алчная,
Всем добром земли наготу твою...

И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:

Ты прости, пресвятая богородица,
Пожалей мою душеньку грешную.
Не себя ради мир я грабила,
А ведь ради сына единого!..

И богородица, добрая, как бабушка, простит ее, скажет:

Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой ты, зла-беда христианская!
А иди, ино, по своем пути —
И стезя твоя и слеза твоя!
Да не тронь хоть народа-то русского,
По лесам ходи да мордву зори,
По степям ходи, калмыка гони!..

Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне; меня будит топот, возня, рев внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берет булыжник и мечет его в во-

рота; раздается гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут темные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечьи головы,— улица оживает, смеется, кричит. Всё это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг всё сотрется, все замолчат, исчезнут.

...У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою пред ней и глажу ее теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:

— Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года — от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

— У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан; они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдергивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней всё, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, темный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:

— Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без нее страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:

— Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упускать из глаз бабушку, боюсь, что ее убьют, и кричу, зову. Она не идет, а пьяный дядя, услыхав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

— Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошел к окну, бабушка подхватила его под руки:

— Куда ты, куда?

— Зажги огонь! — задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он взял подсвечник в руки и, держа его пред собою, как солдат ружье, закричал в окно насмешливо и громко:

— Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пес шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

— Не попал! — завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

— Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то — Сибирь ему; ведь разве он поймет, в ярости, что́ Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

— Пускай убьет...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

— Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то

дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:

— Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на всё это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.

Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли,— нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

— По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко — только голову просунуть; дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

— Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил ее колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:

— Миш-ша, беги...

— А, мать? — страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке.

— Кость цела?

— Ох, переломилась, видно,— сказала бабушка, не открывая глаз.— А с ним что сделали, с ним?

— Уймись! — строго крикнул дед.— Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит. Водой окатил я его... Пу, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

— За костоправкой я послал,— ты потерпи! — сказал дед, присаживаясь к ней на постель.— Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!

— Отдай ты им всё...

— А Варвара?

Они говорили долго: бабушка — тихо и жалобно, он — крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

— Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак...

VII

Я очень рано понял, что у деда — один бог, а у бабушки — другой.

Бывало — проснется бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дергает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных черных шелковинок и ругается шёпотом, чтоб не разбудить меня:

— А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встает перед иконами,— вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю ее.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица преславная, подай милости твоея на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячей и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в темных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжелой руки.

— Исусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради...

Всегда ее молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго; нужно было ставить самовар,— прислугу дед уже не держал; если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая ее за молитвой, слушал некоторое время ее шёпот, презрительно кривя тонкие темные губы, а за чаем ворчал:

— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

— Он поймет,— уверенно отвечала бабушка.— Ему что ни говори — он разберет...

— Чуваша проклятая! Эх вы-и...

Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластена и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота;

— Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

— Думаете: скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это, не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарапа, она беседовала с ним:

— Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И все-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать — стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в нее морковью.

— Ну, и дура вы, сударыня моя,— спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить больнее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но — всё это мне не нравилось, нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над нею творило, запер его, сплясал на нем танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлепала меня, где подобает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивленный ее отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она

освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

— Я-а тебя,— погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но ее безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

— Это ты зачем сделал?

— Она в тебя морковью кинула...

— Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнешься! Какой защитник,— взгляньте на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке — он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

— Вот что, Ленька, голубá душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые — люди порченые; они богом испытаны, а ты еще нет, и — живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснется, дело твое тебе укажет, на тропу твою приведет,— понял? А кто в чем виноват — это дело не твое. Господу судить и наказывать. Ему, а — не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищурив правый глаз, добавила:

— Да, поди-ка, и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина...

— Разве бог не всё знает? — спросил я, удивленный, а она тихонько и печально ответила:

— Кабы всё-то знал, так бы многого, поди, люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю,— на всех нас, да в иную минуту как восплачет да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щек, отошла в угол молиться.

С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог — существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причесывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одернув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шел к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

— «Во имя отца и сына и святаго духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина,— даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову, брови у него приподняты, ощетинились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твердо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

— «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьет себя по груди кулаком и настойчиво просит:

— «Тебе единому согреших,— отврати лице твое от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряженно тянется к образам, растет и как бы становится всё тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

— «Врача родшая, уврачуй души моея многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со слезами на зеленых глазах:

— «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеши дел, отнюдь оправдающих мя!»

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепешек с творогом,—

есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит веселое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед всё еще молится, качается, взвизгивает:

— «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий,— знаю и напряженно слежу: не ошибется ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

— Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

— А ты сегодня «довлеет» пропустил!

— Врешь? — беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

— Уж пропустил! Надо: «но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

— На-ко вот! — восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, но пока, видя его смущенным, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

— А скушно, поди-ка, богу-то слушать моленье твое, отец,— всегда ты твердишь одно да всё то же.

— Чего-о это? — зловеще протянул он.— Чего ты мычишь?

— Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

— Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди и — потоплены, еще согрешили и — сожжены, разрушены города их; вот бог наказал лю-

дей голодом и мором, и всегда он — меч над землею, бич грешникам.

— Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью! — постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает всё это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

— Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

— Ну, конешно! Еще бы не слушался ты?!

— А как же бабушка?

— Ты ей, старой дуре, не верь! — строго учил он.— Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

— А кто такие чиновники?

— Эк тебя мотает! — усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

— Это бога не касаемо, чиновники, это — человеческое! Чиновник суть законоед, он законы жрет.

— Какие законы?

— Законы? Это значит — обычаи,— веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами.— Живут люди, живут и согласятся: вот этак — лучше всего, это мы и возьмем себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть — закон!

— А чиновники?

— А чиновник озорнику подобен, придет и все законы порушит.

— Зачем?

— Ну, этого тебе не понять! — строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

— Надо всеми делами людей — господь! Люди хотят одного, а он — другого. Всё человечье — непрочно, дунет господь, и — всё во прах, в пыль!

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

— А вон дядя Яков поет:

Светлы ангелы — божии чины,
А чиновники — холопи сатаны?

Дед приподнял ладонью бородку, сунул ее в рот и закрыл глаза. Щеки у него дрожали. Я понял, что он внутренно смеется.

— Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! — сказал он.— Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это — кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками.

И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

— Эх вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела,— и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

— Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы,— отслужил бы я молебен Николе угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

— Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать,— нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою; в них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичест-

вом, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но всё кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною Псалтырь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

— «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю... И соблюди нас от всякого мечтания... Господи, покрый мя от человек некоторых... Даждь ми слезы и память смертную...»

А бабушка нередко говаривала:

— Ой, как седни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу...

Дед водил меня в церковь: по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: всё, что читают священник и дьячок,— это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он прежде всего искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни,— все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня,— бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребятишки относились ко мне враждебно; мне

не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

— Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силен и в бою ловок,— это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а! Как я тебя начну, с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

— Ну, что ты всё дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал:

— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав,— жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копченый человек, в тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча, упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение,— думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно.

Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувство-

вал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

— Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди — смерть в кармане! — кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами,— в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, еще более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

— Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

— Григорий ходит по улице!

— Ну? — беспокойно и жалостно восклицала она.— На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему,— было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке — тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.

— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она.— Он тебя любит, он хороший ведь...

— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.

— Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шёпотом, пророчески сказала:

— Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

— Эх вы-и...

Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась в праздники, огромная, растрепанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от нее, заходя в ворота домов, за углы, в лавки,— она точно мела улицу. Лицо у нее было почти синее, надуто, как пузырь, большие серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:

— Деточки мои — где вы?

Я спрашивал бабушку: что это?

— Нельзя тебе знать! — ответила она угрюмо, но все-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а

тот ее увез куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась — дети ее, мальчик и девочка, померли уже, муж — проиграл казенные деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру ее забирает полиция...

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна — большой такой, добрый зверь — и густым голосом твердит переимчивой, черной, как уголь, птице:

— Ну, проси: скворушке — кашки!

Скворец, скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь — не дается ему.

— Да ты не балуй! — серьезно говорит ему бабушка.— Ты говори: скворушке — кашки!

Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки,— старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит:

— Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты — всё можешь, всё умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на — «Дра-астуй...».

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает:

— Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

— Убери его, дьявола,— убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый...

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской; на нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая, довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа — постройки Бетленга; в глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжелой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты, — в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людями: в передней половине жил военный из татар, с маленькой круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любить — не рада,
Искать другую надо!
Умей ее найти.
И ждет тебя награда
На верном сем пути!
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

— Вух, вух-вух-хх...

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди,— и невеселый длинный татарин Валей, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.

Это был худощавый сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

— Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

— Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати, всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь,

к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины,— колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном.

— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

— Не твое дело, молчи знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

— Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

— Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

— Ты — откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

— Здешний внук...

— Ага, да,— сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счел нужным пояснить ему:

— Я не Каширин, а — Пешко́в...

— Пе́шков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

— Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки,— в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

— Скверно пахнет?

— Да!

— То-то же! Это брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:

— Если скверно, так уж — не хорошо...

— Ну? — воскликнул он, подмигивая.— Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

— В козны?

— В козны, да?

— Играю.

— Хочешь — налиток сделаю? Хорошая битка будет!

— Хочу.

— Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне,— хорошо?

Это меня прежестоко обидело.

— Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

— Ну-ко, подстригай малину,— сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

— Хорошее Дело чего строит?

— Горницу портит,— сердито ответил он.— Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему — съезжал бы!

— Так и надо,— согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я — поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Степа играл с татарином в карты,— Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

— Аш-шайтан!

Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

— Пожалуйте-ко милостью, покушайте! — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня — орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену,— в кухне было тепло,

уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

— Мне сверху надо говорить,— сверху-то лучше!

Я поместился у ног ее, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-Воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:

Жил-был злой воевода Гордион,
Черная душа, совесть каменная;
Правду он гнал, людей истязал,
Жил во зле, словно сыч в дупле.
Пуще же всего невзлюбил Гордион
Старца Мирона-отшельника,
Тихого правды защитника,
Миру добродея бесстрашного.
Кличет воевода верного слугу,
Храброго Иванушку-Воина:
— Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливого!
Подь да сруби ему голову,
Подхвати ее за сиву бороду,
Принеси мне, я собак прокормлю!
Пошел Иван, послушался.
Идет Иван, горько думает:
«Не сам иду,— нужда ведет!
Знать, такая мне доля от господа».
Спрятал вострый меч Иван под полу,
Пришел, поклонился отшельнику:
— Всё ли ты здоров, честной старичок?
Как тебя, старца, господь милует?
Тут прозорливец усмехается,
Мудрыми устами говорит ему:
— Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу богу — всё ведомо,
Злое и доброе — в его руке!

Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне!
Стыдно Иванке пред отшельником,
А и боязно Ивану ослушаться.
Вынул он меч из кожаных ножон,
Вытер железо широкой полой.
— Я было, Мироне, хотел тебя убить
Так, чтобы ты и меча не видал.
Ну, а теперь — молись господу,
Молись ты ему в останний раз
За себя, за меня, за весь род людской,
А после я тебе срублю голову!..
Стал на коленки старец Мирон,
Встал он тихонько под дубок молодой,—
Дуб перед ним преклоняется.
Старец говорит, улыбаючись:
— Ой, Иван, гляди — долго ждать тебе!
Велика молитва за весь род людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебе лишнего не маяться!
Тут Иван сердито прихмурился,
Тут он глупенько похвастался:
— Нет, уж коли сказано — так сказано!
Ты знай молись, я хоть век подожду!
Молится отшельник до вечера,
С вечера он молится до утренней зари,
С утренней зари он вплоть до ночи,
С лета он молится опять до весны.
Молится Мироне год за годом,
Дуб-от молодой стал до облака,
С желудя его густо лес пошел,
А святой молитве всё нет конца!
Так они по сей день и держатся:
Старче всё тихонько богу плачется,
Просит у бога людям помощи,
У преславной богородицы радости,
А Иван-от Воин стоит около,
Меч его давно в пыль рассыпался,
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одежа поистлела вся,
Зиму и лето гол стоит Иван,
Зной его сушит — не высушит,

Гнус ему кровь точит — не выточит,
Волки, медведи — не трогают,
Вьюги да морозы — не для него,
Сам-от он не в силе с места двинуться,
Ни руки поднять и ни слова сказать,—
Это, вишь, ему в наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!
А молитва старца за нас, грешников,
И по сей добрый час течет ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

— Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

— Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это — страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет,— глаза его были полны слез; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и всё не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

— Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю эдакого...

— Нет, именно это! Это страшно русское,— возбужденно выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил

долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

— Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там.

Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила:

— Рассердился будто?

— Не,— ответил дядя Петр.— Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

— Господа все такие — капризники!

Валей угрюмо буркнул:

— Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Петр тянул:

— До слез дошел. Видно: бывало, щука клевала, а ноне и плотва — едва...

Стало скучно, какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его,— так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда,— тихий, измятый, явно сконфуженный.

— Вчера я шумел,— сказал он бабушке виновато, словно маленький.— Вы — не сердитесь?

— На что же?

— А вот, что я вмешался, говорил?

— Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно — тихо слишком.

Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:

— Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, и вдруг — вскипит в душе, прорвет... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

— А вы бы женились...

— Э! — воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне:

— Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»,— в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты,— она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи,— такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад и там, в яме, увидал его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колена, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

— За мной?

— Нет.

— А что же?

— Так.

Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:

— Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

— Сиди... Будем сидеть и молчать — ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

— Да.

— Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мель-

кают галки, возбуждая невеселые мысли. Всё немотно и тихо; каждый звук — шорох птицы, шелест упавшего листа — кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине — она обняла всю землю и наполняет грудь.

В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создается ее лицо.

Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Всё было хорошо и как-то особенно — не по-всегдашнему — понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

— Славно, брат? То-то! А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и всё вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

— Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

— Хороша у тебя бабушка,— о, какая земля!

Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

Это ему в наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!..

— Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперед, спросил:

— Писать умеешь?

— Нет.

— Научись. А научишься — записывай, что бабушка рассказывает,— это, брат, очень годится...

Мы подружились. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою... И всё взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

О, роза Сарона...

— Это чего ты делаешь?

— Одну штуку, брат...

— Какую?

— А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...

— Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

— Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, ерунда...

— А чем за хлеб платить?

— Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

— Видишь? И за говядину, тоже...

— И за говядину...

Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит:

— Никак не могу я спорить с тобой, забиваешь ты, брат, меня; давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупо, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов всё видимое кажется

особо значительным, всё крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его,— Хорошее Дело говорит тихонько:

— Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

— Важен генерал, а не очень умный...

Идет неуклюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь, в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч,— медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами.

— Точно медаль получил, любуется...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

— Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

— Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы,— он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

— Врешь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

— Ну, врешь, брат...

— А почему ты знаешь?

— Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика,— свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

— Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и еще какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему — он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

— Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!

Потрясенный виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

— Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, всё сказал, что надо,— понимаешь? Всё!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.

— Ты, брат, на этих случаях не останавливайся,— это нехорошо запоминать! — сказал он.

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней,— понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и — легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника.

— Всякую вещь надо уметь взять,— понимаешь? Это очень трудно — уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова,— именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека.

— У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идет ко мне,— объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка.— Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

— Бабушка тебя боится, она говорит — чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу — враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух, на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он.— Это, брат, грустно, а?

— Да!

— Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

— Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

— Это кто сказал?

— Дедушка...

— Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

— Послушай-ко,— почти шёпотом говорил он, улыбаясь,— ты помнишь, я тебе сказал — не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

— Обиделся ты на меня, да?

— Да...

— А я, брат, не хотел тебя обидеть, я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься — твои станут ругать тебя,— так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам, мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его; я так и сказал:

— Это я давно понял!

— Ну вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

— Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

— Не сердись,— повторил он и шёпотом, на ухо, добавил:— Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой

грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

— Уйди! — кричала она, патыкаясь на меня.

— Вы зачем прогнали его?

— А ты поговори!

— Дураки вы все,— сказал я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

— Да ты ошалел, пострел!

— Не ты, а все другие дураки,— поправился я, но это ее не успокоило.

За ужином дед говорил:

— Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его,— нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране,— лучших людей ее...

IX

В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед.

После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Петр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетеное, как решето, всё из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка вилась кольцами; он курил трубку, дым ее — одного цвета с волосами — тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.

— В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьян, свет, Лексевна,— «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «помогай садовнику!» Ладно; только как мужика ни положь — всё не хорош! В другое время она говорит: «тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня всё едино, я и рыбу... Однако только я пристрастился — прощай рыба, спасибо; а мне — в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну что ж, в извозчики, а — еще как? А еще уж ничего не поспели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.

Была она старенькая, и точно ее, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр,— начал да и не кончил. Ноги у нее были вывихнуты, и вся она — из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристегнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Петр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.

Дед сказал ему однажды:

— Ты что это скота христианским именем зовешь?

— Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет — Танька, а есть — Татиана!

Дядя Петр тоже был грамотен и весьма начитан от писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось — Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Петр утверждал, что надо говорить «согрешиша, беззаконноваша, неправдоваша».

— Ино дело — по-моему, ино — по-твоему! — горячился дед, багровея, и дразнил:— Ваша́, шиша́!

Но дядя Петр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:

— А чем лучше хомы твое? Нисколько они богу не лучше! Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе — грош!

— Уйди, Лексей! — яростно кричал дед, сверкая зелеными глазами.

Петр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости,— откидывал и упрекал вдогонку:

— Лишняя вещь, а — мешаешь!

Он был словоохотлив, казался добрым, веселым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мертвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.

— Ты — что, дядя Петр?

— Отойди,— говорил он глухо и строго.

В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане ее; я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:

— Не стоит.

Другой раз стрелок всадил несколько дробин в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.

И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Петр — если был дома — поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шел по тротуару мимо стрелка; пройдет, воротится назад и — снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним — белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мертвый дом Овсянникова не показывает никого.

Иногда дядя Петр гуляет без успеха,— охотник, видимо, не признаёт его дичью, достойной выст-

рела, но порою двуствольное ружье бухает, раз за разом:

— Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Петр подходит к нам и, очень довольный, говорит:

— В полу хлестнул!

Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая ее иголкой, журила дядю Петра:

— Что ты ему, дикóму, потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет!

— Не-е, никак, Акулина Иванна,— пренебрежительно тянул Петр.— Он стрелок никакой...

— Да ты-то пóшто балуешь его?

— Я разве балую? Мне охота подразнить барина...

И, разглядывая на ладони извлеченные дробины, он говорил:

— Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности,— она мужьев меняла вроде бы лакеев,— так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну — он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеется по глупости. Мамонт Ильич наведет пистолет — бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил — дернулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил — готово! Схоронили ее...

— А дурачок?

— Он — ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак — так не обидчик...

Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:

— А до смерти убить может барин?

— Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили

они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту — в самую печень! Мамонта — на погост, улана — на Кавказ,— вот те и вся недолга! Это они — сами себя! А про мужиков и прочих — тут уж нечего говорить! Теперь им — поди — особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде все-таки жалели — свое добро!

— Ну, и тогда не больно жалели,— говорит бабушка.

Дядя Петр соглашается:

— И это верно: свое добро, да — дешевое...

Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьезно, тихонько.

— Как жить будем, сударик? В солдаты пойдешь али в чиновники?

— В солдаты.

— Это — хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе — осподи помилуй — да и вся недолгá! Попу даже легше, чем солдату, а еще того легше — рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо — была бы привычка!..

Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.

— Вот ты сердишься, когда тебя дедушко высекет,— утешительно говорил он.— Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сеченье — детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна — ну, она секла знаменито! У нее для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своем, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.

Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крылечке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.

— И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа — синяя, бороду брил. И не то он — дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды в чашку, поймает муху, а то — таракана, жука какого и — топит их прутиком, долго топит. А то — собственную серую изымет из-за шиворота — ее топит...

Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:

— Расскажи другое!

Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:

— Ладно, жадный,— другое. Вот был у нас повар...

— У кого?

— У графини Татьян Лексевны.

— Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина?

Он смеялся тоненько.

— Конешно — барыня она, однако — были у ней усики. Черненькие,— она из черных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот — повар; это, сударик, будет смешная история...

Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть ее всю сразу; он съел и захворал.

Я сердился:

— Это вовсе не смешно!

— А что смешно? Ну-ко, скажи!

— Я не знаю...

— Тогда — молчи!

Он снова плел скучную паутину.

Иногда, по праздникам, приходили в гости братья — печальный и ленивый Саша Михаилов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидали на дворе Бетленга барина в меховом зеленом сюртуке; сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая,

лысая, желтая голова была непокрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составился остроумный план кражи: братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.

— Как испугать?

Один из братьев предложил:

— Ты поплюй ему на лысину!

Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.

Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, ее вел молодой красивый офицер и, так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве,— дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежал в кухне на полатях, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр.

— Это ты ловко удумал, сударик! — шептал он.— Так ему и надо, старому козлу, так его,— плюй на них! Еще бы — камнем по гнилой-то башке!

Предо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но — всё это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сек меня.

— Уйди! — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами.

Он захихикал, замигал и слез с полатей.

С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и, в то же время, начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.

Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова, мне

казалось, что в этом сером доме течет особенная, таинственная жизнь сказок.

В доме Бетленга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое, стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.

— Еретики, безбожники,— говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.

Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.

Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них — мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.

Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик, с баками и кривым носом, выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков, одинаково одетые в серые

куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал — они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

— Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы.

Однажды я влез на дерево и свистнул им,— они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чем-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не захотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:

— Дети,— марш домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними,— а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся, тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чем-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял честно, закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький,

растерявшись, смешно бегал вокруг колодца, не видя, куда девать себя.

— Раз,— кричал старший,— два...

Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за веревку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба,— исчезла.

Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что́ может быть, и соскочил к ним во двор, крича:

— Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять веревку, а тут подбежал старший, помогая мне вытягивать бадью; он сказал:

— Тихонько, пожалуйста!..

Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

— Ка-ак я па-ада-ал...

— Ты с ума сосол, вот сто,— сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

— Идем, всё равно не скроешь...

— Вас будут бить? — спросил я.

Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:

— Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:

— Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь — не надо!

— Да, не надо,— согласился младший, вздрагивая.— Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Всё это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор,— он еще качался, сбрасывая желтый лист.

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково:

— Иди к нам!

Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, присматриваясь друг ко другу, долго беседовали.

— Били вас? — спросил я.

— Досталось,— ответил старший.

Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.

— Зачем ты ловишь птиц? — спрашивал младший.

— Они поют хорошо.

— Нет, ты не лови, пускай лучше они летают как хотят...

— Ну, ладно, не буду!

— Только ты прежде поймай одну и подари мне.

— Тебе — какую?

— Веселую. И в клетке.

— Значит — это чиж.

— Коска съест,— сказал младший.— И папа не позволит.

Старший согласился:

— Не позволит...

— А мать у вас есть?

— Нет,— сказал старший, но средний поправил его:

— Есть, только — другая, не наша, а нашей — нет она померла.

— Другая называется — мачеха,— сказал я; старший кивнул головою:

— Да.

И все трое задумались, отемнели.

По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:

— Еще вернется родная-то, погодите!

Старший пожал плечами:

— Если умерла? Этого не бывает...

Не бывает? Господи, да сколько же раз мертвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их спрыс-

нуть живою водой, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!

Я начал возбужденно рассказывать им бабушкины истории; старший сначала всё усмехался и говорил тихонько:

— Это мы знаем, это — сказки...

Его братья слушали молча, маленький — плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено,— наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно завечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.

— Это кто такое? — спросил он, указывая на меня пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:

— Он — оттуда...

— Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.

Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:

— Не смей ходить ко мне!

Я рассердился:

— Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт!

Длинной рукою своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:

— Твой дед дома?

На мое горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:

— Мать у него — в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому,— уж вы простите, полковник!

Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел, а меня, через некоторое время, выбросило на двор, в телегу дяди Петра.

— Опять нарвался, сударик? — спрашивал он, распрягая лошадь.— За что бит?

Когда я рассказал ему — за что, он вспыхнул и зашипел:

— А ты на што подружился с ними? Они — барчуки-змееныши; вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй — чего глядеть!

Он шипел долго; обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало всё неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной неповинны.

— Их бить — не нужно, они хорошие, а ты врешь всё,— сказал я.

Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:

— Пошел прочь с телеги!

— Дурак ты! — крикнул я, соскочив на землю.

Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать, бегал и неестественно кричал:

— Дурак я? Вру я? Так я ж тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:

— Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня — по матушке и всяко... и вралем...

Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала:

— Ну, это ты, Петр, и впрямь врешь,— зазорно он тебя не ругал!

Дедушка поверил бы извозчику.

С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне всё чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался; однажды

насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни ворко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном — на сношениях с барчуками; ловил и шел ябедничать к деду.

Знакомство с барчуками продолжалось, становясь всё приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.

Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце,— по крайней мере я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей.

Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:

— Бабушки, должно быть, все очень хорошие,— у нас тоже хорошая была...

Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он — тонкий, хрупкий, а глаза — очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним,— всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.

Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр и разгонял нас тягучим возгласом:

— О-опя-ать?

Я видел, что с ним всё чаще повторяются припадки

угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы; обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.

Его немой племянник уехал в деревню жениться; Петр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака,— из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду.

— Гляди, сожжешь ты меня, Петр!

— Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю,— отвечал он, глядя в сторону.

Он теперь вообще смотрел всё как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.

Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь,— вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал:

— Здесь! Когда? Дай бог память...

И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:

— Господи помилуй, неужто?

— Тише,— строго сказал полицейский.

Дед оглянулся, увидал меня.

— Прибери лопаты да ступай домой!

Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:

— Он — понимает; лошадь бросил, а сам — скрылся вот...

Я побежал в кухню рассказать бабушке всё, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головою; выслушав меня, она спокойно сказала:

— Украл, видно, чего-нибудь... Иди, гуляй, что тебе!

Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала.

— Я сказал — пошел домой! — крикнул он мне, притопнув.

И сам пошел за мною, а войдя в кухню, позвал:

— Подь-ка сюда, мать!

Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.

— Ты чего испугалась?

— Молчи знай,— тихонько ответила она.

Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу.

— Ты, мать, зажги-ко лампадки везде,— приказывал дед, покашливая.

Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щеки, крякал и ворчал:

— Силен дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто и церковник, а — на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось всё беспокойней, тяжелее.

Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» — он отвечал не сразу и густо:

— У нас до всего дознаются, не беспокойсь!

Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.

Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:

— Глядите, что у вас на задах-то!

Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал:

— Постой,— кто такая? Чего глядеть?

Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами:

— Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?

Тут яростно закричал дед, топая ногами:

— Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нем нет, врешь! Ничего у нас нет!

— Батюшка! — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову.— Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу — лежит он...

— Кто-о?

Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад,— там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, темные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:

— Не топчите следов!

Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:

— А ты зря орешь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной,— эх вы-и!

И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:

— Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом...

— Что он сделал? — спросил я, она ответила:

— Али не видишь...

Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крякая, точно утка:

— Как? Как?

Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый и скрипучим голосом рассказывал:

— Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой — вовсе не немой и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство...

— О господи,— вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежал на полатях, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными...

X

Однажды в субботу, рано утром, я ушел в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по сребрико-

ваному насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.

Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поет, улетая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...

Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошел домой,— ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряженных в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал,— у меня дрогнуло сердце.

— Кого привез?

Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:

— Попа!

Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.

— Эх, курочки-и! — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова:

— Что же теперь — убить меня надо?

Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:

— Мать приехала, ступай! Постой...— Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату:— Иди, иди...

Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода

и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный.

— Вот он,— говорила мать.— Господи, какой большущий! Что, не узнаешь? Как вы его одеваете, ну уж... Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусиного сала скорей...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застегивали большие черные пуговицы от плеча и — наискось — до подола. Никогда я не видел такого платья.

Лицо ее мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, ее малиновые губы брезгливо кривились, и всё звучал командующий голос:

— Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка...

Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от нее исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки:

— Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится... Эх, Варя, Варя...

— Ну, не нойте, мамаша, обойдется!

В сравнении с матерью всё вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжелой теплой рукой, она говорила:

— Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?

— Я уж выучился.

— Еще немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?

И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.

Вошел дед, серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:

— Ну, что же, папаша? Уезжать?

Он остановился у окна, царапая ногтем лед на стекле, долго молчал, всё вокруг напряглось, стало жутким, и,

как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.

— Лексей, поди вон,— глухо сказал дед.

— Зачем? — спросила мать, снова привлекая меня к себе.

— Никуда ты не поедешь, запрещаю...

Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.

— Папаша, послушайте...

Он обернулся к ней, взвизгнув:

— Молчи!

— Ну, а кричать на меня я вам не позволяю,— тихо сказала мать.

Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:

— Варвара!

А дед сел на стул, забормотал:

— Постой, я — кто? А? Как это?

И вдруг взревел не своим голосом:

— Опозорила ты меня, Варька-а!..

— Уйди,— приказала мне бабушка; я ушел в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то — говорили все сразу, перебивая друг друга, то — молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка?

Потом он вошел в кухню встрепанный, багровый и усталый, за ним — бабушка, отирая полою кофты слезы со щек; он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустилась на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:

— Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина — гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен...

Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:

— Ну да, еще бы! А как же? Ты кого не простишь, ты — всех простишь, ну да-а, эх вы-и...

Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро:

— А господь, небойсь, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а — ни покоя, ни радости нет и — не быть! И — помяни ты мое слово! — еще нищими подохнем, нищими!

Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.

— Эка беда! Чего испугался — нищими! Ну, и — нищими. Ты знай сиди себе дома, а по миру-то я пойду,— небойсь, мне подадут, сыты будем! Ты — брось-ка всё!

Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:

— Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их,— ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы...

Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:

— Ах ты, бесеныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого чёрта, злого,— прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу,— прочь? Эх вы-и...

Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:

— Отходят все, все в сторону норовят — всё врозь идет... Ну, зови ее, что ли! Скорее уж...

Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:

— Всемилостивый господи, ну — вот, видишь, вот!

И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.

Пришла мать, от ее красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка — по бокам ее, широкие рукава ее платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьезно рассказывала что-то, а они слушали ее молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она — мать им.

Уставший от волнений, я крепко заснул на полатях.

Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:

— Ты гляди, каков отец-то,— козленок чистенький!

Мать весело засмеялась.

Когда я остался с нею в ее комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:

— Иди ко мне! Ну, как ты живешь — плохо, а? Как я жил?

— Не знаю.

— Дедушка бьет?

— Теперь — не очень уж.

— Да? Ты расскажи мне, что хочешь,— ну?

Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась матери, она сказала:

— Ну, а еще что?

Я рассказал о трех мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора,— она обняла меня крепко.

— Экая дрянь...

И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:

— За что дед сердился на тебя?

— Я пред ним виновата.

— А ты бы привезла ему ребенка-то...

Она откачнулась, нахмурясь, закусив губы, и — захохотала, тиская меня.

— Ах ты, чудовище! Ты — молчи об этом, слышишь? Молчи и — не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно,

потом встала и начала ходить, стукая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.

На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала чего-то на голых стенах, на потолке.

— Ты когда ложишься спать?

— Немножко погодя.

— Впрочем, ты днем спал,— вспомнила она и вздохнула. Я спросил:

— Ты уйти хочешь?

— Куда же? — удивленно откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слезы выступили на глазах.

— Ты что это?

— Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдет.

— Ты будешь похож на отца,— сказала она, откидывая ногами половики в сторону.— Бабушка рассказывала тебе про него?

— Да.

— Она очень любила Максима,— очень! И он ее тоже...

— Я знаю.

Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила ее, сказав:

— Так лучше!

Да, так свежее и чище, перестали возиться темные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стеклах окна.

— А где ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и всё кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.

— А где ты взяла такое платье?

— Сама сшила. Я всё себе делаю сама.

Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать ее, так она и совсем молчит.

Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг ко другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.

Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них — «Родному слову» — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берешь ты у бога...
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».

— Ну, подумай,— внушала мать,— чего — простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?

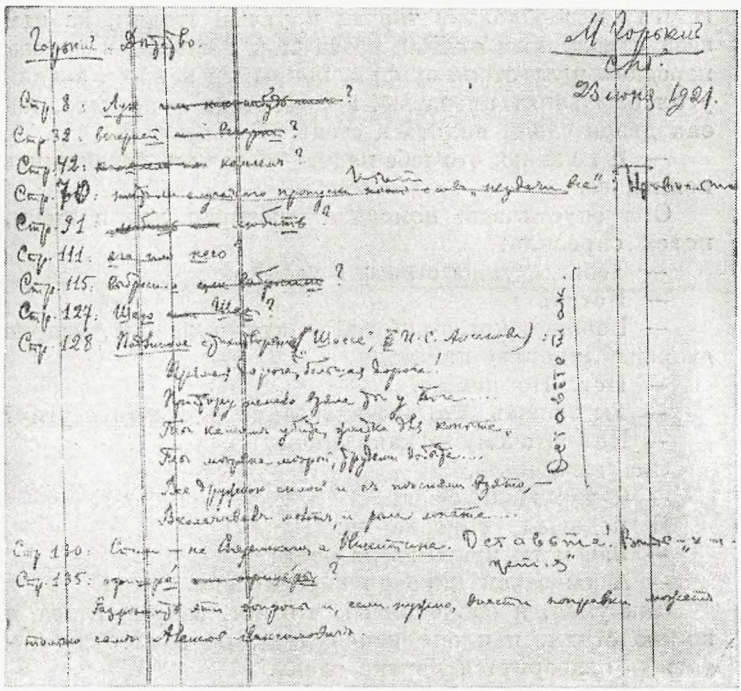
Я понимал и все-таки читал «простого», сам себе удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух,— неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.

Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли, наконец, стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недорога,
Копыта, попы-то, корыто...

Опомнился я поздно: мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила раздельно:



«ДЕТСТВО».
Вопросы редактора и ответы М. Горького.

— Это что такое?
— Не знаю,— сказал я, обомлев.
— Нет, все-таки?
— Это — так.
— Что—так?
— Смешно.
— Поди в угол.
— Зачем?
Она тихо, но грозно повторила:
— В угол!
— В какой?
Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая — чего ей надо?

В углу под образами торчал круглый столик, на нем ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвертого — не было, косяк двери стоял вплоть к стене.

— Я не знаю, что тебе надо,— сказал я, отчаявшись понять ее.

Она опустилась, помолчала, потирая лоб и щеки, потом спросила:

— Тебя дедушка ставил в угол?

— Когда?

— Вообще, когда-нибудь! — крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.

— Нет. Не помню.

— Ты знаешь, что это наказание — стоять в углу?

— Нет. Почему — наказание?

Она вздохнула.

— Ф-фу! Поди сюда.

Я подошел, спросив ее:

— Зачем ты кричишь на меня?

— А ты зачем нарочно перевираешь стихи?

Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если буду читать — подвернутся другие слова.

— Ты не притворяешься?

Я ответил — нет, но тотчас подумал: «а может быть, притворяюсь?» И вдруг, не спеша, прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял пред матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

— Как же это? — спросила она чужим голосом.— Значит — притворялся?

— Не знаю. Я не хотел...

— Трудно с тобой,— сказала она, опуская голову.— Ступай!

Она стала требовать, чтоб я всё больше заучивал стихов, а память моя всё хуже воспринимала эти ровные строки, и всё более росло, всё злее становилось не-

победимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко — ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение — кажется — князя Вяземского:

И вечерней и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Христа ради на помощь зовет,

а третью строку

Под окошками ходят с сумою

я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:

— Балует! Память у него есть: молитвы он тверже моего знает. Врет, память у него — каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты — выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

— Сказки — помнит, песни — помнит, а песни — не те ли же стихи?

Всё это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи — откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки.

Как у наших, у ворот
Много старцев и сирот
Ходят, поют, хлеба просят,
Наберут — Петровне носят,
Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.

Ночью, лежа с бабушкой на полатях, я надоедно твердил ей всё, что помнил из книг, и всё, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня:

— Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже...

Я бормотал:

Не люблю нищих
И дедушку — тоже,
Как тут быть?
Прости меня, боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить...

— Что ты говоришь, отсохни твой язык! — сердилась бабушка.— Да как услышит дед эти твои слова?

— Пускай!

— Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и без тебя не больно хорошо,— задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

— Отчего ей нехорошо?

— Молчи знай! Не понять тебе...

— Я знаю, это дедушка ее...

— Молчи, говорю!

Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились всё обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня,— я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она всё более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!

Во время уроков она смотрела углубленными глазами через меня — в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и всё чаще сердилась, кричала — это тоже обидно: мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках.

Иногда я спрашивал ее:

— Тебе нехорошо с нами?

Она сердито откликалась:

— Делай свое дело.

Я видел также, что дед готовит что-то, пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобокого пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом:

— Этого не будет, нет!

И хлопнула дверь, а дед — завыл.

Это было вечером; бабушка, сидя в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

— К постояльцам ушла, о господи!

Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил ее по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку.

— Не болтай чего не надо, ведьма!

— Старый ты дурак,— спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку.— Буду я молчать, как же! Всегда всё, что узнаю про затеи твои, скажу ей...

Он бросился на нее и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

— Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!

Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъяренный дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову ее ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплевываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе, на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:

— Подбери подушки и всё да поклади на печь! Надумал тоже: подушками швырять! Твое это дело? И тот, старый бес, разошелся,— дурак!

Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:

— Взгляни-ка, чего это больно тут?

Я разобрал ее тяжелые волосы,— оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил ее, нашел другую, у меня онемели пальцы.

— Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

— Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты — на-ко! Пошел ин прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой, черной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи еще две толстые, изогнутые шпильки.

— Больно тебе?

— Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь — пройдет.

И стала просить меня ласково:

— А ты, голубá душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?

— Нет.

— Ну, помни же! Давай-ко, уберем тут всё. Лицо-то не избито у меня? Ну ладно, стало быть, всё шито-крыто...

Она начала подтирать пол, а я сказал от души:

— Ты—ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе—ничего!

— Что глупости мелешь? Святая... Нашел где!

Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал — как бы отомстить деду за нее?

Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы: в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидал, что он, сидя на полу пред открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы — двенадцать листов толстой серой бумаги, разделенных на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате — фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых

из них — Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и еще многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нем: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.

Но теперь я решил изрезать эти святцы и, когда дед отошел к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и — стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд — явился дедушка, встал на приступок и спросил:

— Тебе кто позволил святцы взять?

Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.

— Что ты сделал? — крикнул он наконец и за ногу дернул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком ее, меня и визжал:

— Убью-у!

Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие пред ее лицом:

— Что за безобразие? Опомнитесь!..

Дед повалился на скамью, под окно, завывая:

— Убили! Все, все против меня, а-а...

— Как вам не стыдно? — глухо звучал голос матери.— Что вы всё притворяетесь?

Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему — стыдно матери, что он — действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.

— Наклею я вам эти куски на коленкор, еще лучше будет, прочнее,— говорила мать, разглядывая обрезки и листы.— Видите — измято всё, слежалось, рассыпается...

Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:

— Сегодня же и наклей! Я тебе сейчас остальные листы принесу...

Пошел к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:

— А его надо сечь!

— Следует,— согласилась мать, наклонясь ко мне.— Зачем ты сделал это?

— Я — нарочно. Пусть он не бьет бабушку, а то я ему еще бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

— Промолчал, как обещано было!

И плюнула на пол:

— Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!

Мать поглядела на нее, прошлась по кухне, снова подошла ко мне.

— Когда он ее бил?

— А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? — сердито сказала бабушка.

Мать обняла ее.

— Эх, мамаша, милая вы моя...

— Вот те и мамаша! Отойди-ка...

Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.

В первые же дни по приезде мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга — красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:

— Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.

Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали — привез откуда-то два воза разной мебели, расставил их в передних комнатах и запер большим висячим замком:

— Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!

И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шёлковом полосатом платье и золотистой головке, с нею — сыновья: Василий — чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пестрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками,— еще в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:

— Андрей-папá, Андрей-папá...

Это очень удивляло и пугало меня.

Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем, воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:

— Не утруждайтесь, всё равно-с...

Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окруженная солдатами и народом, черная высокая телега, и на ней — на скамье — сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами,— человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын»,— я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.

— Не утруждайтесь,— сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:

— Ничего, мальчик крепкий...

Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое,

что в нем можно было лежать,— дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского,— забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масленое, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы,— казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масленые губы. Всё это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.

Пили чай с ромом,— он имел запах жженых луковых перьев; пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую; ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.

Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:

Эх, пожили, как умели,
На весь город нашумели,—
Ба-арыне из Казани
Всё подробно рассказали...

Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:

— Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:

— Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова.

Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:

— Да-а, над этим надо думать...

А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:

— Андрей-папá, Андрей-папá...

Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:

— Это он из киятра взял, это там поют...

Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днем, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро приоткрылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:

— Варя — пришел!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:

— Одевайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

— Куда?

— Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своем деле — мастер и Лексею — хороший отец...

Дед говорил необычно важно и всё гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них.

Мать спокойно перебила:

— Я вам говорю, что этому не бывать...

Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ощетинившись, и захрипел:

— Иди! А то — поведу! За косы...

— Поведете? — спросила мать, вставая; лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду: — Ведите!

Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:

— Варвара, одевайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

— Ну, идемте!

— Прокляну,— шёпотом сказал дед.

— Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал:

— Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныл:

— Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу, она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы:

— Варька, дура,— что ты? Пошла, бесстыдница!

Втолкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

— У-у, старый бес, бестолковый!

Посадила его на диван, он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:

— Оденься, ты!

Поднимая с пола платье, мать сказала:

— Я не пойду к нему,— слышите?

Бабушка столкнула меня с дивана:

— Принеси ковш воды, скорей!

Говорила она тихо, почти шёпотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени,— в передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос:

— Завтра уеду!

Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.

Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени — из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, гладя рукою меховую шапку и крякая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:

— Сами знаете — насильно мил не будешь...

Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то — смеясь.

— Что ты? — спросил я, подбежав.

Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:

— Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!

И ушла в комнату матери, а я — снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.

День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стекла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с темно-зеленой дедовой водкой, настоянной на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворешне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали веселые ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но веселый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был ненужен, и всё было ненужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки — вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь.

— А, окаянные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина...

Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.

— Ну — засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!

И — заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стукая пальцами по сухим коркам, большие слезы грузно шлепались на них.

В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.

— Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрышки!

Мать, веселая и спокойная, обняла ее, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затекшие глаза.

— Ладно, ничего! Едали и хорошие пироги. Господь — скуповат, он за года минутами платит... Он процента не признаёт. Садись-ка, Варя... ладно!

Он был словно безумен, всё время обеда говорил о боге, о нечестивом Ахаве, о тяжелой доле быть отцом — бабушка сердито останавливала его:

— А ты — ешь знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

— Что, испугался давеча? — спросила она, толкнув меня.

Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.

Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что всё это они делали серьезно и что им трудно плакать. И слезы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, всё меньше возбуждали меня, всё слабее трогали сердце.

Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.

В бесконечных буднях и горе — праздник и пожар — забава; на пустом лице и царапина — украшение...

XI

После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих непохоже на себя.

Он почти перестал выходить из дома, всё сидел одиноко на чердаке, читая таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть ее, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплете; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чер-

нилами: «Почтенному Василью Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полете. Открыв осторожно тяжелую корку переплета, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его — что это за книга? — он внушительно отвечал:

— Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру — откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.

Он стал говорить с матерью мягче и меньше, ее речи слушал внимательно, поблескивая глазами, как дядя Петр, и ворчал, отмахиваясь:

— Ну ладно! Делай как хошь...

В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шёлковые сарафаны, тканные серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжелые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил всё это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:

— В наши-те годы одёжа куда красивей да богаче нынешней была! Одёжа богаче, а жили — проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись...

Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кику; низко поклонясь деду, она спросила:

— Ладно ли, сударь-батюшка?

Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошел кругом ее, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:

— Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги, да хорошие бы около тебя люди...

Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у нее часто бывали гости, чаще других братья Максимовы: Петр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, — тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого ба-

рина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого гладкого лба волнистые длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:

— Видите ли, как я думаю...

Мать слушала его прищурившись, усмехаясь, и часто прерывала:

— Ребенок вы, Евгений Васильевич, извините...

Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:

— Именно же-ребенок...

Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась — всегда лучше всех — и уезжала с гостями.

Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя всё в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе:

— Ну,— ладно, хорошо... Поглядим, что за дым...

После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос: «Как твоя фамилия?» — нельзя ответить просто: «Пешков»,— а надобно сказать: «Моя фамилия — Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...»

Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:

— Не буду-у...

Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:

— Ты — иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но, скрепя сердце, пошел учиться,— не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.

Нас привлекли к суду,— в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас,— помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:

— Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:

— Забыл, где оно.

— Забыл?

— Да. Искал-искал...

— Ты бы за Лексеем шел, он помнит!

— Я его потерял.

— Лексея?

— Да.

— Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

— Метель была, ничего не видно.

Все засмеялись,— погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

— Ты бы за руку его держал, за пояс?

— Я — держал, да меня оторвало ветром,— объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.

Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою,— он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути

к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повел меня домой.

Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

— Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит,— что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним,— тогда вы все и узнаете... Бежим вместе?

Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача — я решил быть офицером с большой светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:

— Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

— И я тебя тоже.

На этом и порешили.

Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:

— Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!

Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши,— толстую тетку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере,—

Извела молодая жена:
Напоила его крепкой брагою,
А еще — сонным зелием.
Положила его, сонного,

Во дубовый челн, как во тесной гроб,
А взяла она весельце кленовое,
Сама выгребла посередь озера
Что на те ли, на темные омуты,
На бесстыжее дело ведьмино.
Там нагнулася, покачнулася,
Опрокинула, ведьма, легок челн,
Муж-от якорем на дно пошел,
А она поплыла скоро к берегу,
Доплыла, пала на землю
И завыла бабьи жалобы,
Стала горе лживое оказывать.
Люди добрые ей поверили,
С нею вместе горько плакали:
— Ой же ты, молодая вдова!
Велико твое горе женское,
А и жизнь наша — дело божие,
А и смерть нам богом посылается!
Только пасынок Ионушко
Не поверил слезам мачехи,
Положил он ей ручку на сердце,
Говорил он ей кротким голосом:
— Ой ты, мачеха, судьба моя,
Ой ты, птица ночная, хитрая,
А не верю я слезам твоим:
Больно сердце у тебя бьется радошно!
А давай-ко ты спросим господа,
Все святые силы небесные:
Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож
Да подбросит его в небо чистое,
Твоя правда — нож меня убьет,
Моя правда — на тебя падет!
Поглядела на него мачеха,
Злым огнем глаза ее вспыхнули,
Крепко она встала на ноги,
Супроти Ионы заспорила:
— Ах ты, тварь неразумная,
Недоносок ты, выбросок,
Ты чего это выдумал?
Да ты как это мог сказать?
Смотрят на них люди, слушают,

Видят они — дело темное.
Приуныли все, призадумались,
Промежду собой совещаются.
После вышел рыбак старенький,
Поклонился во все стороны,
Молвил слово решенное:
— А вы дайте-ко, люди добрые,
В праву руку мне булатный нож,
Я воскину его до неба,
Пусть падет, чья вина — найдет!
Дали старцу в рученьку острый нож,
Взбросил он его над седою головой,
Птицею нож полетел в небеса,
Ждут-пождут — он не падает.
Смотрят люди во хрустальную высь,
Шапки поснимали, тесно стоят,
Все молчат, да и ночь нема,—
А нож с высоты всё не падает!
Вспыхнула на озере алая заря,
Мачеха зарделась, усмехнулася,
Тут он быстрой ласточкой летит к земле —
Прямо угодил в сердце мачехе.
Встали на колени люди добрые,
Господу богу помолилися:
— Слава тебе, господи, за правду твою!
Старенький рыбак взял Ионушку
И отвел его в далекий скит,
Что на светлой реке Керженце,
Близко невидима града Китежа...*

На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, — от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Од-

* В селе Колюпановке, Тамб〈овской〉 губ., Борисоглебского уезда, я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху.

нажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный,— только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица,— бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидал ее: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза.

Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стеклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как всё более шумно живет дом, как часто там, внизу, хлопают двери, как много ходит людей.

Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков,— под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но всё ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены — ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.

Приходила бабушка; всё чаще и крепче слова ее пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

— Ты, голубá душа, деду-то, домовому, не сказывай!

— Зачем ты пьешь?

— Нишкни! Вырастешь — узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

— Ну и вот, сударь ты мой, про что, бишь, я вчера сказывала?

— Про отца.

— А которое место?

Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

— Видела я во сне отца твоего, идет будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько Максим Савватеич сниться мне стал,— видно, беспокойна душенька его неприютная...

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории: отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его.

— Маленьких всегда бьют? — спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

— Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крестный — столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика — столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

— Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие,— говорила бабушка, посмеиваясь.— Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а — босый, без шапки, на длинных волосьях — ремешок. Это он —

свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу — подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошел: «Что это ты, молодец, не путем ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот — Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина-малиной, и знаки ему подает, а у самой — слезы на глазах. «Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты березу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то еще не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел,— гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду, только ты помоги нам — это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: хоть камнем, говорит, бей, а — помоги, всё равно я-де не отступлюсь! Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатилась,— ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув:

— Ты этого еще не можешь понять, что значит — жениться и что — венчаться, только это — страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно,— запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:

— Ну, как же тут быть? Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться — после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» — «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». — «Что же это у тебя — трещница была?» — «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи — дешевы, гляжу я на них, на мать твою с отцом — экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали, его можно продать!» Ну, совсем еще дети! Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама — реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе — жутко. Ну, наладились!

— Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим — поехали! Иду я домой во слезах — вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» — «Ты, говорит, обещай!» — «Как это — обещать, а где я их после-то возьму?» — «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да и пошла себе! Он — вперед меня забежал на двор и — поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

— Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем,— шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнем охвачен, вызвал Якова с Михайлой, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я — кистень

он взял, гирю на ремешке, а Михайло — ружье схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас — легкие,— ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин,— добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви — Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те, господи!

— Пошли было наши-то боем на Максима, ну — он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковом да мастером этим — забоялись его.

— Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне и не хочу тебя видеть, хошь — живи, хошь — с голоду издохни». Воротился он — давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да помалкиваю: всё пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно свое думаю: ври больше, рыжий,— злоба — что лед, до тепла живет!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в ее рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу,— не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она всё время качается, точно в лодке плывет. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильней, протянув руку вперед, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щек ее прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, всё примиряющая доброта, а иног-

да очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

— Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонко бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они — ничего, ровно бы котята, веселые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатаскала тихонько у деда — ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берет ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поет под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе — кто? Я тебе — богоданная мать, а тебе, дурехе,— кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают — в небесах матерь божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да еще приплясывает,— силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство сказывает, будто всамделишняя баба — уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог — дресвой рассыпается!

— Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко всё молчит,— упрям, домовой! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое — отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час — ночь, вьюга воет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушком — не спится, я и скажи: «Плохо бедному в этакую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» — Ничего, мол, хорошо живут.— «Я, говорит, про кого это спросил?» — «Про дочь Варвару, про зятя Максима». — «А как ты догадалась, что про

них?» — «Полно-ко, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну — кому от нее весело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом — выспрашивает: что, дескать, дурак этот большой,— это про отца твоего,— верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел — не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он — ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошел бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». — «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.

— Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощеное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка — а дед ему по плечо,— встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое, нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб — никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом — нет, он всё свое! Хороши у него глаза были: веселые, чистые, а брови — темные, бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмется, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!»

А мать твоя, в ту пору, развеселая была озорница — бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк, солены уши?» И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голубá душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие — у слепых перенял, а слепые — лучше нет певцов!

— Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты,как раз в полдень — отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать — замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребенка родить! Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился,— дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»

— А дядья твои не любили его,— вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки,— горько они ему отрыгнулись! Как-то, о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно — все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегает, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг всё прекратилось; еще хуже испугались все. Дядя Яков догадался,— это, говорит, наверное, Максимом сделано! После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок,— ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

— Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмет ружье, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь — волка притащит, а то двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза — хорошо выходило! Вот и пошел дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг — бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено — ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет — волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнем,— глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он — хоть бы что! Пригляделись — одна

шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно — горячо рассердился на Максима. А тут еще Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову — нос, глаза, рот сделает, пакли налепит заместо волос, а потом идут с Яковом по улице и рожи эти страшные в окна суют — люди, конечно, боятся, кричат. А по ночам — в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила — бросьте, и Варя тоже,— нет, не унимаются! Смеется Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди, говори с ним...

— И отдалось всё это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку — обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один — его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили да и столкнули его в прорубь,— я тебе рассказывала это...

— Отчего дядья злые?

— Они — не злые,— спокойно говорит бабушка, нюхая табак.— Они просто — глупые! Мишка-то хитер, да глуп, а Яков — так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его — был он трезвый, а они — пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли — дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию — полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

— Упокой, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, сто́ит он того! Скрыл ведь он от полиции

дело-то: «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрел на пруд да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растерли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и еще двое. А Яшка-то с Мишкой еще не поспели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает — поседели височки-то!

— Варвара — криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принюхивается ко всем, выспрашивает, а мое сердце чует — ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку — что сделалось? Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлой первая, научите их — говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Прядильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции! Я — к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врет всё, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам — Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю, это всё Михайло, он старшóй!» Успокоили мы квартального кое-как — хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина!» С тем и ушел. А дед подошел к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоем месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!» Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости стал на замок сердце-то запирать. Остались мы втроем, заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама — за что?» Он меня не мамашей,а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребенка. За что? — спрашивает. Я — реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуго-

вицы на кофте оборвала, сидит растрепана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на нее цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушко дураков этих прислал прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке — вот те и прощенье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города — скушновато здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня — ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и — всё...

Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:

— Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души — одной...

Иногда, во время ее рассказа, входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывая бабушку, слушал ее речь и бормотал:

— Ври, ври...

Неожиданно спрашивал:

— Лексей, она тут пила вино?

— Нет.

— Врешь, по глазам вижу.

И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:

— Проходи, Авдей, не пугай лошадей...

Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил:

— Мать?

— Ай?

— Ты видишь, что ли, дела-то?

— Вижу.

— Что ж ты думаешь?

— Судьба, отец! Помнишь, ты всё говорил про дворянина?

— Н-да.

— Вот он и есть.

— Голь.

— Ну, это ее дело!

Дед ушел. Почуяв что-то недоброе, я спросил бабушку:

— Про что вы говорили?

— Всё бы тебе знать,— ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. — Смолоду всё узнаешь — под старость и спросить не о чем будет...— И засмеялась, покачивая головою.

— Ах, дедушко, дедушко, малая ты пылинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это!— разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо ее морщилось, становясь печальным, темнея.

— Ты о чем думаешь?

— А вот, думаю, что тебе рассказать? — встрепенулась она.— Ну, про Евстигнея — ладно? Вот значит:

Жил-был дьяк Евстигней,
Думал он — нет его умней,
Ни в попах, ни в боярах,
Ни во псах, самых старых!
Ходит он кичливо, как пырин,
А считает себя птицей Сирин,
Учит соседей, соседок,
Всё ему не так, да не эдак.
Взглянет на церковь — низка!
Покосится на улицу — узка!
Яблоко ему — не румяно!
Солнышко взошло — рано!
На что ни укажут Евстигнею,
А он:

бабушка надувает щеки, выкатывает глаза, доброе лицо ее делается глупым и смешным, она говорит ленивым, тяжелым голосом:

— Я-ста сам эдак-то умею,
Я-ста сделал бы и лучше вещь эту,
Да всё время у меня нету.—

Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает:

И пришли ко дьяку в ночу бесп:
— Тебе, дьяк, не угодно здеся?
Так пойдем-ко ты с нами во ад,—
Хорошо там уголья горят!—
Не поспел умный дьяк надеть шапки,
Подхватили его беси в свои лапки,
Тащат, щекотят, воют,
На плечи сели ему двое,
Сунули его в адское пламя:
— Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами? —
Жарится дьяк, озирается,
Руками в бока подпирается,
Губы у него спесиво надуты,
— А — угарно, говорит, у вас в аду-то!

Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменив лицо, смеется тихонько, поясняя мне:

— Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш! Ну-ко, спи, пора...

Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась всё красивее, всё лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался.

Всё меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разраставшейся с каждым днем тревоги.

— Отчего беспокоится отцова душа? — спрашивал я бабушку.

— А как это знать? — говорила она, прикрывая глаза.— Это дело божие, небесное, нам неведомое...

Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории,— главное место в них занимал отец, он всегда шел куда-то, один, с палкой в руке, и — мохнатая собака сзади его...

XII

Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись, спустил их с кровати,— они снова отнялись, но уже явилась уверенность, что ноги целы и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу, свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня.

Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях, пред нею стояли какие-то чужие люди, сухая, зеленая старуха строго говорила, заглушая все голоса:

— Напоить его малиной, закутать с головой...

Она была вся зеленая, и платье, и шляпа,и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою в черной кружевной перчатке без пальцев.

— Это кто? — спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом:

— Это еще тебе бабушка...

Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова.

— Вот и отец...

Она стала что-то говорить быстро, непонятно; Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал:

— Я тебе подарю краски.

В комнате было очень светло, в переднем углу, на столе, горели серебряные канделябры по пяти свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мене, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В темных стеклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы, всё вокруг куда-то плыло, а зеленая старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря:

— Непременно, непременно...

— Сомлел,— сказала бабушка и понесла меня к двери.

Но я не сомлел, а просто закрыл глаза и, когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил ее:

— Что же ты не говорила мне про это?..

— А ты — ладно, молчи!..

— Обманщики вы...

Положив меня на кровать, она ткнулась головою в подушку и задрожала вся, заплакала; плечи у нее ходуном ходили, захлебываясь, она бормотала:

— А ты поплачь... поплачь...

Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зеленая старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла.

Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо.

Как-то утром пришел дед со стамеской в руке, подошел к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками, дед тихонько спросил ее:

— Что, старуха?

— А что?

— Рада, что ли?

Она ответила так же, как мне на лестнице:

— А ты — ладно, молчи!

Простые слова теперь имели особенный смысл, за ними пряталось большое, грустное, о чем не нужно говорить и что все знают.

Осторожно вынув раму, дед понес ее вон, бабушка распахнула окно — в саду кричал скворец, чирикали воробьи; пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели.

— Босиком-то не ходи,— сказала бабушка.

— Пойду в сад.

— Не сухо еще там, погодил бы!

Не хотелось слушать ее, и даже видеть больших было неприятно.

В саду уже пробились светло-зеленые иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно

позеленел мох на крыше домика Петровны, всюду было много птиц; веселый звон, свежий, пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян,— нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать всё грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было всё еще очень обидно, но с каждым днем теряло интерес.

— Ты что это надул губы? — спрашивали меня то бабушка, то мать,— было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто всё в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зеленая старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками, легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, всё видя, всё замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о боге, опускаясь на щеки, если речь шла о домашнем. Брови у нее были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Ее голые широкие зубы бесшумно перекусывали всё, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец, около ушей у нее катались костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын,— до них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мертвую руку к моим губам, от руки пахло желтым казанским мылом и ладаном, я отворачивался, убегал.

Она часто говорила сыну:

— Мальчика непременно надо очень воспитывать,— понимаешь, Женя?

Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зеленой.

Я ненавидел старуху — да и сына ее — сосредо-

точенной ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжелое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза:

— Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски! Ты подавишься, милый!

Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей:

— Возьмите, коли жалко...

Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак,— пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот:

— А, ба-атюшки! Ну и озорник же ты, Христос с тобой...

Мне не нравилось, что она зажимает рот, я убежал от нее, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть: однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишневым клеем, оба они прилипли; это было очень смешно, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала:

— Послушай,— зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!

Глаза ее налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке,— это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня! Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда,— пусть только она не плачет.

— Да, да,— сказала она тихонько,— не нужно озорничать! Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедем в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом,— вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь,— ученый может быть чем хочет. Ну, иди, гуляй...

Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницею куда-то глубоко вниз и прочь от нее, в темноту, в одиночество,— не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери:

«Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя!»

Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда.

В саду дела мои пошли хорошо: я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье,— на нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами,— когда в яму смотрело солнце, всё это радужно разгоралось, как в церкви.

— Ловко придумал! — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу.— Только бурьян тебя забьет, корни-то ты оставил! Дай-ко я перекопаю землю заступом,— иди, принеси!

Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю.

— Отбрасывай коренья! Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы — хорошо будет! Хорошо...

И вдруг, согнувшись, над лопатой, он замолчал, замер; я присмотрелся к нему — из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы.

— Ты что?

Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня.

— Вспотел я! Гляди-ко — червей сколько!

Потом снова стал копать землю и вдруг сказал:

— Зря всё это настроил ты! Зря, брат. Дом-от я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живет, господь с ней...

Он бросил лопату и, махнув рукою, ушел за баню, в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге.

Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу, я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги

на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его,— точно она шла по остриям гвоздей.

Свадьба была тихая; придя из церкви, невесело пили чай, мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки, вотчим сел рядом со мною и сказал:

— Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать, уж я пришлю тебе краски из Москвы...

— А что я буду делать с ними?

— Ты не любишь рисовать?

— Я не умею.

— Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.

Подошла мать.

— Мы ведь скоро вернемся, вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад...

Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, но как-то странно было слышать, что человек с бородой всё еще учится. Я спросил:

— Ты чему учишься?

— Межевому делу...

Мне было лень спросить — что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зеленая старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за нее ради, спровадили на чердак и заперли там.

Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:

— Ну, прощай...

— Скажи ему, чтобы слушался меня,— угрюмо проговорил дед, глядя в небо, еще розовое.

— Слушайся дедушку,— сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда,— это он помешал ей.

Вот они сели в пролетку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.

— Помоги, али не видишь? — сказал мне дед, — я не помог, туго связанный тоскою.

Максимов терпеливо уставлял в пролетке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:

— До-остаточно-о...

На другую пролетку уселась зеленая старуха со старшим сыном, офицером,— она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позевывал.

— Значит — вы на войну пойдете? — спрашивал дед.

— Обязательно!

— Дело доброе. Турок надо бить...

Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слезы из глаз и ворчал отрывисто:

— Не будет... добра тут... не будет...

Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролетки,— вот они повернули за угол, и в груди что-то плотно захлопнулось, закрылось.

Было рано, окна домов еще прикрыты ставнями, улица пустынна — никогда я не видал ее такой мертво пустой. Вдали назойливо играл пастух.

— Пойдем чай пить,— сказал дед, взяв меня за плечо.— Видно,— судьба тебе со мной жить: так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!

С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу, а я всё устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплел из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьей навес от солнца и росы,— у меня стало совсем хорошо.

Дед говорил:

— Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше.

Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дерном, и поучал меня, не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова.

— Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у нее другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.

Долго молчит, будто прислушиваясь,— снова неохотно роняет тяжелые слова.

— Это она второй раз запивает,— когда Михайле выпало в солдаты идти — она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы... Эх вы-и... А я скоро помру. Значит — останешься ты один, сам про себя — весь тут, своей жизни добытчик — понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим — не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а — упрямо! Слушай всех, а делай как тебе лучше...

Всё лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:

— Гляди — звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит — сейчас где-то хороший человек родился.

Или указывала мне:

— Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо небушко, риза богова светлая...

Дед ворчал:

— Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят...

Бывало — зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и — сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом всё вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, всё становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка,— и музыка плывет издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, осве-

жающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою, и стирается в памяти всё, что нужно забыть,— вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя всё выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли, и — так странно — не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос — всё особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака — всё это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.

Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами,— это было привычно и не возбуждало внимания.

Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше.

Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит всё ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но

меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду — мое первое самостоятельное дело.

Перестали занимать меня и речи деда, всё более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома, она уходила то к дяде Якову, то — к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.

Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:

— Что молчишь?

— Так. А что?

Он начинал поучать:

— Мы — не баре. Учить нас некому. Нам надо всё самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Всё сам возьми...

И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти — жуткий.

Осенью он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг, за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:

— Ну, мать, кормил я тебя, кормил — будет! Добывай хлеб себе сама.

Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:

— Ну что ж! Коли — так, так — эдак...

Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:

— Домовик-родовик,— вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье...

Дед заглянул в окно со двора и крикнул:

— Я те повезу, еретица! Попробуй, осрами-ка меня...

— Ой, гляди, отец, худо будет,— серьезно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового.

Мебель и разные вещи он дня три распродавал старьевщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая:

— Тащи-и! Ломай...

Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш.

Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтобы сбросить меня долой.

И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери.

Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивленным блеском в них. Она всё как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня,— присматривалась и молчала, а вотчим неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами.

— Господи, как ты ужасно растешь! — сказала мне мать, сжав горячими ладонями щеки мои. Одета она была некрасиво — в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе.

Вотчим протянул мне руку.

— Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?

Понюхал воздух и сказал:

— А знаете — у вас очень сыро!

Оба они как будто долго бежали, утомились, всё на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.

Скучно пили чай, дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна:

— Стало быть — всё сгорело?

— Всё,— решительно подтвердил вотчим.— Мы сами едва выскочили...

— Так. Огонь не шутит.

Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то

на ухо ей,— бабушка щурила глаза, точно в них светом било. Становилось всё скучнее.

Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко:

— А до меня слух дошел, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл всё...

Стало тихо, как в погребе, фыркал самовар, хлестал дождь по стеклам, потом мать выговорила:

— Папаша...

— Что-о, папаша-а? — оглушительно закричал дед.— Что еще будет? Не говорил я тебе: не ходи тридцать за двадцать? Вот тебе,— вот он — тонкий! Дворянка, а? Что, дочка?

Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше.

Потом, как-то не памятно, я очутился в Сормове, в доме, где всё было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и вотчим жили в двух комнатах на улицу окнами, а я с бабушкой — в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимний ветер раздувал дым по всему селу, всегда у нас, в холодных комнатах, стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок:

— Хвоу, оу, оу-у...

Если встать на лавку, то в верхние стекла окна, через крыши, видны освещенные фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего,— в него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень — снова гудок; отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережеванными людями, черным потоком они изливались на улицу, белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко, изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала

воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом.

Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака,— опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на всё это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку — стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город:

— Поглядеть, как там старик живет...

— Возьми меня!

— Замерзнешь, гляди, как вьюжно!

И уходила она за семь верст, по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябко куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахромы, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот, ее серосиние глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу; улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась, и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие.

— Зачем мы тут живем? — спрашивал я. Она отвечала:

— Ах, молчи ты...

Она мало говорила со мною, всё только приказывала:

— Сходи, подай, принеси...

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой, избитый мальчишками,— драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнем, но наказание еще более раздражало, и в следующий раз я

бился с ребятишками яростней,— а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил ее, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну,— она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости:

— Звереныш!

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.

Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, он всё посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Всё чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» — это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.

Однажды он крикнул, топнув ногою:

— Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!

В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатях, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.

По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:

— Полтора рубля.

— Евгений Васильев, побойся бога...

— Полтора рубля.

Эта нелепая, темная жизнь недолго продолжалась; перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.

— Что-о? — сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая.— Говорилось: нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый чёрт дедушка! Эх вы-и...

Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком, вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.

Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.

Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был желтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то пра́зелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя,— это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

— Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози погами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил ее и привязал на нитке к блоку двери в полутемных сенях. Когда дверь открылась — арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвел меня с запиской

учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушел из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

— Пешков, книгу принес или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

— Нет. Не принес. Да.

— Что — да?

— Нет.

— Ну, и — ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматриваясь к ее шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь — книгу, линейку, ручку пера — он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил ее и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребятишками он был не так ласков, но они все-таки любили его.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл,— это грозило мне великими неприятностями: мать, становясь всё более раздражительной, всё чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь,— в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф *, похожий на колдуна и, помнится, горбатый.

* Автор известного трехтомного труда — «Религии древнего мира», статьи — «Египетский метампсихоз», а также публицисти-

Когда он, маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!»— в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно:

— Тебе — который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

— Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

— Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слыхал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да еще и жития? Стихами? Да ты у меня знающий...

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

— Позвольте, минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия?..

— Прехорошие стихи, брат, а? — сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. —А еще что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

— По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал — да. Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

ческой статьи — «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатление. Кажется, я неверно привел титул ее. Напечатана в каком-то богословском журнале семидесятых годов.

— Вот что про тебя говорят — слыхал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

— Чего же это ты озорничаешь?

— Скушно очень учиться.

— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:

— Пешко́в, Алексей. Так. А ты все-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко — можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

— Так.

— Вы сами-то ведь не много озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

— Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивленно сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:

— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял веселость. Наконец встал и сказал:

— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

— Во имя отца и сына и святаго духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая клобуком, он говорил:

— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

— Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:

— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже,— когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы,— я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступление без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком; скучая, я развернул одну из книг вотчима — «Записки врача» Дюма-отца — и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!

Нашлось еще несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нем — это чушь!

На другой день я принес в школу «Священную историю» и два растрепанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В темной маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в желтой обложке, и на первом листе изображен бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах,— это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрепаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец»,— помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и еще чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе — не хватило времени, а когда я пришел домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

— Ты взял рубль?

— Взял; вот — книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моем сослуживцам, те — своим детям, один из них принес эту историю в школу, и, когда я пришел учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но — неправильно: ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это — мне не поверили, тогда я ушел домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.

Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.

— Ты — врешь, — тихо сказала она.— Никто не может знать, что ты взял рубль.

— Поди спроси.

— Ты сам проболтался. Ну, скажи — сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принес это в школу!

Я назвал ученика. Лицо ее жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушел в кухню, лег на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.

— Боже мой, боже мой...

Терпения не стало лежать в противном запахе на-

гретых сальных тряпок, я встал, пошел на двор, но мать крикнула:

— Куда ты? Куда? Иди ко мне!..

Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы ее платья, кланялся и говорил:

— Бувуга,— что означало: пуговка.

Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:

— Мы — бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...

И всё не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.

— Экая дрянь... дрянь! — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от нее однажды.

Саша повторил:

— Дянь!

Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая; еще утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребенка, Николая.

Мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.

Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери:

— Евгений, я тебя прошу, прошу...

— Глу-по-сти! — сказал вотчим.

— Но ведь я знаю — ты к ней идешь!

— Н-ну?

Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:

— Какая ты злая дрянь...

Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и

увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре,— им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца,— схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.

По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.

Поздно вечером, когда он все-таки ушел из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:

— Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?

Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ,— русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но

тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

Снова я у деда.

— Что, разбойник? — встретил он меня, стуча рукою по столу.— Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

— И буду,— сказала бабушка.— Эка задача, подумаешь!

— Вот и корми! — крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:

— Мы с ней совсем разделились, у нас теперь всё порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита,— неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

— Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал всё за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок:

— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре — лавочнице, дородной, краснощекой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку, легкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди,— ты сколько положила?

Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-от мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она вынивала одинаковое с ним количество чашек.

— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну уж — по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое,— это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня.— Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков,—отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе — заработаю кусок, небойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных то-

варов копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

— Вот и спасибо те, голубá душа! Мы с тобой не прокормимся,— мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза.

Более доходной статьей, чем ветошничество, было воровство дров и теса в лесных складах по берегу Оки или на Песках,— остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тес — складывают в штабеля, и они лежат там, на Песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы-мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки две, три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться.

Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мордовки Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно веселый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными черными глазами,— он впоследствии, тринадцати лет, удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший «черной немочью», а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; все — люди с одной улицы.

Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» — ловили дрова и бревна, унесенные половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались во-

ровством с барж и вообще — «мартышничали» на Волге и Оке, хватая всё, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.

Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом — слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.

Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых — шкворни, железные подоски из тележных осей,— наша компания этими делами не занималась; Чурка однажды решительно заявил:

— Я воровать не буду, мне мамка не велит.

— А я — боюсь! — сказал Хаби.

У Костромы было чувство брезгливости к воришкам, слово — вор он произносил особенно сильно, и когда видел, что чужие ребята обирают пьяных,— разгонял их, если же удавалось поймать мальчика — жестоко бил его. Этот большеглазый, невеселый мальчик воображал себя взрослым, он ходил особенной походкой, вперевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какой-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство — грех.

Но таскать тес и жерди с Песков не считалось грехом, никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приемов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день Вяхирь и Язь отправлялись на Пески через затон по набухшему, мокрому льду,— они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Язём и Вяхирем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и, пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас веревка, на конце ее загнут крючком большой гвоздь; зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду,— сторожа почти никогда не заме-

чали нас, а заметив — не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей — приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата.

На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Вяхиря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги.

Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая:

Город на Каме,
Где — не знаем сами!
Не достать руками,
Не дойти ногами!

Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище:

— Чего ты? Разве на товарищев сердются?

Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.

Нам все-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство теса. Это стало особенно интересно весной, когда сошел снег, и после дождей, чисто омывавших мощеные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и, хотя иногда ссорились немножко,— я не помню ни одной драки между нами.

Нашим миротворцем был Вяхирь, он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова; простые — они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил

их с удивлением. Злые выходки Язя не обижали, не пугали его, он находил всё дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал.

— Ну, зачем это еще? — спрашивал он, и мы ясно видели — незачем!

Мать свою он называл: «моя мордовка»,— это не смешило нас.

— Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянехонькая! — весело рассказывал он, поблескивая круглыми глазами золотистого цвета.— Расхлебянила дверь, села на пороге и поет, и поет, курица!

Положительный Чурка спрашивал:

— Что — поет?

Вяхирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери:

Ой, стук-постук—
Молодой пастух,
Он — в окошко падогом,
Мы на улицу бегом!
Пастух Борька,
Вечерняя зорька,
Заиграет на свирели —
Все в деревне присмирели!

Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их.

— Да,— продолжает он,— так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как, я весь дрожу, чуть не замерз, а стащить ее — силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты какая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!»

Чурка серьезно подтверждает:

— Она скоро помрет, набухла уж вся.

— Жалко будет тебе? — спрашиваю я.

— А как же? — удивляется Вяхирь.— Она ведь у меня хорошая...

И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхиря, верили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудач, Чурка предлагал:

— Давайте сложимся по копейке, Вяхиревой матери на вино, а то она побьет его!

Грамотных в компании было двое — Чурка да я; Вяхирь очень завидовал нам и ворковал, дергая себя за острое, мышиное ухо:

— Схороню свою мордовку — тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь — в садовники наймусь к архирею, а то к самому царю!..

Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров; женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхирю:

— Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте...

И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:

— Балакейная лавка...

Чурка поправлял его:

— Бакалейная, кикимора!

— Я вижу, да перескакивают буквовки.

— Буковки!

— Они прыгают — рады, что читают их!

Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам.

Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью, лишь кое-где, по дворам, одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины да под забором робко прятались серые, сухие былинки; если кто-нибудь из нас садился на них — Вяхирь сердито ворчал:

— Ну, на что траву мнете? Сели бы мимо, на песок, не всё ли равно вам?

При нем неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки — он всегда удивлялся, вздернув плечи и разводя руками:

— Что вы всё ломаете? Вот уж, черти!

И всем было стыдно от его удивления.

По субботам мы устраивали веселую забаву,— готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптан-

ные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером, в субботу, когда с Сибирской пристани шли домой ватаги крючников-татар, мы, заняв позиции, где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и, уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей, мало того — подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас,— мы жаловались им:

— Это — не игра!

Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и — начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы, с визгом, носились вокруг их, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головою в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги.

Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. Воро́нами летали по воздуху серые, пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды.

Татаре горячились не меньше нас; часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор — силачи, в них было что-то детское, очень понятное,— меня особенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьезное отношение друг ко другу.

Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом, а один из них — касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы: он снес однажды с баржи далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса,— он, смеясь, выл и кричал:

— Вву, вву! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета слова-та!

Однажды он посадил Вяхиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал:

— Вот где живи, небеснай!

В ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный, на его маленькой голове, на темном лице кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал:

— Не дай господь бессонницу! Ух!

Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно — шкалик водки отцу Язя, Чурка строго приказывал ему:

— Дрянной Мужик,— ставь самовар!

Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар, мы, в ожидании чая, рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы:

— Глядите — после завтрея сороковины у Трусовых, большой стол будет,— вот они где, кости вам!

— У Трусовых кости кухарка собирает,— замечал всезнающий Чурка.

Вяхирь мечтал, глядя в окно на кладбище:

— Скоро в лес ходить будем, ох ты!

Язь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами, молча же он показывал нам свои игрушки — деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы.

Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар,— Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал:

— Ух, чтоб вам сдохнуть,— будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай господь бессонницу!

Вяхирь говорил ему:

— Мы вовсе не воры!

— Ну, ин воришки...

Если Язёв отец надоедал нам,— Чурка сердито окрикивал его:

— Отстань, Дрянной Мужик!

Мне, Вяхирю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрет,— он говорил об

этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи,— нарочно дразнил и подзуживал нас:

— Ага-а, боитесь, шишиги? То-то! А вот скоро один толстый помрет,—эх, и долго ему гнить!

Его останавливали,— он не унимался:

— А ведь и вам надо умирать, на помойных-то ямах недолго проживете!

— Ну, так и умрем,— говорил Вяхирь,— нас в ангелы возьмут...

— Ва-вас? — задыхался от изумления Язёв отец.— Это — вас? В ангели?

Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.

Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:

— Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вот, третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятенки, про нее историю — что же это за баба?

Он очень часто говорил про женщин и всегда — грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:

— Спрашивают ее: «Кто поджег?» — «Я подожгла!» — «Как так, дура? Тебя дома не было в тую ночь, ты в больнице лежала!» — «Я подожгла!» Это она — зачем же? Ух, не дай господь бессонницу...

Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял пред нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:

— Я — домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?

Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил:

— Прощайте!

Мы тоже кричали ему — прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:

— Вот, проснемся завтра, а он — помер.

— Язю хуже всех жить,— часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:

— Нам вовсе не плохо...

И на мой взгляд нам жилось не плохо,— мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, Басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства.

Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало еще лучше,— весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались

в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг другу.

Но эта жизнь продолжалась недолго — вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки,— бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.

Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами, брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок.

Внимательно ощупав его, дед сказал:

— Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас...

Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:

— Ему немного надо...

— Тому — немного, этому — немного, и выходит много...

Он махнул рукой и обратился ко мне:

— Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке...

Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами — без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком.

Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда:

— Умереть — не велика мудрость, ты бы вот жить умела!

Мать затяжно кашляет...

Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.

Если близко к нам подходит курица, кошка — Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается,— меня смущает эта улыбка — не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?

Двор — маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой — всё это мещане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева; насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.

Рядом — бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось — этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой...

Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора — обухом между рогов,— Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:

— Ффу...

В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:

— Обедать!

Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя,— пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

— Будет, что ли? Али еще дать?

Из темного угла около двери раздавался голос матери:

— Видите же вы — он тянется за хлебом!

— Ребенок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть...

И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

— Ну, ладно! — говорил наконец дед.— На-ко, отнеси его матери.

Я брал Колю — он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.

Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала — это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили.

Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку,— ложился и долго ворчал в темноте:

— Вот — пришло время умирать. С какой рожей пред богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали... До чего дошли?..

Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий,— дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.

Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.

— Господи, господи...

Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:

— Бес проклятый,—пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!

Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:

— Не совался бы ты...

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к не-

му, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.

Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда:

— Сходи к Евгению Васильевичу, скажи — прошу его прийти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:

— Скорей беги!

Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в ее глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке.

Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанная, важная по-прежнему.

— Тебе стало лучше? — спросил я, оробев почему-то.

Жутко глядя на меня, она сказала:

— Поди сюда! Ты где шлялся, а?

Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя,— нож вырвался из руки у нее.

— Подними! Дай...

Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.

Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.

— Дай воды...

Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами,ползли на грудь,

подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно.

Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо.

Вошел дед, я сказал ему:

— Умерла мать...

Он заглянул на постель.

— Что врешь?

Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это.

Пришел вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:

— Да она умерла, смотрите...

Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.

Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвел ее в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:

— Ах ты,— не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это — такое дело... Верно я говорю, бабушка? И богату и просту — всем дорога к погосту,— так ли, бабушка?

Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, веселый.

— Ты гляди-ко,— сказал он, протягивая мне сломанную шпору,— гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди — колесико, а? Не иначе — казак носил да потерял... Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал...

— Что ты врешь! — тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:

— Вяхирь-то, а? Строгий! Ну — не я, он дарит это тебе, он...

Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой,— я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову:

— Выпьем сегодня, а?

Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:

— Гляди, ты гляди, чего он делает! — Но видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьезно: — Ну — буде, очнись-ка! Все умрем, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дерном обложу — хошь? Вот сейчас пойдем в поле,— ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дерна и так устроим могилу — лучше нельзя!

Мне понравилось это, и мы пошли в поле.

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошел я в люди.

В ЛЮДЯХ

I

Я — в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин — маленький круглый человечек; у него бурое, стертое лицо, зеленые зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

— Не криви рожу,— тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят,— может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

— Я сказал — не криви рожу,— еще тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

— Не чеши рук,— ползет ко мне его сухой шёпот.— Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуй...

Я не знаю, что́ такое статуй, и не могу не чесать рук: обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хозяин, рассматривая мои руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

— Ветошничество — это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

— Я ведь и воровал тоже!

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

— Что-о? Как это воровал?

Я объясняю — как и что.

— Ну, это сочтем за пустяки. А вот если ты у меня украдешь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и еще больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковов, и старший приказчик — ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привел меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня,— Саша важно нахмурился, предупреждая:

— Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

— Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

— Помни, что́ дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

— Каширин, не вытаращивай зенки,— советовал ему хозяин.

— Я — ничего-с,— отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал:

— Не бычись, покупатели подумают, что ты козел...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо свое сладостную улыбку; она, покрывая его щеки морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери,

незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно боится сломать ногу, а нога — толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поеживаясь:

— Ах, как вы щекочете...

— Это-с — из вежливости,— быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и, чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей,— уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

— Ах,— вздохнула женщина,— какой вы шалунишка!

А он надул щеки и тяжко произнес:

— Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжелым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

— Прогонят тебя за эти штуки! Ну,что́ тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам — торговля идет лучше.

— Даме и не нужно башмаков, а она придет да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты — не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело,— никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

— Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив,— тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

— Каширин, прибери товар!

И ругался:

— Ишь, нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой — я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами,

она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха,— лицо ее возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала еще красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали брильянты,— она напомнила мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Ее приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнем, захлебываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стеклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

— С-сука...

— Одно слово — актриса,— с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о ее кутежах.

После обеда хозяин лег спать в комнатке за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

— Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало — вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжелой скуке, и всё чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина,— кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят — великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне

подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

— Ты бы, человече божий, украл мне калошки, а? — предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и — снова:

— Украдь, а?

— Воровать нельзя! — сообщил я ему.

— А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

— Вот и ладно,— не радуясь, спокойно сказал он.— Не омманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не омманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

— А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты — за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

— Если окажется, например, что это хозяин же и научил меня: иди, испытай мне мальца — насколько он вор? Как тогда будет?

— Не дам я тебе калоши,— сказал я сердито.

— Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлек к себе и, стукая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

— Как же это ты ни с того ни с сего — на, возьми!?

— Ты сам просил.

— Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты — ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

— Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту

твою, когда Пасха придет, я те на колокольню пущу, звонить будешь, город поглядишь...

— Я знаю город.

— С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушел за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

— Какого чёрта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня,— я помнил угрозу хозяина.

— Ты воруешь? — спросил я Сашу.

— Не я, а старший приказчик,— объяснил он мне строго,— я только помогаю ему. Он говорит — услужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неутомимо показывал мне свое старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперед отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он — плотненький, мягкий и масленый. В сюртуке и брюках навыпуск он казался мне важным, солидным, но было в нем что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную,— нельзя было понять, добрая она или злая.

— Лучше всего на свете люблю я бои,— говорила она, широко открыв черные, горячие глаза.— Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики — мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца ее, глядя

в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

— Что вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

— Я тебе, дуре, не ребятишка, а второй приказчик!

— Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребенок!

— Дура, дурья голова...

— Бес умен, да его бог не любит.

Ее поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил ее, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

— Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натыкать в ее подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснется, зажжет лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

— Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело ее пахнет воском и ладаном и что она скоро умрет. Может быть, даже сейчас вот ткнется лицом в пол и умрет. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала:

— Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у нее не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали ребра, точно обручи на рассохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

— Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

— Вот и дожила — ну?

— Спи! — говорила она, прерывая меня на полу-

слове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

— Ведьма! — звал ее Саша за глаза.

Я предложил ему:

— А ты в глаза скажи ей это!

— Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

— Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чем не мирволила,— дернет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

— Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

— Что ты орешь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспаленными бессонницей глазами:

— У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

— Проклятая,— ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: — Надо сделать, чтоб ее прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять,— если у нее всё будет пересолено, прогонят ее. А то керосину! Ты чего зеваешь?

— А ты?

Он сердито фыркнул:

— Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг осела на пол, точно кто-то толкнул ее в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперед, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на нее, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришел хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

— Действительно умерла... Что̀ такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолившись, скомандовал в сени:

— Каширин, беги, объяви полиции!

Пришел полицейский, потоптался, получил на чай, ушел; потом снова явился, а с ним — ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли ее на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

— Вымой пол!

А хозяин сказал:

— Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

— Не гаси лампу!

— Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

— Давай ляжем на печи, рядом?

— Жарко на печи...

Помолчав, он сказал:

— Как она — сразу, а? Вот тебе и ведьма!.. Не могу уснуть...

— И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

— Покойники помнят только город,— тихонько говорил он,— а улицы и дома не помнят уж...

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

— Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирал его висячим замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

— Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ног на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув темные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв ее, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свертками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

— Это что́?

— А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

— Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки,— я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из нее оправу от очков, надел ее на нос и, строго глядя на меня, сказал:

— Это ничего не значит, что стекол нет, это уж такие очки!

— Дай мне посмотреть!

— Тебе они не по глазам. Это для темных глаз, а у тебя какие-то светлые,— объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц,— он объяснил мне с гордостью:

— Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом — сапожные подковки, стертые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребенка, «Сонник и оракул» и еще множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил ее пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

— Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

— Хочешь, подарю что-нибудь?

— Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

— Возьми полотенце, перетрем всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетерты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошел, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

— Погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку — ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло еще несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

— Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим угольям, не оглядываясь, перешел кухню и лег рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и,

когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

— Идем!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зеленой ватой лишаев, черные голые сучья торчали мертво. И ни одного воронього гнезда среди них. Деревья — точно памятники на кладбище. Кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видно ее лысины, она тоже подернута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев,— обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их,— под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем,— корень служил пещере сводом,— в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался

аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналоя горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри ее тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, теплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

— Хорошо? — спросил Саша.

— Это зачем?

— Часовня,— объяснил он.— Похоже?

— Не знаю.

— А воробей — покойник! Может, мощи будут из него, потому что он — невинно пострадавший, мученик...

— Ты его мертвым нашел?

— Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

— Зачем?

— Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

— Хорошо?

— Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл ее доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

— Почему не нравится?

— Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

— Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

— Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

— Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабля-

ющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

— Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, всё более пугая меня. Я отошел в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

— Что, взял? Вот буду так валяться, покуда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьем перебросил через забор на улицу, изрыл всё внутри пещеры и затоптал ее ногами.

— Вот тебе, видел?

Саша отнесся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я всё нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушел, не оглянувшись, еще более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

— Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» — подумал я угнетенно.

Но кухарка так заливчато хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в ее зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

— Это — Саша?

— А то я! — смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак,— в палец мне впилась булавка.

«Вот оно — колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил ее на голову еще не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но все-таки я чувствовал себя плохо: мне всё мерещился гроб с воробьем, серые скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг — неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга и не может. Гроб расширялся, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосине судок со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь лампы, опрокинул судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в желтой зыбкой пустоте слепо копошились, урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный человек с бровями, точно усы, тряс большой черной бородой и рычал, присвистывая:

— Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лежа кверху носами, были похожи на мертвых воробьев. Качались желтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая и раздвигая ряды коек, всё было ненадежно, жутко, а за окнами торчали сучья деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван свой и визжал:

— Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

— Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей,— я считал свою жизнь покончeнной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване, написала что-то на черной доске в моем изголовье,— мел сломался, крошки его посыпались на голову мне.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Никак.

— У тебя же есть имя?

— Нет.

— Ну, не дури, а то высекут!

Я и до нее был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула, точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их желтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

— Давай в карты играть?

— Как же я без руки-то?

— Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слез, закрыл глаза, но слезы приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

— Ничего не выйдет, и он — дрянь, и она — дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чем. Попробовать — не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошел к двери, половинка ее была открыта,— в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня темными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

— Кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошел, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами,— на голове они были длиннее и торчали во все стороны,

окружая ее серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

— Это — варены руки? Ты чего же шлендаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня теплой рукой за шею и привлек к себе.

— Боишься?

— Боюсь!

— Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особливо со мной — я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо — без них проживем, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами,— мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвел меня к моей койке, я попросил:

— Посиди со мной!

— Можно,— согласился он.

— Ты — кто?

— Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а — как же иначе? Солдат для войны живет. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком — сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в темном платье, а он стоял около нее и говорил:

— Поди-ка, померли все, а?

В палате играло солнце,— позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребенок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

— Что, голубой? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

— Сейчас я всё сделаю по закону,— сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слезы с лица, говорила:

— Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё еще думал, что сон вижу, и молчал. Пришел доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

— А дед у нас вовсе с ума сходит, так жаден стал — глядеть тошно! Да еще у него недавно сторублевую из Псалтыря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его. Что было — и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идем по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лед, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась широкорожая баба с охапкой атласных веток вербы в руках — весна идет, скоро Пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

— Люблю я тебя очень, бабушка!

Это ее не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

— Родной потому что, а меня, не хвастаясь, скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

— Вот — обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

II

Дед встретил меня на дворе,— тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

— Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

— Знаем, знаем,— торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

— Теперь на́чисто разорился дедушко-то; какие деньги были, все отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него,— уж не знаю, как это у них сталось, только разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Огляпувшись, она сообщила:

— Уж я всё стараюсь господа задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал,— стала теперь от трудов своих тихую милостину подавать по ночам. Вот, хошь, пойдем сегодня — у меня деньги есть...

Пришел дед, сощурился и спросил:

— Жрать нацелились?

— Не твое,— сказала бабушка.— А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

— Налей...

Всё в комнате было на своем месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупною надписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твое со мною по вся дни и часы живота моего».

— Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

— Этой бумаге сто рублей цена!

— Не твое дело! — крикнул дед.— Всё чужим людям раздам!

— Раздать-то нечего, а когда было — не раздавал,— спокойно сказала бабушка.

— Молчать! — взвизгнул дед.

Здесь всё в порядке, всё по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзине, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал еще более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер, его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби ушел жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:

— Уж очень скоро мрут мальчишки!

— Да ведь помер только Вяхирь?

— Всё равно: кто ушел с улицы, тоже будто помер. Только подружишься, привыкнешь, а товарища либо

в работу отдадут, либо умрет. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут — Евсеенки; парнишка — Нюшка, ничего, ловкий. Две сестры у него: одна еще маленькая, а другая хромая, с костылем ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

— Мы, брат, с Чуркой влюбились в нее, всё ссоримся!

— С ней?

— Зачем? Промежду себя. С ней — редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в черные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидал вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

— Что это с руками у тебя?

— Сварил.

— А вот я — хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздохнув, она прибавила:

— Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причесанные волосы лежали на груди толстой короткой косой. Глаза у нее — большие, серьезные, в их спокойной глубине горел голубой огонек, освещая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но — не понравилась мне. Вся ее болезненная фигурка как будто говорила:

«Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в нее?

— Я давно хвораю,— рассказывала она охотно и словно хвастаясь.— Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

— Да...

С нею было неловко, я ушел в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

— Пойдем, что ли? Потрудишься людям — руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была черная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к темным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звезд, и шептала:

— Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все — грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углубленное тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звезды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят ее глаза; я трусливо прижался к бабушке.

— Ничего,— сказала она,— это просто собака, бесу — не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила ее и советует:

— Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потерлась о мои ноги, и дальше пошли втроем. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостину»; начало светать, из тьмы вырастали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рогожа.

— Устала старуха,— говорила бабушка,— домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко годится! Охо-хо, Олеша, бедно живет народ, и никому нет о нем заботы!

Богатому о господе не думается,
О страшном суде не мерещится,
Бедный-то ему ни друг, ни брат,
Ему бы всё только золото собирать —
А быть тому злату в аду угольями!

Вот оно как! Жить надо — друг о дружке, а бог — обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чем не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

— Она будет с нами жить?

— А что ж? Пускай живет, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

— Тут одна еврейка живет, так у ней — девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я ее: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим — с кем иначе жить?»

Я прислонился к теплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что́ восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот,— с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста маслобойни, потом отец ее, слесарь, переехал в Нижний.

— А еще дядя, второй,так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдеж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазло»,— матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь,— вносило во все

игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое — Кострома, Чурка и я,— все-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

— Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто — до слез и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылем, боязливо вскрикивая:

— Перестаньте!

Лицо у нее было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал,— это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из черных угрюмых глаз выкатываются тяжелые, крупные слезы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлебываясь слезами:

— Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплевывать сквозь зубы и обещал:

— Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой,

— Здравствуй,— сказала она, трижды кивнув головой.— Кострома с тобой ходил?

— Да.

— А Чурка?

— Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и — дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

— Вот еще! Чем же я виновата?

— А зачем влюбляешь?

— Я их не просила влюбляться! — сказала она сердито и пошла прочь, говоря: — Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

— Много ты знаешь! — желая обидеть ее, крикнул я.— Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

— Ты сам ничего не знаешь,— заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза ее красиво разгорелись.— Лавочница — распутная, а я — такая, что ли? Я еще маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль ее — в словах ее звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют ее товарищи мои? А еще говорят — влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

— Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

— Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

— Хоть бы в бумажку завернул,— руки-то грязные какие.

— Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

— Как испортил...

— А у тебя пальцы истыканы...

— Это — иголкой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

— Слушай,— давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» — хочешь?

Долго искали, куда спрятаться,— везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там — темно, но можно сесть у окна, оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу по скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрепанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я — волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьезные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевертываю всячески,— это уж окончательно мешает мне понять, о чем рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову ее — Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегает и ворчит, как осенний ветер в трубе.

— Ты слушаешь? — спрашивает девочка.

Я молча киваю головой. Сумятица слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее мое желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живет и горит звездою в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

— Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сиживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чем идет речь в этой бесконечной книге,— бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льет дождь,— никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в темный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

— Знаешь, что тогда подумают? — тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чем-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же — о жизни казаков на реке Медведице.

— Ой, как там хорошо! — вздыхала она.— Здесь — что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестренка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

— Мы с тобой живем, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живем — мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

— Ой, хорошо мы живем! Свой грош — строй, что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

— Мальчику с девочкой дружиться — это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла нам, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чем принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив,— я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремнэ за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенка прикрыто, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом темных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обреченном движении женщин мимо мужчины,— казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнет ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

— Выпялился козел, бесстыжая харя! — ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным нечистым лицом, с коротко остриженными — после тифа — волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и, безуспешно стараясь отвлечь внимание ее от улицы, упрямо расспрашивает о чем-нибудь.

— Отстань, назола, урод несчастный! — бормочет мать, беспокойно мигая; ее узкие монгольские глаза странно светлы и неподвижны,— задели за что-то и навсегда остановились.

— Ты не сердись, мамочка, всё равно уж,— говорит Людмила.— Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

— Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали,— безжалостно и точно

сквозь сон отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно в час, когда стекла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки ее неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищенные.

— Погоди, свернут тебе башку,— обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на нее.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем вьются дети, теплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен — запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рев мужиков, звонкие крики детей, басовитое пение гармоники — всё сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Всё — грубо, обнаженно и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой черной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряженно ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

— Одного всем сразу нельзя бить — надо по очереди...

— Кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

— Али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко, свежее воздух, тише гул; деревянные дома пухнут, растут, одеваясь тенями. Детей растащили по дворам — спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез,

точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится ее, считая колдуньей; про нее говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею — дружба; встречаясь на улице, обе они еще издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться,— обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

— Перестаньте! — боязливо просит Людмила.

Скосив на нее черные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб — черный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской,— изображены крест, копье, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встает из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

— Не говори о страшном! — просит Людмила.

— Пусти! — кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата ее, и насмешливо говорит Костроме: — Что врешь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху — пустой, для памятника... А что ходит покойник — это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

— Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

— Мамочка, покойники по ночам встают?

— Встают,— повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошел сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

— Кто из трех до света пролежит на гробу — двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит — уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

— Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

— Давай рубль — пойду! — угрюмо предложил Чурка.

Кострома тотчас же ехидно спросил:

— А за двугривенный — трусишь? — И сказал Вальку: — Дай ему рубль, всё равно не пойдет, форсит только...

— Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошел прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

— Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

— Куда вам, трусы! — издевался Валёк.— А еще первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издевки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах, учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в нее камнями; однажды дал ей в хлебе иглу.

Но еще обиднее было видеть, как уходит Чурка, съежившись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

— Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

— Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это еще более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя с парня денег, но подошла бабушка и, узнав, в чем дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

— Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Ее слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнет вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

— Гляди же,— предупредил Валёк,— я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошел на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

— Ежели что померещится — не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шел быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и еще какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то екнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я подошел к черному гробу. С одной стороны он был занесен песком, с другой — его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие березки, связывая ветвями разъединенные могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки — эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец — Дрянной Мужик — лениво бьет в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздается сухой удар маленького колокола,— он звучит кратко, скучно,

«Не дай господь бессонницу»,— вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то — душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнет вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать...

Еще не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катызовке верещит, захлебываясь, гармоника, за оградою идет всегда пьяный кузнец Мячов и поет,— я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки
И грехи-то маленьки,—
Она не любя никого,
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, всё топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосягаемые звезды, а всё на земле исчезло, ненужно и мертво́.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице, лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о́ землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича,— это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его компания,— хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

— Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

— Бесчувственный мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще — очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой,— ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им:

«Подите к чёрту!»

Но это было опасно,— кто знает, как отнесется к этому чёрт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напомнило мне, как однажды я, лежа на плотах на Оке, смотрел в воду,— вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошел в глубину, колеблясь, как падающий лист клена.

Память работала всё напряженнее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится еж, стуча по песку твердыми лапками: он напоминает домового — такой же маленький, встрепанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

— Ласковый хозяин, изведи тараканов...

Далеко над городом — не видным мне — становилось светлее, утренний холодок сжимал щеки, слипались глаза. Я свернулся калачиком,окутав голову одеялом,— будь что будет!

Разбудила меня бабушка — стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

— Вставай! Не озяб ли? Ну, что — страшно?

— Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

— А почто молчать? — удивилась она.— Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

— Всё надо самому испытать, голубá душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься — никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

— Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» — качая головами, восклицали:

— Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убежденно заявила:

— Стало быть, врали, что Калинин встает. Кабы вставал,— разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

— Ему — легко, у него бабушка — ведьма...

III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелевой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

— О, чтоб тебя рóзорвало! — ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль,— эти пылинки, точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с черными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щелками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосенки,— спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам домохозяин — на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных и зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет,— я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

— Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

— Слава богу, отошел,— говорила бабушка, расчесывая волосы свои.— Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребенка; бабушка сердито сказала:

— Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

— Вот — родили... жил, ел... ни то ни сё...

— Проснись,— остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на нее и пошел на двор, говоря:

— Мне хоронить не на что, как хошь сама...

— Тьфу ты, несчастный!

Я ушел и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошел в церковь и всю обедню сидел у разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дешево и всё хвастался этим передо мной.

— Это я только по знакомству, а то бы — рубль...

Заглядывая в желтую яму, откуда исходил тяжкий запах, я видел в боку ее черные, влажные доски. При ма-

лейшем движении моем бугорки песка вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

— Не балуй,— сказал Язёв отец, покуривая.

Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с черными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

— А ты все-таки потревожил Варину-то домовину...

— Как иначе? И то я чужой земли прихватил. Это — ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею — дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одергивая потертый сюртук.

— Сеяли семя в непахану землю,— сказал он вдруг, убегая вперед, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

— Чего он?

— Бог с ним! У него свои мысли,— ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ее тонули в теплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил ее, понатужась:

— Черное-то в могиле — это материн гроб?

— Да,— сказала она сердито.— Пес неумный... Года еще нет, а сгнила Варя-то! Это всё от песка, он — воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

— Все гниют?

— Все. Только святых минует это...

— Ты — не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьезно посоветовала:

— Не думай-ко про это, не надо. Слышишь?

Но я думал; «Как это обидно и противно — смерть! Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

— Попьем чайку, а то — жарко,— сказал он.— Я уж своего заварю. На всех!

Подошел к бабушке и похлопал ее по плечу.

— Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

— Что уж тут!

— То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о желтой яме и черных, влажных клочьях в боку ее.

Но бабушка сурово остановила его:

— Перестань-ко, отец! Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крякнул, взглянул на нее и замолчал.

Вечером, у ворот, я с тоскою поведал Людмиле о том, что́ увидел утром, но это не произвело на нее заметного впечатления.

— Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама — в монастырь на всю жизнь. Куда мне еще? Замуж я не гожусь, хромая — не работница. Да еще детей тоже хромых народишь...

Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я всё реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

— Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами...

— А я — травок пособираю,— заявила бабушка.

Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую — шел до шоссейной дороги на Москву и дальше, за дорогу. Над

его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща — «Савелова Грива».

Всё это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на свое, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом.

Вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зеленых садов, в золотых главах церквей, встает, не торопясь, русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой мутной Оки, качаются золотые лютики, отягченные росою, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» — гвоздика...

Темною ратью двигается лес встречу нам. Крылатые ели — как большие птицы; березы — точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоуменно качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбаясь, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадется. Бабушка, в синей кофте, в черной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро — за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживленнее дед; потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

— Леса — господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Лексей, не доведется тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса — от Касимова до Мурома, али — за Волгой лес, до Урала идет, да! Всё это безмерно и пречудесно...

Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

— Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом — татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам — выбились из силушки, встали на мертвую, закачались,— сошли на берег кашу варить. А — май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-те Жигули, зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу — тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш — суровый был мужик и в летах — встал на ноги, шапку снял да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите — сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись — ка́к да что́? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя — без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ — зверь безумный, ему — чего жалко? Испугались. А он — свое: «Не хочу боле эдак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было — которые — собрались бить его да вязать, а которые — задумались о нем, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал — большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы — не то шестнадцать, не то — четырнадцать. Вот те и лес!

— Они — в разбойники ушли?

— Может — в разбойники, а может — в отшельники,— в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

— Пресвятая матерь божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.

— Всем дан один разум — знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо — навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле

матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой.

На сухом месте бабушка говорит:

— Надо закусить, сядемте-ко!

В лукошке у нее ржаной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и творог в тряпицах, дед смотрит на всё это конфузливо и мигает:

— А я ничего не взял еды-то, ох, мать честна́я...

— Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи; темной рукою бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой,— она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

— Рано опята пошли — мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб — лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать ее беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

— Сбежал от деда-то?

И, кланяясь черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил всё живое.

— А премилая мать его собрала заране все семена в лукошко да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым — и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против воли моей? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю:

— Разве так было? Божья-то матерь родилась долго спустя после потопа.

Теперь бабушка удивлена:

— Это кто тебе сказал?

— В училище, в книжках написано...

Это ее успокаивает, она советует мне:

— А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеется тихонько, весело.

— Придумали, дурачки! Бог — был, а матери у него не было, эко! От кого же он родился?

— Не знаю.

— Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

— Поп говорил, что божья матерь родилась от Иоакима и Анны.

— Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится,— стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

— Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю!

Но через минуту объясняет мне:

— Богородица всегда была, раньше всего! От нее родился бог, а потом...

— А Христос — как же?

Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза, и бормочет:

— А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал ее в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней сосны, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте; сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

— Пресвятая богородица, ясный свет земной,— вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу — точно хозяйка и родная всему вокруг,— она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От нее — точно тепло течет по лесу, и когда мох, примятый ее ногой, расправляется и встает — мне особенно приятно это видеть.

Идешь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным,— пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до ее богородицы и сказать ей всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием,— уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький,— Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослепленный думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал ее.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

— Слава те господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубахой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку,— до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

— Пойдем в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили всё лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

— Дармоеды! — скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память — более чуткой, вместилище впечатлений — глубже.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашел за деревья — нет ли еще гриба?

Вдруг слышу ее голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая поджарая собака.

— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка.— Иди с богом...

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и когда я свистнул — она дико бросилась в кусты.

— Видал?— улыбаясь, спросила бабушка.— А я вначале опозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала меня.

— А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла — я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму,— иногда в гнезде их было фунтов до десяти.

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

— Молодец,— хвалила она,— есть терпенье, будет и уменье!

Каждый раз, когда у нее скоплялось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостиной», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах.

— Хуже нищей ходишь, срамишь меня,— ворчал дед.

— Ничего, я тебе не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились всё более частыми.

— Я не более других грешен,— обиженно кричал дед,— а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

— Черти знают, кто чего стоит.

И говорила мне с глазу на глаз:

— Боится старик мой чёртушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле,— она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришел из города мокрый весь — была осень, и шли дожди — встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

— Ну, шалыган, завтра сбирайся на место!

— Куда еще? — сердито спросила бабушка.

— К сестре твоей Матрене, к сыну ее...

— Ох, отец, худо ты выдумал!

— Молчи, дура! Может, его чертежником сделают.

Бабушка молча опустила голову.

Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить.

— И меня скоро повезут туда,— сообщила она задумчиво.— Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая...

За лето она похудела, кожа лица ее стала голубоватой, а глаза выросли.

— Боишься? — спросил я.

— Боюсь,— сказала она, беззвучно заплакав.

Нечем было утешить ее — я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчанье, прижавшись друг ко другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой,— я бы возил ее в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

IV

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома,— по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние — через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать ее,— нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой темно-зеленой грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага — как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем,

в другой половине священник Доримедонт Покровский развел сад; в саду — беседка из тонких дранок, окрашенных зеленою краской. Если в эту беседку бросать камни — дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

— Андрей-папá, Андрей-папá.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать — сестра моей бабушки — очень сердита и криклива. Старший — женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у нее большие темные глаза.

В первые же дни она раза два сказала мне:

— Я подарила матери твоей шёлковую тальму, со стеклярусом...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей:

— Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

— Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне.

— Ей и всем надо говорить — вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

— Не беспокой ты меня пустяками!

— Как — пустяки? Если твоя родня...

— Чёрт ее возьми, родню! — закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг ко другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, его серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

— Довольно вам ругаться, звери-курицы! — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечесаные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар; суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

— А моя мамаша делает это не так.

— Не так, значит — хуже!

— Нет — лучше!

— Ну, и ступай к своей мамаше.

— Я здесь — хозяйка!

— А я кто?

Вмешивался хозяин:

— Довольно, звери-курицы! Что вы — с ума сошли?

В доме всё было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом веселых шуток и — часто — источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери

и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с «приданым», серебром и чайной посудой; ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табака и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька или хозяйка, они задевали углы стола.

— Да не шляйтесь вы тут! — кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

— Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

— А ты не тряси стол,— миролюбиво советовал хозяин.

— Я — беременная, тут — тесно...

— Ну, мы уйдем работать в зало.

Но хозяйка кричала, негодуя:

— Господи, кто же в зале работает?

Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрены Ивановны, она кричит:

— Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!..

Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит:

— Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:

— Уйду! Умру!

— Не мешайте мне работать, чёрт вас возьми! — орет хозяин, бледный с натуги.— Сумасшедший дом,— ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

— Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз — хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу — никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому — руки у него длиннее. После этой истории — ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы
Я в мо-ре ур-ронил...

Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье
Земное погубил.

Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

— Вы с ума сошли? Ребенок спит...

Или:

— Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всенощной ударят...

— Ну, так мы — церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут еще...— и она красноречиво показала рукою на маленькую дверь.

— Надо будет переменить квартиру, а то — чёрт знает что! — говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви — там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы — стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам — мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Мое ближайшее начальство — сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубахе, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

— Господи! — со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью.— Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо,— дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Ее вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок всё время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, ворчит:

— А, чтоб те рóзорвало!

С размаха бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

— А сноху — накажи, господи, меня ради; зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему,— на нее открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатях; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

— Мамаша, опять вы орете спозаранку! Это просто беда!

— Ну, ну, спи себе,— виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: — И чтоб пострелило их в кости, и ни дна бы им ни покрышки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

— Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси,— лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать всё быстро, только бы не слышать шипучего шёпота старухи, но угодить ей — невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

— Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

— А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! — и торжествующе кричали: — Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно,— мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

— Усердный.

— Чистоплотен.

— Только дерзок очень.

— Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полуумными, не любил, не слушал и раз-

говаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому всё чаще говорила:

— Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шёлковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

— Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

— Батюшки, да он поджечь может! — испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему — поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

— Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

— Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине,— другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слез; жена, топая ногою, кричала исступленно:

— Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

— Бог тебя прости, Василий, только — помяни мое слово — испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе,— хозяин строго сказал:

— Видишь, чёртушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к деду, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

— Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивленно:

— Однако ты ерш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал — меня прогонят, но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

— Кончишь чистить ножи — нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

— Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль — это будут горизонтальные, потом поперек — это вертикальные. Валяй!

Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил — хорошо! Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно — на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед домом — кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил всё это наискось полосками и отнес работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

— Это что же такое?

— Дождик идет,— объяснил я.— При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам — кривой всегда. Птицы — вот это всё птицы — спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это — люди бегут домой, вот — барыня упала, а это разносчик с лимонами...

— Покорно благодарю,— сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: — Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

— Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

— Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне еще бумаги.

— Валяй еще раз! Будешь чертить это, пока не добьешься толку...

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

— Зачем же ты опять напачкал? — сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей скучно очень, но он стал ругаться:

— К чёрту всё это! Если хочешь учиться — учись! А это — озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

— Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро...

И задал мне урок:

— Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду — делай сам!

Я пошел в кухню и задумался — с чего начать?

Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства.

Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила:

— Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала:

— На, черти́! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь — прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскакивали друг на друга,

плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

— Ты покуда брось всё это, не учись — сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его — такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее:

— Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

— Когда будет — скажу, торчи, знай, за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

— Как у тебя парадная лестница выметена? В углах — сорье, пыль! Иди, мети...

Я шел, смотрел — пыли не было.

— Ты спорить против меня? — кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон,— она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на всё. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

— Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое! Спит,— спи, робенок, одень твою душеньку веселый сон, приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим — не родясь издохнуть, а дружкам — жить им до ста лет, а девицы бы за тобой — стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла — такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шёпот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

— Подите вы к чёрту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

— Ну, спи... спи, грубиян...

Но бывало и так: ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова:

— Та-ак? Это ты мать к чёрту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы — было жутко слышать их.

Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.

— Что вы?

— Молчи,— шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте.— Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянныя смерти..

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня — большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампады пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках — черные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стеклах.

— Помилуй мя, боже, помилуй мя,— просит она шёпотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

— Кто меня любит, господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка,— вот бы грызла она его! Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

— Ты думаешь — легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила — для чего? Вот — живу кухаркой у них, сладко это мне? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь — хорошо это? Ну?

— Нехорошо,— искренно говорил я.

— Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

— Бывала я с нею в бане, видела ее. На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

— Баба — сила, она самого бога обманула, вот как! — жужжала она, пристукивая ладонью по столу.— Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева — бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырех жили офицеры, в пятой — полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дра-

кой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе неустанно кипело то, что называется развратом, распутством,— звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

— Довольно, мамаша...

— Господи, уж и слова мне нельзя сказать! — жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял ее:

— Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

— Напрасно вы, мамаша, берете деньги, не жалко мне их, а — напрасно!

— Я ведь для нищих, я— на свечи, в церковь...

— Ну, какие там нищие? Испортите вы Виктора вконец.

— Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от нее.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

— Не могла больше-то, гвозди-козыри!

— А ты жри скорее, чтобы не увидали...

— Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладий,— Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же,

как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щель, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

— Мамаша — кругом направо! — где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

— Алешка, отвечай: почему пишется — синенький, а говорится — финики? Почему говорят — колокола, а не — около кола? Почему — к дереву, а не — где плáчу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое — не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

— Разве можно так говорить?

Они ругались:

— Какой учитель, скажите! Вот — нарвать уши...

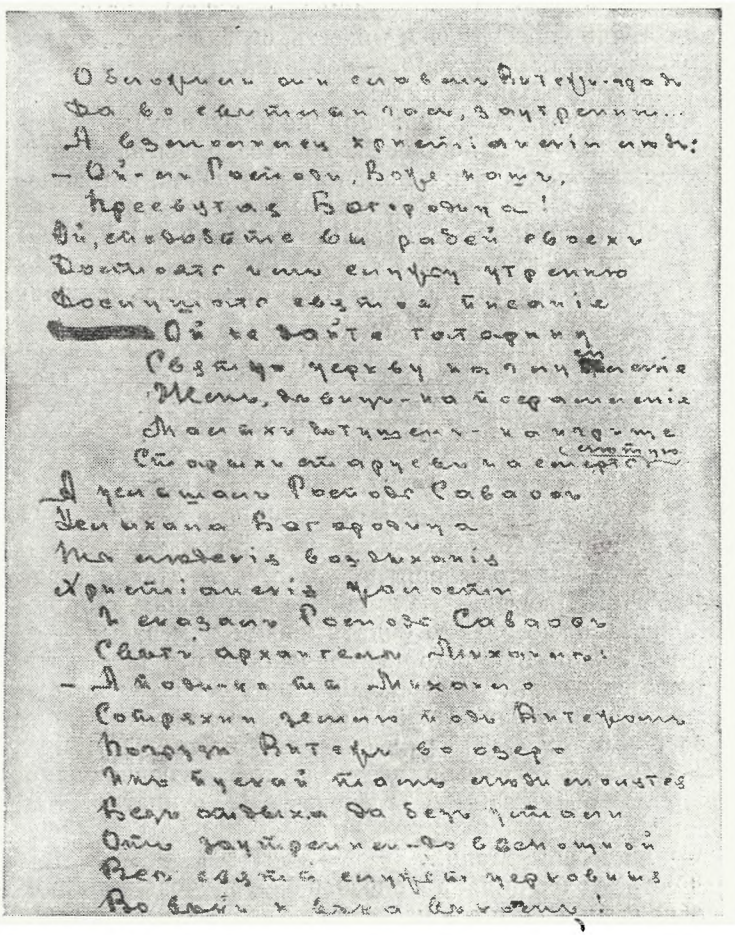
Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

— А все-таки уши-то не оторваны!

Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства — неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости моя бабушка. Она являлась



«В ЛЮДЯХ».
Стихи о граде Китеже. Автограф.

с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

— А, это ты, Акулина,— небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив всё лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

— Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

— А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

— Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай,— начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

— Что, Акулина, нищенкой живешь?

— Эка беда...

— И всё — не беда, коли нет стыда.

— Говорят, Христос тоже милостиной жил...

— Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос — не нищий, а сын божий, он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых — и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых...

— Я ведь посильно помогала тебе,— равнодушно говорила бабушка.— А господь нам отплатил, ты знаешь...

— Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил ее в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

— Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вослед бабушке:

— Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

— А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

— Всё гнешься, работаешь?

— Всё работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но — как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

— Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была — богатырь, а?

Жена его, обращаясь к бабушке, вставляла свое слово:

— Помните, я ей тальму подарила, черную, шёлковую, со стеклярусом?

— Как же...

— Совсем еще хорошая тальма была...

— Да-да,— бормотал хозяин,— тальма, пальма, а жизнь — шельма!

— Что это ты говоришь? — подозрительно спрашивала его жена.

— Я? Так себе... Дни веселые проходят, люди хорошие проходят...

— Не понимаю я, к чему это у тебя? — беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

— Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

— Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

— Эх, Олеша, я всё вижу,— отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она всё видит, всё знает, знает и то, что живет в моей душе этой минутою.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

— Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь,— зачем мне они? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михайла, Сашу

прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю — не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж...

И шепчет на ухо мне:

— Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голубá душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом,— куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но — я обязан был ходить в церковь, по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас — он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Всё вокруг гармонично слито с пением хора, всё живет странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька,— качается в густой, как смола, темной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожей жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...
А взмолился христианский люд:
— Ой ли, господи, боже наш,
Пресвятая богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утреннюю,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церкву на глумление,
Жен, девиц — на посрамление,
Малых детушек — на игрище,
Старых старцев на смерть лютую!
А услышал господь Саваоф,
Услыхала богородица
Те людские воздыхания,
Христианские жалости.
И сказал господь Саваоф
Свет архангеле Михаиле:
— А поди-ко ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веком!

В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется, я даже и думал в формах ее стихов.

В церкви я не молился,— было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах,— значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался

сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невеселой доле моей — сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи — скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то — жить терпенья нет,
Хоть удавись,— господи прости!

Из ученья — не выходит толку.
Чёртова кукла, бабушка Матрена,
Рычит на меня волком,
И жить мне — очень солоно!

Много «молитв» моих я и до сего дня помню,— работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами — часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь —точно на крыльях несешься, один, как луна в небе; перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним трясется собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру,— она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорченная собака — за нею.

Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры — я думаю, что и они тоже сбежали от всенощной.

Порою, сквозь форточки освещенных окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи — тон-

кие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь — догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всенощная, а они — весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц — Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него тихой лунною ночью, в ростепель, перед масленицей; из квадратной форточки окна, вместе с теплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то невыносимой скрипке, чудесной мощности,— невыносимой потому, что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что — казалось — весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы.

Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

— Ты чего тут торчишь?

— Музыка,— объяснил я.

— Мало ли что! Пошел...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весною, снова услышал там виолончель — она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звездами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всенощные. Мешали пьяные, городовые и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна

нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют,— предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин — молодую и постарше; против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула; а постарше — тоненькая и пышноволосая — вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала — он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки ее.

В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь.

Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто, увлеченный ими, я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня:

— В какой церкви был? Какой поп служил?

Они знали всех попов города, знали, когда какое Евангелие читают, знали всё — им было легко поймать меня во лжи.

Обе женщины поклонялись сердитому богу моего деда,— богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом; имя его постоянно было на устах женщин, — даже ругаясь, они грозили друг другу:

— Погоди! Господь тебя накажет, он те скрючит, подлую!..

В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, а они всё подгорали у нее; красная от огня, она гневно кричала:

— А, черти бы вас взяли...

И вдруг, понюхав сковороду, потемнела, швырнула сковородник на пол и завыла:

— Ба-атюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, го-осподи!

Встала на колени и просила со слезами:

— Господи-батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, господи, дуру старую...

Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь:

— Вы даже в посте на скоромных сковородах печете.

Они вовлекали бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни,— от этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я всё оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх,— он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада.

Рядом с полкой — большое окно, две рамы, разъединенные стойкой; бездонная синяя пустота смотрит в окно, кажется, что дом, кухня, я — всё висит на самом краю этой пустоты и, если сделать резкое движение, всё сорвется в синюю, холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться с боку на бок, ожидая страшного конца жизни.

Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро; разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки, и я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину: мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня — не закон, а за чужие грехи я не ответчик.

Прогуливал я и обедни, особенно весною,— непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку — это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание

и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил в ближних улицах славу доброго игрока в бабки, в шар и в городки.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним: разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

— А, сосед... Ну, вставай на колени! В чем грешен?

Он накрыл голову мою тяжелым бархатом, я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

— Старших слушаешься?

— Нет.

— Говори — грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

— Просвиры воровал.

— Это — как же? Где? — спросил священник, подумав и не спеша.

— У Трех Святителей, у Покрова, у Николы...

— Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех,— понимаешь?

— Понимаю.

— Говори — грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

— Когда — ел, а то — проиграю деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил:

— Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

— Чего?

— Запрещенных книжек не читал ли?

— Нет, никаких...

— Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивленно взглянул в лицо ему,— оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

— Я в вашу беседку камнями кидал,— заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

— И это нехорошо! Ступай...

— И в собаку кидал...

— Следующий! — позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело,— у него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

— Примите меня!

— Копейку за вход в игру,— гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

— Три под вторую пару слева!

— Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьет эту пару — получает деньги, промахнется — я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали,— я выиграл шесть копеек

со взрослых, с мужиков! Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

— Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

— Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

— Глядите,— он счастливый, это чертежник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

— Чертенок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

— Ревешь?

Я ответил:

— Под крайней правой — три!

— И сотру,— похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трех раз кряду нельзя ставить деньги на кон,— я стал бить чужие ставки и выиграл еще копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя: обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

— Женат? — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я увернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился:

— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

— Прогулял причастие, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу — пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

— Дьячку за теплоту много ли дал?

— Пятачок,— наобум сказал я.

— И три копейки — за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

...Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я — чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундуки, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице — пусто, дальше — не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, грубые, пьяные солдаты, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер — собачьи свадьбы,— это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила — все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше едят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами и просьбами, не так часто обижают людей сердитым судом.

...В субботу на Пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

— Отпирай парадную, Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь, — молодой монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:

— Дрыхнете? Помогай...

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

— Пресвятая богородице, моли бога о на-ас...

Я подумал с печальной уверенностью:

«Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простыней, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам — ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

Служили молебен.

— О, всепетая мати,— высоким голосом выводил большой поп и всё щупал багровым пальцем припухшую мочку уха, спрятанного в рыжих волосах.

— Пресвятая богородице, помилуй на-ас,— устало пели монахи.

Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — всё благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботою рассуждали — что же теперь будет со мной?

— Надо поговорить со священником, который поученее,— говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

— Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А еще... в школе учился...

Несколько дней я обреченно ждал — что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно,— уж не пройдет мне даром это, не пройдет!

Но, видимо, богородица простила невольный грех мой, вызванный искреннею любовью. Или же наказа-

ние ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей:

— А богородица-то, видно, забыла наказать меня...

— А ты погоди,— ехидно обещала старуха.— Еще поглядим...

...Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы всё, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу...
Скушно мне, невеже!
Был бы я собакой —
Бегал бы где хотел,
А теперь орет на меня всякой:
Сиди да молча, пострел,
Молчи, пока цел!

Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

— Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел сам хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

— Забавен ты, Пешков, чёрт тебя возьми... Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я закрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее, как медаль, на самом видном месте среди моих пестрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками,— я уверен, что это старуха стащила ее!

V

Весною я все-таки убежал: пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей; она выбежала на улицу

и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли в больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно, просторно,— а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино,— я не сдержал слова, было стыдно видеть ее, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

— Ты, мальчишко, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ко на «Добрый», там посудника надо...

Я пошел; высокий, бородатый буфетчик, в черной шёлковой шапочке без козырька, посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

— Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

— Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.

— Хорошо,— сказал буфетчик, взглянув на нас.— Идем.

Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

— Посудник.

И тотчас пошел прочь, а повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему:

— Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остриженных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

— Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек,— весь в

белом, он все-таки казался чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

— Я хочу есть,— сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые, каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились,— он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.

— Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь — все воры, научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он, видимо, только что пришел из бани — от него пахло березовым веником и перцовкой, на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку.

— Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой,— я сам куплю!

Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

...Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно шлепает плицами по серебряной воде, встречу ему тихонько плывут темные берега, положив на воду тени, над ними красно́ светятся окна изб, в селе поют девки — водят хоровод — и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осужденные на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звезды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круг-

лые серые пятна,— это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеется робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку — человека, который ввел меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь — в люди. А когда я вспоминаю бабушку, всё дурное, обидное уходит от меня, изменяется, всё становится интереснее, приятнее, люди — лучше и милей...

Меня почти до слез волнует красота ночи, волнует эта баржа,— она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине теплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце,— мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем — особенные, все они — старые и молодые, мужчины и женщины — кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем, между двумя и шестью часами, и вечером, от десяти до полуночи, работы у меня меньше,— пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга — мое начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун, со скуластым лицом, изрытым оспой, с маслеными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зеленые, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неуловимого цвета.

— Аз-зияты! Мор-рдва! — изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстенький, лысый Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда — грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около нее как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает ее быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

— Бабу надо уметь накалить,— учит он Сергея и Максима; они слушают его внимательно и надуваются, краснеют.

— Азияты,— брезгливо бухает Смурый, тяжело встает и командует мне: — Пешкóв — марш!

В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.

— Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

— «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков»...

Смурый, закурив папироску, фыркает дымом и ворчит:

— Верблюды! Написали...

— «Оголение левой груди означает невинность сердца»...

— У кого — оголение?

— Не сказано.

— То значит — у баб... Э, распутники.

Он закрывает глаза и лежит закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу — надоела она мне до тошноты!

Но он хрипит:

— Читай!

— «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян»...

— Северьян...

— Напечатано — Сюверьян...

— Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катай оттуда...

Я катаю:

Профаны, любопытствующие знать наши дела,
Никогда слабые ваши очи не узрят оных!
Вы и того не узнаете, как поют фреры!

— Стой,— говорит Смурый,— да это ж не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу под тюфяк.

— Возьми другую...

На мое горе у него в черном сундуке, окованном железом, много книг,— тут «Омировы наставления», «Мемории артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оного, с приложением советов против сопутствующих ему»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их,— я читал, а он сердито ворчал:

— Сочиняют, ракалии... Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервасий! А на чёрта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул...

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их — может быть, в звуках откроется смысл? А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму,— там, среди ящиков товара, собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединен от земли, убегает прочь от нее, а с берега, в тишине уставшего дня, доносится звон невидимой колокольни, напоми-

ная о селах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек полощется в реке, по желтой ленте песка идет мужик в красной рубахе. Издали, с реки, всё кажется приятным, всё — точно игрушечное, забавно мелко и пестро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые, добрые слова,— на берег и на баржу.

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил ее, точно свинью; ослабевая, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дергал баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверями сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи; мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топая ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок; шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только иначе одетые и обезображенные бритьем. Конечно, это — разбойники, но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках.

Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал:

— Избави боже такой судьбины!

Как-то раз я спросил его:

— Почему это — вы стряпаете, а другие убивают, грабят?

— Я не стряпаю, а готовлю, стряпают — бабы,— сказал он, усмехаясь; подумав, прибавил: — Разница меж людями — в глупости. Один — умнее, другой — меньше, третий — совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, черную магию и — что там еще? Все книги надо читать, тогда найдешь правильные...

Он постоянно внушал мне:

— Ты — читай! Не поймешь книгу — семь раз прочитай, семь не поймешь — прочитай двенадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо рас-

пуская нижнюю губу, ощетинив усы,— точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то немножко пугавшее меня; иногда повар казался мне полуумным, как сестра бабушки.

Иногда он говорил мне:

— Подожди читать...

И долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом; колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожженные волосатые пальцы рук,— вяжут невидимыми спицами невидимый чулок.

И вдруг начнет ворчать:

— Да. Вот тебе — разум, иди и живи! А разума скупо дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то — нет... Один — понимает, другой — не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять, на!

Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории из своей солдатской жизни,— смысла этих историй я не мог уловить, они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не с начала, а что на память приходило.

— Призывает того солдата полковой командир, спрашивает: «Что тебе говорил поручик?» Так он отвечает всё, как было,— солдат обязан отвечать правду. А поручик посмотрел на него, как на стену, и отвернулся, опустил голову. Да...

Повар сердится, дышит дымом и ворчит:

— Разве же я знаю, что можно говорить, чего нельзя? Тогда поручика засудили в крепость, а матушка его говорит... а, боже мой! Я же не ученый пичему...

Жарко. Всё вокруг тихонько трясется, гудит, за железной стенкой каюты плещет водой и бухает колесо парохода, мимо иллюминатора широкой полосой течет река, вдали видна полоска лугового берега, маячат деревья. Слух привык ко всем звукам,— кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет:

— Се-емь, се-емь...

Не хочется принимать участие ни в чем, не хочется слушать, работать, только бы сидеть где-либо в тени,

где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть и смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая, устоявшаяся жизнь.

— Читай! — сердито приказывает повар.

Его боятся даже классные официанты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

— Эй, ты, свинья! — кричит он на буфетную прислугу.— Поди сюда, вор! Азияты... Умбракул...

Матросы и кочегары относятся к нему почтительно, заискивающе,— он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масленые и копченые кочегары-белорусы считались на пароходе низшими людьми, их звали одним именем — ягуты, и дразнили:

— Ягу, бягу, на берягу...

Когда Смурый слышал это, он, ощетинясь, налившись кровью, орал кочегару:

— Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!

Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему:

— Ягут да хохол — одна вера!

Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

— Хошь — расшибу?

Ссорились часто, иногда до драки, но Смурого не били,— он обладал нечеловечьей силищей, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая, дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, остриженными волосами.

Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начинал пить с утра, выпивая бутылку в четыре приема, и вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, темные глаза изумленно расширялись.

Бывало, вечером, сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я — жалел.

Выходил из кухни Яков Иваныч, потный, раскаленный, стоял, почесывая голый череп, и, махнув рукою, скрывался или говорил издали:

— Стерлядь уснула...
— Ну, в солянку...
— А если уху закажут или паровую?
— Готовь. Сожрут.

Иногда я решался подойти к нему, он тяжело передвигал глаза на меня.

— Что?
— Ничего.
— Добре...

Я все-таки спросил его в один из таких часов:

— Зачем вы пугаете всех, ведь вы — добрый?

Против ожидания, он не рассердился:

— Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

— А пожалуй, верно, я ко всем добрый! Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди, принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

— Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть всё, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

— Я не люблю.

— Добре. И не пей. Пьянство — это горе. Водка — чёртово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неученый человек — бык, его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотае...

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

— Ерунда, сказка! Я знаю — есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принес от капитанши другую и угрюмо приказал:

— Читай Тараса... как его? Найди. Она говорит — хорошо... Кому — хорошо? Ей хорошо, а мне, може, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся:

— Это — так! А что ж? Ты — учен, а я — силен! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

— А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять — переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

— Подлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал,— медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

— А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

— Да читай же, чёртова кость!

Он снова заплакал и — еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько! Слышишь ли ты?»

— Всё погибло,— всхлипывал Смурый,— всё, а! Уже — конец? Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот — а? Да-а, это — люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами.

— Хорошая книга! Просто — праздник!

Потом мы читали «Ивангоэ»,— Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.

— Это настоящий король! — внушительно говорил он; мне книга показалась скучной.

Вообще мы не сходились во вкусах,— меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» — старинный перевод «Истории Тома Джонса, найденыша», а Смурый ворчал:

—Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно — есть другие книги, подпольные, запрещенные; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ощетинился.

— Ш-шо такое? Шо ты врешь?

— Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

— Кто плачет?

— Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

— Проснись, бредишь,— сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

— Конечно,— где-нибудь есть... что-нибудь скрытое. Не быть его — не может... Не таковы мои годы, да и характер мой тож... Ну, а однако ж...

Он мог говорить столь красноречиво целый час...

Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни,— она становилась всё тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением всё больше, часто отрывал меня от работы.

— Пешко́в, иди читать.

— У меня немытой посуды много.

— Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

— Ссажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

— Это моя вина! — сказал Смурый буфетчику.— Запиши мне.

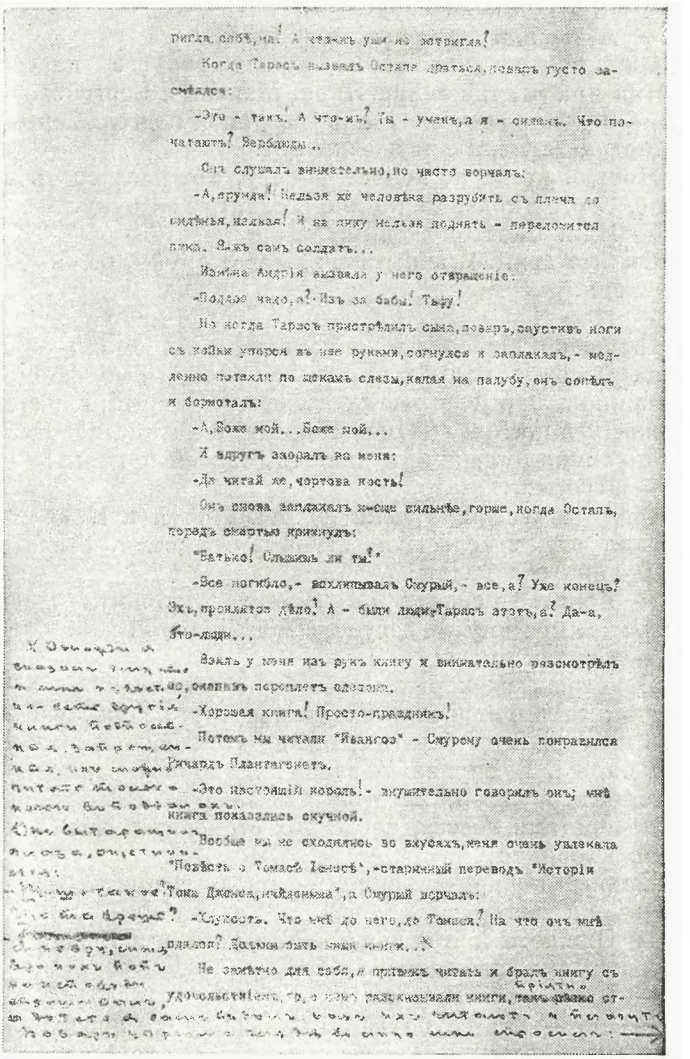
Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:

— Эй, ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что всё это плохо кончится для меня, и не ошибся.

Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в желтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши,— баба улыбалась, кланялась всем и говорила на о́, точно дьякон:

— Простите, ро́дные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила...



ригда, слабъ, ма! А чтожъ ушибло мятежа!

Когда Тарасъ вызвалъ Остапа драться, онъ густо засмѣялся:

-Это - такъ! А что-жъ, ты - умникъ, а я - силенъ. Что почитаешь? Верблюдъ...

Онъ слушалъ внимательно, но часто зѣвалъ:

-А, скучно! Нельзя же человѣка разрубить съ плеча до сидѣнья, нельзя! И на пику нельзя поднять - переломится пика. Я-съ самъ солдатъ...

Имѣна Андрія вызвали у него отвращеніе:

-Подлое чадо, а? Изъ за бабы! Тьфу!

Но когда Тарасъ пристѣлилъ сына, повернулъ, опустивъ ноги съ койки, упирся въ нее руками, согнулся и заплакалъ, - медленно потекли по щекамъ слезы, капая на палубу, онъ сопѣлъ и бормоталъ:

-А, Боже мой... Боже мой...

И вдругъ закричалъ на меня:

-Да читай же, чортова кость!

Онъ снова завалился на койку пузомъ, горбомъ, когда Остапъ, передъ смертью примирилъ:

"Батько! Слышишь ли ты?"

-Все погибло, - вздохнулъ Скуратъ, - все, а? Уже конецъ? Эхъ, проклятое дѣло! А - были люди Тарасъ этотъ, а? Да-а, это-люди...

Взялъ у меня изъ рукъ книгу и внимательно разсмотрѣлъ ее, очевидно пробуя ее на зубъ.

-Хорошая книга! Просто-праздникъ!

Потомъ мы читали "Евангеліе" - Скурому очень понравился Ричардъ Плантагенетъ.

-Это настоящій король! - внушительно говорилъ онъ; мнѣ книга показалась скучной.

Вообще мы не сходились во вкусахъ, меня очень увлекала "Повѣсть о Томасѣ Ленскѣ", - старинный переводъ "Исторіи Тома Джонса, найденыша", а Скуратъ зѣвалъ:

-Скучно. Что мнѣ до него, до Томаса? На что онъ мнѣ сдался? Дольше пяти книгъ...

Не замѣтно для себя, я привыкъ читать и бралъ книгу съ удовольствіемъ, какъ всякій, кто много читалъ книги, такъ какъ от-

«В ЛЮДЯХ».

Машинописная страница с правкой М. Горького.

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:

— А ты иди, чумовая, иди знай...

Они поместились около рубки второго класса, против каюты, где спали Яков, Максим и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушечий рот.

Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей подошел ко мне и схватил за руку.

— Иди, мы тебя женим...

Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.

— Иди-и!

Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоем они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки,— Яков Иваныч, а девица колотила его по спине кулаками и пьяным голосом кричала:

— Пустите...

Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул,— они оба упали.

— Азият! — сказал он Якову, захлопнув дверь каюты на нос ему, и загудел, толкая меня:

— Ступай прочь!

Я убежал на корму. Ночь была облачная, река — черная; за кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не осветив, исчезают за неожиданными поворотами берега; после них становится еще более темно и обидно.

Пришел повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжко и закурил папиросу.

— Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали...

— Вы отняли ее у них?

— Ее? — Он грубо обругал девицу и продолжал тяжелым голосом: — Тут все гады. Пароходишко этот — хуже деревни. В деревне жил?

— Нет.

— Деревня — насквозь беда! Особо — зимою...

Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова:

— Пропадешь ты в свином стаде, жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на колени бы встал и спросил: «Что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые?» Верблюды...

Пароход протяжно загудел, буксир шлепнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались еще огни.

— Пьяный Бор,— ворчал повар.— И река есть — Пьяная. Был каптенармус — Пьянков... И писарь — Запивохин... Пойду на берег...

Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под лямками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в черную яму, звонко выкрикивая:

— Трушпа!

Когда они шли с дровами, матросы хватали их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз — каждый рейс: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.

Мне казалось, что я — старый, живу на этом пароходе много лет и знаю всё, что может случиться на нем завтра, через неделю, осенью, в будущем году.

Уже светало. На песчаном обрыве, выше пристани, обозначился мощный сосновый лес. В гору, к лесу, шли бабы, смеялись и пели, подвывая; вооруженные длинными носилками, они были похожи на солдат.

Хотелось плакать, слезы кипели в груди, сердце точно варилось в них; это было больно.

Но плакать — стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу.

Это был незаметный человечек, Бляхин. Весь какой-то линючий, блеклый, он всё прятался по углам, поблескивая оттуда маленькими глазками.

— По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... Потому, видишь ты,— мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам — якорь. Ты бы пошел, ан — погоди...

И теперь, шаркая шваброй по палубе, он говорил мне тихонько:

— Видал, как бабов забижают? То-то вот! И сырое полено долго поджигать — загорится. Не люблю я этого, братаня, не уважаю. И родись я бабой — утопился бы в черном омуте, вот тебе Христос святой порукой!.. И так воли нет никому,— а тут еще — зажигают! Скопцы-то, я те скажу, не дурак народ. Про скопцов — слыхал? Умный народ, очень правильно догадался: напрочь все мелкие вещии, да и служи богу, чисто...

Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое, ясное лицо у нее... Захотелось побежать за нею и просить всей душой:

— Скажите мне что-нибудь, скажите!..

Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь:

— Поехали...

VI

В Сарапуле Максим ушел с парохода,— ушел молча, ни с кем не простясь, серьезный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла веселая баба, а за нею — девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филенку двери, стукался в нее лбом и взывал:

— Простите меня, я не виноват! Это — Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врет, но поощрительно советовали:

— Валяй, валяй — простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но все-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдатика, костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их,— три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

— Ты что, дурак? — изумленно спросил его Смурый.— Разве солдаты плачут?

— Я — нестроевой роты,— тихонько сказал солдат.

Это погубило его,— через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

— Этот?

И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха.

Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слезы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

— Што вылупили шары-те на меня? Ой, да чтоб вас рóзорвало на кусочки...

Это еще более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дергать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал ложку за спиной солдата к тесемкам его фартука; солдат идет, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он — суетится, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьезно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

— Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал ее, бросил на пол, раздавил ногой и — вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидала, как этот маленький человек трясет головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

— Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошел на публику кабаном, ощетинившись, страшно оскалив зубы.

— По местам — марш! Аз-зияты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снес на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повертывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода,— это снова рассмешило публику.

— Всё едино,— сказал солдат тонко и высоко,— убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, повар спросил солдата:

— Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь.

— Смир-рно, кликуша! — сказал Смурый.

Солдат ответил:

— Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щеки дрябло опустились, он плюнул и пошел прочь, уводя меня с собою; ошалевший, я шагал за ним и всё оглядывался на солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

— Эт, цаца какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шёпотом сказал:

— Он зарезаться хочет!

— Где? — рявкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках,— этим ножом отрубали головы курам, кололи поленья на растопку, он был тупой и выщерблен, как пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с мокрой головою; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся, губы прыгали. Он мычал:

— Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица,— люди улыбались, хихикали, говорили друг другу:

— Гляди, гляди...

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху, благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

— Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика засмеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться,— не верил и я, а Смурый мельком взглянул на него и стал толкать людей своим животом, приговаривая:

— Пошел прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу,— подойдет к целой кучке людей и кричит на них:

— По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди — один большой дурак.

Разогнав публику, он подошел к солдату, протянул руку.

— Дай сюда нож...

— Всё едино,— сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и толкнул солдата в каюту.

— Ляг и спи! Ты чтó такое, а?

Солдат молча сел на койку.

— Он тебе есть принесет и водки,— пьешь водку?

— Немножко пью...

— Ты, смотри, не трогай его — это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю — не он...

— А зачем меня мучили? — тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

— Ну, а я — знаю?

Идя со мной в кухню, он бормотал:

— Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь — как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и — шабаш! Даже — куда там клопы? Злее клопов...

Когда я принес солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько, всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

— Ешь...

— Затвори дверь.

— Темно будет.

— Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушел. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко,— бабушка многократно поучала меня:

— Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...

— Отнес? — спросил меня повар.— Ну, что он там?

— Плачет.

— Эт... мешок! Какой он солдат?

— Мне его не жалко.

— Ну? Что такое?

— Людей надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

— Насильно не пожалеешь, а врать не годится,— понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

— Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им всё это противное, жалкое, что́ тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом,— пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкутся на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут еще такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода,— новые пассажиры будут говорить о том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

— Положено господом богом терпеть, и — терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне, я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть — он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима,— это был серьезный, добрый парень, а Сергея, человека подлого, оставили. Всё это — не так. А почему эти люди, способные затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?

— Чего навалились на борт? — кричит боцман, прищурив красивые, но злые глаза.— Пароход накренили, разойдись, черти драповые...

Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как баранов.

— А, окаянные...

Жаркими ночами, под раскаленным за день железным тентом,— душно; пассажиры тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью матросы будят их пинками.

— Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места...

Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.

Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как полицейские.

Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно, страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвется жестокое, бессмысленное и почти всегда невеселое озорство. Мне кажется, что люди не знают, куда их везут, им всё равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на берег, посидев на нем недолго, они снова придут на этот или другой пароход, снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая для них. И все они до безумия трусливы.

Однажды заполночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба сразу заволоклась белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма, курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:

— Гаврило, сурик, войлок...

Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разноголосно завыли, заорали, и сразу стало жутко.

В белом тумане — он быстро редел — метались, сшибая друг друга с ног, простоволосые бабы, встрепанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я бегал за людями и всё смотрел — что они делают?

Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали ее по ошибке,— пароход шел, не замедляя движения, за правым бортом, очень близко, горели костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.

А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то прыгнул за борт, за ним — другой, и еще; двое мужиков и монах отбивали поленьями скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами; среди палубы, около

лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и кланяясь бежавшим мимо него, выл волком:

— Православные, грешен...

— Лодку, дьяволы! — кричал толстый барин, в одних брюках, без рубашки, и бил себя в грудь кулаком.

Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на палубу. Тяжело ходил Смурый, в пальто, надетом на ночное белье, и гулким голосом уговаривал всех:

— Да постыдитесь! Чего вы, рехнулись? Пароход же стоит, встал, ну! Вот — берег! Дураков, что попрыгали в воду, косари переловили, повытаскали, вон они,— видите, две лодки?

А людей третьего класса он бил кулаками по головам, сверху вниз, и они молча, мешками, валились на палубу.

Еще суматоха не утихла, как на Смурого налетела дама в тальме, со столовой ложкой в руке, и, размахивая ложкой под носом у него, закричала:

— Как ты смеешь!?

Мокрый господин, удерживая ее, обсасывал усы и с досадой говорил:

— Оставь его, болвана...

Смурый, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня:

— Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же ее в первый раз вижу!..

А какой-то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал:

— Ну, люди! Ну, разбойники!..

За лето я дважды видел панику на пароходе, и оба раза она была вызвана не прямой опасностью, а страхом перед возможностью ее. Третий раз пассажиры поймали двух воров,— один из них был одет странником,— били их почти целый час потихоньку от матросов, а когда матросы отняли воров, публика стала ругать их:

— Вор вора кроет, известно!

— Сами вы жулье, вот и мирволите жуликам...

Жулики были забиты до бесчувствия, они не могли стоять на ногах, когда их сдавали полиции на какой-то пристани...

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей — злые они или добрые? смирные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так постыдно смирны?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо свое дымом папиросы, говорил нередко с досадой:

— Эт, что тебя щекотит! Люди, ну и люди... Один — умный, другой — дурак. Ты читай книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть всё сказано...

Церковных книг и житий он не любил.

— Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное — подарить книгу. В Казани на пристани я купил за пяточок «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час повар был пьян, сердит, я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал «Предание». Оно мне очень понравилось,— всё так просто, понятно, интересно и кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но, когда я поднес ему книгу, он молча смял ее ладонями в круглый ком и швырнул за борт.

— Вот как твою книгу, дурень! — сказал он угрюмо.— Я ж тебя учу, как собаку, а ты всё хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

— Это — какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано — правда? Ну, говори!

— Не знаю.

— Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадет с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал — солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и — шабаш! Понял?

— Понял.

— То-то ж! Я знаю про царя Петра — этого с ним не было! Пошел прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка все-таки нравилась мне; купив еще раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару еще более внимательно и доверчиво,

а он почему-то всё чаще, с большей досадой говорил:

— Эт, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал — не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и продает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством,— Смурый не однажды предупреждал меня:

— Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и еще много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне всё мягче,— и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я всё ждал — вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то — по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось — моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошел, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке:

— Вот.

Смурый грубо спросил меня:

— Ты даешь Сережке приборы?

— Он сам берет, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

— Не видит, а — знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

— Постойте, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он — на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высовывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой,— я видел его сквозь глазок

двери, похожий на червонного туза, но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

— Сережка давал тебе денег?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Он не соврет,— сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

— Всё равно. Пожалуйста.

— Идем! — крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в темя.— Дурак! И я — дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей — первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

— Н-ну, вот... Теперь гляди в оба — понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет.

— На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги — это самое лучшее!

Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришел к ним, настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело,— за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар, дед насмешливо, как всегда, спросил:

— Много ли золота накопил?

— Сколько есть — всё мое,— ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

— Та-ак,— сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия,— вот оно что. Чёртово зелье куришь? Не рано ли?

— Мне вот даже кисет подарили,— похвастал я.

— Кисет! — завизжал дедушка.— Ты что, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие крепкие руки, сверкая зелеными глазами; я вскочил, ткнул ему головой в живот,— старик сел на пол и несколько тяжелых секунд смотрел на меня, изумленно мигая, открыв темный рот, потом спросил спокойно:

— Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

— Довольно уж вы меня били,— пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и легкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил ее за окно и сказал испуганным голосом:

— Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать,— обратился он к бабушке,— ты гляди-ко, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ко его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая:

— А за это — вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда,— он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

— Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лег там в углу, подавленный, опустошенный, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

— Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя,— дедушка-то старик, ему надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем,— обижать

его не надо. Ты не маленькой, ты поймешь это... Надо понимать, Олеша! Он — тот же робенок, не боле того...

Слова ее омывали меня, точно горячей водою, от этого дружеского шёпота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял ее, мы поцеловались.

— Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нем сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха — он действительно был доволен, как ребенок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

— Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошел в дом — не перекрестился, сейчас — табак курить, ах ты, Бонапарт, цена-копейка!

Я молчал. Он истек словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня.

— Страх перед богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господа. Человек человеку — лютый враг.

Что люди — враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а всё остальное не трогало меня.

— Теперь опять иди к тетке Матрене, а весной — на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдешь...

— Ну, зачем же обманывать людей? — сказала бабушка, только что обманув деда притворной трепкой, данной мне.

— Без обмана не проживешь,— настаивал дед,— ну-ка скажи — кто живет без обмана?

Вечером, когда дед сел читать Псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

— Вот куда заехали! — посмеиваясь, говорила бабушка.— Не может старик места по душе себе найти, всё переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне — хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дерновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берез Казанского тракта. Из

оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом,—тоже как былинки,— маячили темные фигуры мещанских девиц и парней. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища, его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля темная группа деревьев, там — еврейское кладбище. Всё вокруг было бедно, всё безмолвно прижималось к израненной земле; маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идет стадо,— мычат коровы, из лагеря доносится военная музыка,— ревут и ухают медные трубы.

Идет пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

— Я дойду до тебя... обязательно...

— Дурачок,— щурясь на красное солнце, говорит бабушка,— куда тебе дойти? Упадешь скоро, уснешь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадет...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать ее, и, когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

— Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо — просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но, скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на нее никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

— Мал ты еще, не умеешь жить...

— Вот все говорят друг другу: не умеешь жить,— мужики, матросы, тетка Матрена сыну, а что надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

— Уж этого я не знаю.

— А тоже говоришь!

— Отчего не сказать? — спокойно молвила бабушка.— Ты не обижайся, ты еще маленькой, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон дедушка-то и умен и грамотен, а тоже ничего не сумел...

— Ты сама-то хорошо жила?..

— Я? Хорошо. И плохо жила — всяко...

Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась всё тяжелее, из окон изливался ворчливый голос деда:

— Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже́ гневом твоим накажеши мене...

Бабушка сказала, улыбаясь:

— Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чем? Ведь уж старенький, ничего не надо, а всё жалуется, всё топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам да и усмехнется: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдем-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка — продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага еще сумрачно, оттуда поднимается белесый туман; крутой глинистый бок оврага темен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в желтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щелкают любопытные синицы; смешно надувая белые щеки, они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят всё знать, всё потрогать и — попадают в западню одна за другою.

Жалко видеть, как они бьются, но — мое дело торговое, суровое — я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок,— во тьме они сидят смирно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и щебечут еще веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопут запоздал улететь в теплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу черными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица щур, предмет жадных мечтаний моих,— вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая черным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, ее основной тон — непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум,— я слышу в нем прощальную песнь лета, он нашептывает мне какие-то особенные слова, и они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстановляет картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

— Ты — где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нем хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всех этих благостынь стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый граненый графин, с хрустальной пробкой — головой Наполеона, в графине — шкалик водки, настоянной на зверобое.

— Хорошо-то как, господи! — благодарно говорит бабушка.

— А я песню сложил!

— Да ну?

Я говорю ей что-то, похожее на стихи:

Всё ближе зима, всё заметнее,
Прощай, мое солнышко летнее...

Но она, не дослушав меня, перебивает:

— Такая песня — есть, только она — лучше!

И нараспев говорит:

Ой, уходит солнце летнее
В темны ночи, за далекие леса!
Эх, осталася я, девушка,
Без весенней моей радости, одна!

Выйду ль утром за околицу,
Вспомню майские гулянки мои,—
Поле чистое нерадошно глядит,—
Эх, потеряла я в нем молодость свою.

Ой, подруженьки, любезные мои!
Уж как выпадет да первый легкий снег,—
Выньте сердце из белóй моей груди,
Схороните мое сердце во снегу!..

Мое авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

— Вот как горе поется! Это, видишь, девица сложила: погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил ее, может, к другой отошел, и восплакала она от сердечной обиды... Чего сам не испытаешь — про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило ее.

— Гляди-ко ты! Я думала — пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

— Дешево еще продала...

— Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и всё удивлялась: как много можно заработать пустяками!

— А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и — пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ко ты это, Олеша!

Но я очень увлекся птицеловством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавелся хорошими

снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня,— я один ходил ловить птиц почти за тридцать верст, в Кстовский лес, на берег Волги, где, в мачтовом сосняке, водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки — длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало, выйдешь с вечера и всю ночь шлепаешь по Казанскому тракту, иногда — под осенним дождем, по глубокой грязи. За спиною обшитый клеенкой мешок, в нем садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодновато и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом березы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над черной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колеса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьет в било и пугливо кричит:

— Кто идет? Кого черти носят — не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и всё ахал:

— Опять идешь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а!

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

— На-ко, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

— Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь,

посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни и начинается странное, трогающее душу движение: всё быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена; луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега,— кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя всё выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Всё плывет в даль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает князь Михаила Черниговского и болярина Феодора, «не поклонившихся солнцу»,— эти люди кажутся мне черными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у них всегда больные глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зеленых лап капли росы; в тени, под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склоненные к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч — заметен легкий трепет в травах, быть может, последнее усилие жизни.

Проснулись птицы; серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, напол-

нен хлопотами живых существ, чистейших на земле,— по образу их человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов, херувимов, серафимов и весь ангельский чин.

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири — глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клёст идет в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Он, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями,— если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть,— это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру, усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила дает мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьезно:

— Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! Избери-ка ты себе место и расти на нем свой разум. Человек не для пустяков живет, он — богово зерно, он должен дать колос зерен добрых! Человек — вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте — три целковых стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не

легко! Мир человеку — темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы — хитрость; кто мал да слаб, тот — ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что — один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай,— дома да города строят не языком, а рублем да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих всё богатство — вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в ее ловких пальцах, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

— Всё будет так, как матерь божия улыбнется.

— Чего это? — кричал дед.— Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, что — бог-то дураков на землю посеял, что ли?

...Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты; жизнь у них — простая, веселая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома, за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру: ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на́ поле, с криком «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, ощетинившись штыками, и казалось, что сейчас они сковырнут с земли, размечут наш дом, как стог сена.

Я тоже кричал «ура» и самозабвенно бежал с ними; злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек.

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжелые ружья, иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо:

— Коли таракана!

Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить,— это было немножко боязно, но больше приятно.

Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана; сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальцы.

— Стучи — рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему — левы — тиха, правы — шибка, трам-та-та-там! — грозно кричал он, расширяя птичьи глаза.

Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, всё такие новенькие, точно пятаки, только что отчеканенные.

Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единою силой, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в нее, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на всё смотрят смело, всё могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное — все они простые, добрые.

Но однажды, во время отдыха, молодой унтер дал мне толстую папиросу.

— Покури! Она у меня — эдакая, никому бы не дал, да уж больно ты парень хорош!

Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; серый соленый дым заставил чихать и кашлять; слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошел домой,— свист и смех катились за мной, что-то щелкало, точно кнут пастуха. Болели обожженные пальцы, саднило лицо, из глаз текли слезы, но меня угнетала не боль, а тяжелое, тупое удивление: зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней?

Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая всё необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моем. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула,— стоит предо мной и словно спрашивает, торжествуя:

— Что? Понял?

Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тяжелое и поразительное.

Я стал бегать в казармы казаков,— они стояли около Печерской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты,— они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоет, как медная труба; тихонько, напряженно вытягиваясь, заведет печальную песню про тихий Дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зорянка-птица, которая часто поет до того, что падает с ветки на землю мертвой, ворот рубахи казака расстегнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек — литой, медный. Качаясь на топких ногах, точно земля под ним волнуется, разводя руками, слепой и звонкий, он как бы переставал быть человеком, становился трубою горниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадет спиною на землю и умрет, как зорянка,— потому что истратил на песню всю свою душу, всю ее силу.

Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они — бородатые и безбородые — были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдаленные от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь ее, то забываешь — день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь всё! Замрут голоса певцов,— слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустранимо двигается с поля осенняя ночь; а сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.

Маленький медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным — сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним; когда он спрашивал меня о чем-нибудь, я счастливо

улыбался и молчал смущенно. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поет.

Однажды я видел, как он, стоя за углом конюшни, подняв к лицу руки, рассматривает надетое на пальце гладкое серебряное кольцо; его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное.

Но как-то раз, темным вечером, я пришел с клетками в трактир на Старой Сенной площади,— трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня.

Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной; с ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, ее круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно; он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины,— она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько:

— Не дурите...

Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко, он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы докрасна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери; она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущенно,— нечем было ответить на заслуженные упреки.

Вдруг он встал, словно уколотый, неверно — низко на лоб — надел фуражку, пришлепнул ее ладонью и, не застегиваясь, пошел к двери; женщина тоже поднялась, сказав трактирщику:

— Мы сейчас воротимся, Кузьмич...

Люди проводили их смехом, шутками, а кто-то сказал густо и сурово:

— Вернется лоцман,— он ей задаст!

Я ушел вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к Откосу, высокому берегу Волги. Мне было

видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

— Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошел за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели Откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

— Ой, да за что же это?

Я тоже испугался, подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатились вниз, по траве Откоса, черной кучей. Я обомлел, замер, слушая как там, внизу, трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

— Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз,— зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху,— я различаю женщину — она идет на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи; она плачет, стирает слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

— Господи — кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства,— мне вспоминаются слова бабушкиной сестры: «Баба — сила, Ева самого бога обманула...»

Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил веселым голосом:

— Дарья! Что? Казак всегда возьмет что надо... ты думала — пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья!

Он стоит твердо, голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова:

— Эй, возьми кофту... Дашк! Да не ломайся...

И казак громко произнес позорное женщине слово.

Я сижу на куче щебня, слушая этот голос, одинокий в ночной тишине и такой подавляюще властный.

Перед глазами пляшут огни фонарей на площади; справа, в черной куче деревьев, возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идет на площадь, помахивая белым тряпьем, и наконец исчезает, как дурной сон.

Внизу, под Откосом, на водокачке пыхтит пароотводная трубка, по съезду катится пролетка извозчика, вокруг — ни души. Отравленный, я иду вдоль Откоса, сжимая в руке холодный камень,— я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая, кто я, что несу за спиной в мешке.

Я подробно рассказал ему о казаке — он начал хохотать, покрикивая:

— Ловко-о! Казаки, брат, дотошный народ, они не нам чета! А бабенка-то сука...

Он подавился смехом, а я пошел дальше, не понимая — над чем же он смеется?

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?

VIII

Когда выпал снег, дед снова отвел меня к сестре бабушки.

— Это не худо для тебя, не худо,— говорил он мне.

Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Всё так же часто они хворают, расстраивая себе

желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьет детям белье, то тихонько поет всегда одну песню:

Спиря, Спиря, Спиридон,—
Спиря, братик мой родной;
Сама сяду в саночки,
Спирю — на запяточки...

Если войти в комнату, она тотчас перестает петь и сердито кричит:

— Чего тебе?

Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.

Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:

— Ну-ко, расскажи, как ты жил на пароходе!

Я сажусь на стул около двери уборной и говорю; мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но — ненадолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:

— А все-таки, поди-ка, боязно?

Я не понимаю — чего бояться?

— А вдруг он свернет на глубокое место да и потонет!

Хозяин хохочет, а я — хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах,— не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле.

— Коли он железный, как же он плывет? Небось, топор не плавает...

— А ковш ведь не тонет в воде?

— Сравнил! Ковш — маленький, пустой...

Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.

— А Псалтырь? А царь Давид?

— Псалтырь — священное писание, да и то царь Давид прощенья просил у бога за Псалтырь.

— Где это сказано?

— На ладони у меня,— я те вот хвачу по затылку, и узнаешь — где!

Она всё знает, обо всем говорит уверенно и всегда — дико.

— На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, черная, как деготь!

— Душа — дух,— говорю я, но она презрительно кричит:

— У татарина-то? Дурак!

Молодая хозяйка тоже боится книг.

— Это очень вредно книжки читать, а особливо — в молодых летах,— говорит она.— У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да — в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так срамила ее — ужас даже! На улице, при людях...

Иногда я употреблял слова из книг Смурого; в одной из них, без начала и конца, было сказано: «Собственно говоря, никто не изобрел пороха; как всё,— он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий».

Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов: «собственно говоря». Эти слова казались мне убедительными, я чувствовал в них силу,— много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое.

Однажды, на предложение хозяев рассказать им еще что-нибудь о пароходе, я ответил:

— Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря...

Это их изумило, они закаркали:

— Как? Как ты сказал?

И все четверо начали дружно хохотать, повторяя:

— Собственно говоря, а — ба-атюшки!

Даже хозяин сказал мне:

— Плохо ты выдумал, чудак!

С той поры они долго звали меня:

— Эй, собственно говоря! Иди-ка, подотри пол за ребенком, собственно говоря...

Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня.

Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть ее, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось,— в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пеленки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать белье,— там меня осмеивали прачки.

— Ты что за бабье дело взялся?

Иногда они доводили меня до того, что я шлепал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно.

Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, спускаясь к Оке, овраг отрезал от города поле, названное именем древнего бога — Ярило. На этом поле, по Семикам, городское мещанство устраивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы ее молодости народ еще веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвертывали его смоленой паклей и, пустив под гору, с криками, с песнями, следили — докатится ли огненное колесо до Оки. Если докатится, бог Ярило принял жертву: лето будет солнечное и счастливое.

Прачки были, в большинстве, с Ярила, всё бойкие, зубастые бабы; они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать белье зимою, в ледяной воде ручья — каторжное дело; у всех женщин руки до того мерзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьем, запертым в деревянную колоду, под стареньким, щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали белье; лица их налиты кровью, нащипаны морозом; мороз жжет мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слезы, а женщины неуемно гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью.

Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, женщина лет за тридцать, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг,

с нею советовались о разных делах и уважали ее за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельем, спускалась с горы по скользкой тропе, ее встречали весело, заботливо спрашивали:

— Как дочка-то?

— Ничего, спасибо, учится, слава богу!

— Гляди — барыней будет?

— А того ради и учу. Откуда баре, холеные хари? Всё из нас, из черноты земной, а откуда еще-то? Чем больше науки, тем длинней руки, больше возьмут; а кем больше взято, у того дело и свято. Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками, значит — надо учиться!

Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Ее хвалили в глаза и за глаза, удивлялись ее выносливости, разуму, но — никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога,— это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я — меня осмеяли.

— Эх ты, у бабы разуму учишься!

Про дочь ее говорили:

— Эко важное дело! Ну, одной барыней больше будет, легко ли? Да, может, еще и не доучится, помрет...

— Тоже ведь и ученые не сладко живут: вон у Бахилова дочь-то училась-училась, да и сама в учительши пошла, ну, а коли учительша, значит — вековуша...

— Конешно! Замуж-то и без грамоты возьмут, было бы за что взять...

— Бабий ум не в голове...

Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы, я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними; я чувствовал, что они относятся к «бабам» враждебно, но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах, вместе с хвастовством, звучало что-то, позволявшее мне

думать, что в этих рассказах хвастовства и выдумки больше, чем правды.

Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всем, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое и думал, что, пожалуй, это правда: баба — сила!

— Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придешь, не минуешь,— сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей:

— А куда кроме? От бога и то к нам уходят, монахи-те, отшельники-те...

Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлепанье мокрых тряпок, на дне оврага, в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные, злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысль и чувство в сторону от «романов», назойливо окружавших меня; с понятием — «роман» у меня прочно связалось представление о грязной, распутной истории...

Но все-таки в овраге, среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих-землекопов было несравнимо интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну; они говорили о грехах, о смерти, очень боялись ее, они толклись, как зерна вокруг жёрнова, всегда ожидая, что вот он раздавит их.

В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось,— приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе.

Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый — длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными, маслеными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему,

боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в темные углы; рассказывает ли что-нибудь вполголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее.

— Ты что смотришь?

— А может, мыша выбежит... Люблю мышей, такие, катаются, тихонькие...

Я писал денщикам письма в деревни, записки возлюбленным, мне это нравилось; но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова,— он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу.

Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мною, крепко растирал ладонями стриженую голову и шептал в ухо мне:

— Ну, валяй! Сначала — как надо: любезнейшая моя сестрица, здравствуйте на много лет — как надо! Теперь пиши: рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живем хорошо,— мы живем вовсе не хорошо, а как собаки, ну, ты про то не пиши, а пиши — хорошо! Она — маленькая, ей четырнадцать лет всего — зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили...

Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво:

— Чтоб она не давала парням обниматься с нею и трогать ее за груди и никак! Пиши: если кто говорит ласково, ты ему не верь, это он хочет обмануть вас, испортить...

От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью, он надувал щеки, на глазах выступали слезы, он ерзал по стулу и толкал меня.

— Ты мешаешь!

— Ничего, пиши!.. Господам не верь больше всего, они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и всё может сказать, а как ты ему поверила, то — тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтоб никто не видел, и помни — где.

Было очень грустно слушать этот шёпот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопченное чело печи, на шкаф с посудой, засиженный мухами,— кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи, в лучине, шуршат тараканы, уныние вливается в душу, почти до слез жалко солдата, его сестру. Разве можно, разве хорошо жить так?

Я пишу что-то, уже не слушая шёпот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить, а он, вздыхая, говорит мне:

— Много пишешь, спасибо! Теперь она будет знать, чего надо бояться...

— Ничего не надо бояться,— сердито говорю я, хотя сам боюсь многого.

Солдат смеется, прикашливая:

— Чудачок! Как же не бояться? А — господа, а — бог? Да мало ли!

Получив письмо от сестры, он беспокойно просил:

— Читай, пожалуйста, скорее...

И заставлял меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза.

Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все,— по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой развивающиеся на моих глазах с начала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет ее ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюет, точно принял горького лекарства. Это било меня по сердцу, я сердито спрашивал солдата — зачем все они обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают ее один другому и часто — бьют?

Он только тихонько усмехался и говорил:

— Тебе не надо интересоваться этими делами, это всё плохо, это — грех! Ты — маленький, тебе рано...

Но однажды я добился ответа более определенного и очень памятного мне.

— Думаешь — она не знает, что я ее обманываю? — сказал он, подмигнув и кашляя.— Она — зна-ет! Она сама хочет, чтоб обманули. Все врут в этом деле, это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто — баловство! Это больно стыдно, вот, погоди, сам узнаешь! Нужно, чтоб было ночью, а днем — в темноте, в чулане, да! За это бог из рая прогнал, из-за этого все несчастливы...

Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами; я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить,— это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости его редко удавались ему.

— Это — запрещено,— говорил Сидоров.

Что запрещено — я знал, но что от этого люди несчастны — не верилось. И видел, что несчастны, а не верил потому, что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей, чувствовал особенную доброту любящих; видеть этот праздник сердца всегда было приятно.

Но все-таки жизнь, помню, казалась мне всё более скучной, жесткой, незыблемо установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел ее изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день.

Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня: в одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая, бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр.

Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днем выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идет по

дамбе, с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятно новая, чистая, в черных перчатках на маленьких руках. Лицо у нее птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у нее не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу, но мне это казалось приятным и сразу отличало ее от других дам на дворе — офицерских жен; эти, несмотря на их громкие голоса, пестрые наряды и высокие турнюры, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в темном чулане, среди разных ненужных вещей.

Маленькая закройщица считалась во дворе полуумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, ее муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной, нерусской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня — говорили о ней — не умеет отличить буженину от телятины и однажды позорно купила вместо петрушки — хрен. Вы подумайте, какой ужас!

Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей.

И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру: они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о ее красоте. Она отвечает им, просит оставить ее в покое, сожалеет, что причинила горе, просит бога, чтобы он помог им разлюбить ее. Получив такую записку, офицеры читают ее все вместе, смеются над женщиной и вместе же снова составляют письмо к ней от лица кого-либо одного.

Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу.

— Дура несчастная, кривуля,— говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его:

— Всякая баба хочет, чтоб ее обманули. Она всё знает...

Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда ее кухарка пошла в погреб, я вбежал по черной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню — там было пусто, вошел в комнаты — закройщица сидела у стола, в одной руке у нее тяжелая золоченая чашка, в другой — раскрытая книга; она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать:

— Кто это? Августа! Кто ты?

Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах, по ее плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивленно, с улыбкой.

Когда я сказал всё, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне:

— Постой!

Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол, и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека...

— Какой ты странный мальчик... Подойди поближе!

Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, гладя ее маленькими холодными пальцами, спросила:

— Тебя никто не научил сказать мне это, нет? Ну, хорошо, я вижу, верю — ты сам придумал...

Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько, протяжно сказала:

— Так об этом говорят грязные солдаты!

— Вы бы съехали с квартиры-то,— солидно посоветовал я.

— Зачем?

— Одолеют они вас.

Она приятно засмеялась, потом спросила:

— Ты учился? Книжки читать любишь?

— Некогда мне читать.

— Если бы любил, нашлось бы время. Ну — спасибо!

Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету,— было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от нее, и, уходя, положил ее на столбик перил лестницы.

Я унес от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня; предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг всё было незнакомо красиво, пышный золотистый ковер лежал под ее ногами, сквозь серебряные стекла окон смотрел, греясь около нее, зимний день.

Мне захотелось взглянуть на нее еще раз,— что будет, если я пойду, попрошу у нее книжку?

Я сделал это и снова увидал ее на том же месте, также с книгой в руках, но щека у нее была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в черном переплете, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушел с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув ее в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили ее.

Они, получая «Ниву» ради выкроек и премий, не читали ее, но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного обозрения». Когда я мыл пол в спальной, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер» и вечерами, читая ее, ругался:

— Чёрт их поймет, зачем они пишут всё это! Скучища же...

В субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнил о книге, достал ее, развернул и прочитал начальную строку: «Дома — как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой,— я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всенощной, снес книгу в кухню и утонул в желтоватых, изношенных

страницах, подобных осенним листьям; они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, непохожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де Монтепэна, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями; изображавший незнакомую, стремительную жизнь. Всё в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; всё забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой.

Я зачитался до того, что, когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем.

Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом; светильня лампадки, за которою я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнаты выскочила нянька:

— Оглох? Звонят!

Я бросился отпирать двери.

— Дрых? — сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее простудил, старуха ругалась. В кухне она сразу увидала сожженную свечу и начала допрашивать меня — что я делал.

Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдет книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришел хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им:

— Вот, глядите, всю свечу сжег и дом сожгет...

Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью, но я уже знал, что всё это они

говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги.

Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать; старуха, потревожив бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из подпечка, подошел к окну; ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу — стало еще хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя, при свете лампады, и, утомленный, заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе. С полатей выл Виктор:

— Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя...

«Пропала книга, изорвут»,— думал я.

За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал:

— Где ты взял книгу?

Женщины кричали, перебивая друг друга, Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил:

— Духами пахнет, ей-богу...

Почему-то я не мог сказать правду и сказал, что книга взята мною у Сидорова, денщика полкового священника.

— Отнеси ему, и чтоб этого никогда больше не было! — сказал хозяин.

Узнав, что книга принадлежит священнику, они все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин еще долго внушал мне, что читать — вредно и опасно.

— Вон они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу:

— Ты с ума сошел! Что ты ему говоришь?

Я отнес Монтепэна солдату, рассказал ему, в чем дело,— Сидоров взял книгу, молча открыл маленький

сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне:

— Не слушайся их — приходи ко мне и читай, я никому не скажу! А если придешь — нет меня, ключ висит за образом, отопри сундук и читай...

Отношение хозяев к книге сразу подняло ее в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня, но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурого о «правильных книгах» и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-фармазонах:

«А при Благословенном государе Александре Павлыче дворянишки,совратясь к чернокнижию и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчеев-генерал изловил их на деле да, не взирая на чины-звания,— всех в Сибирь в каторгу, там они и исхизли, подобно тле...»

Вспоминался «умбракул, распещренный звездами», «Гервасий» и торжественные, насмешливые слова:

«Профаны, любопытствующие знать наши дела! Никогда слабые ваши очи не узрят оных!»

Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил, как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадет у солдата или он как-нибудь испортит ее. Что я скажу тогда закройщице?

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня:

— Книжник! Книжки-то вон распутству учат, вон она, книгочея, до чего дошла,— на базар сама сходить не может, только с офицерами путается, днем принимает их, я зна-аю!

Мне хотелось кричать:

«Это неправда! Она не путается...»

Но я боялся защищать закройщицу — вдруг старуха догадается, что книга-то ее?

Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною овладела рассеянность, тревожная тоска, я не мог спать, в страхе за судьбу Монтепэна, и вот однажды кухарка закройщицы, остановив меня на дворе, сказала:

— Принеси книгу!

Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженный, подавленный.

Она встретила меня такая же, какою я ее встретил в первый раз, только одета иначе: в серой юбке, черной бархатной кофте, с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря.

Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами.

— Ф-фу, какие глупые люди! — сказала она, сдвинув тонкие брови.— А еще у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему!

Это меня испугало, я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у нее, а у священника.

— Не надо, не пишите! — просил я ее.— Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка и у вас не хватает ребра...

Выпалив всё это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для нее,— она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущенно опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица повалилась на стул и весело захохотала, повторяя:

— Ой, как глупо... как глупо! Но что же делать? — спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: — Ты очень странный мальчик, очень...

Взглянув в зеркало рядом с нею, я увидал скуластое, широконосое лицо с большим синяком на лбу, давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами,— вот это и называется «очень странный мальчик»?.. Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку...

— Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?

— Мне не надо.

Она вздохнула.

— Ну, что ж делать! Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги...

На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я принес, была самая толстая. Я смотрел на нее с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку.

— Ну, прощай!

Я осторожно дотронулся до ее руки и быстро ушел.

А пожалуй, верно говорят про нее, что она ничего не знает, — вот двугривенный назвала денежкой, точно ребенок.

Но это мне нравилось...

IX

И грустно и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению!

Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжет их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю.

Лавочник был очень неприятный парень — толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими, неловкими пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы; брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пить пиво и играть в карты. Меня часто посылали звать его к ужину, и я не однажды видел в тесной, маленькой комнатке за лавкою придурковатую румяную жену лавочника сидевшей на коленях Викторушки или другого парня. Это, видимо, не обижало лавочника; не обижался он и тогда, когда его сестру, которая помогала ему торговать в лавке, крепко обнимали певчие, солдаты и все, кому это нравилось. Товару в лавочке было немного, он объяснял это тем, что дело у него новое,— он не успел наладить его, хотя лавка была открыта еще осенью. Он показывал

гостям и покупателям грязные картинки, давал — желающим — списывать бесстыдные стихи.

Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак, или Непреоборимая верность», «Франциль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы», «Юрий Милославский», «Таинственный монах», «Япанча, татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше — от них что-то оставалось; но еще более меня увлекали жития святых — здесь было что-то серьезное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Все великомученики почему-то напоминали мне Хорошее Дело, великомученицы — бабушку, а преподобные — деда, в его хорошие часы.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече недоставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторушка возмущенно провозгласил с полатей:

— Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жгет свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я понимал, что если в этот дом придет святой,— мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад; они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться

над ними — они разучатся говорить, онемеют, им не видно будет самих себя. Для того, чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно, с осуждением, и если бы начать жить так же, как они,— так же думать, чувствовать,— всё равно — они осуждали бы и за это. Уж такие люди.

Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

— Что тогда будет? — спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

— Долг принес?

— Нет.

Это его пугало, он хмурился.

— Как же? Что же мне — к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да — в колонию?

Мне негде было взять денег — жалованье мое платили деду, я терялся, не зная — как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масленую, пухлую, как оладья, руку и сказал:

— Поцелуй — подожду!

Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

— Что, что ты, что ты — я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу, однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

— Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

— Он не украдет, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг всё разрешилось очень быстро и просто; хозяин неожиданно спросил меня:

— Ты что, Пешко́в, скучный стал, нездоровится, что ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали; он нахмурился.

— Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то! От них — так или эдак — непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

— Смотри же, не проболтайся жене али матери — шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

— Настойчив ты, чёрт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако — книжки брось! С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

И вот, вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок» — романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

— А мы-то живем — тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей,— это очень изумляет их.

— Ну, и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве, мне они очень нравятся, я списываю

некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

— Старик ведь, а стихи сочиняет.

— Пьяница, полоумный, ему всё равно.

Нравятся мне стихи Стружкина, графа Мементо-Мори, а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи — балаганство.

— Это только петрушки да актеры стихами говорят.

Тяжелы были мне эти зимние вечера на глазах хозяев, в маленькой, тесной комнате. Мертвая ночь за окном; изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то — вьюга шаркает по стеклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками; в детской плачут младенцы,— хочется сесть в темный угол и, съежившись, выть волком.

В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки; за другим — Викторушка, выгнув спину, копирует, нехотя, чертежи и время от времени кричит:

— Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди-козыри, собаки на мышах...

В стороне, за огромными пяльцами, сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть; из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, желтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой,— она очень надоела ему, и часто, днем, когда я свободен, он говорит мне:

— Ну-ко, Пешкóв, садись за скатерть, действуй!

Я сажусь и действую толстой иглой,— мне жалко хозяина и всегда, во всем хочется посильно помочь ему. Мне всё кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнет делать что-то другое, интересное, о чем он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на нее неподвижно удивленными глазами, как на что-то незнакомое ему; волосы его спустились на лоб и щеки, он похож на послушника в монастыре.

— Ты о чем думаешь? — спрашивает его жена.

— Так,— отвечает он, принимаясь за работу.

Я молча удивляюсь: разве можно спрашивать, о чем человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос,— всегда думается сразу о многом: обо всем, что есть перед

глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад; всё это спутано, неуловимо, всё движется, изменяется.

Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

— Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался еще «Огонек», и вот мы читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слез хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

— Нет, это забавная штука!

— Вранье, поди-ка,— говорит хозяйка, ради оказания самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал себе право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На мое счастье, старуха перешла спать в детскую,— запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю всё шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится как-то особенно скучно: плоско лежат луга, в темных заплатах кустарника, на конце

лугов зубчатая черная стена леса, над лугами — мутная, холодная синева. Пусто на земле, одиноко. И сердце тоже пустеет, тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать — не о чем, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает эта унылая пустота, высасывая из сердца всё, что́ там есть.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова — «метафизика», «хилиазм», «чартист»,— они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, всё заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов,— именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Атилла,

за ним черною тучею идут воины и кричат:

Где же Рим, где Рим могучий?

Рим — город, это я уже знал, но кто такие — гунны? Это необходимо знать.

Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

— Гунны? — удивленно повторяет он.— Чёрт знает, что это такое! Ерунда, наверное...

И неодобрительно качает головою.

— Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешко́в!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно — что такое гунны и, поймав его на дворе, я спрашиваю.

Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом:

— А тебе какое дело до этого, а?

Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил:
— Что-о?

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора; он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

— Гунны,— сказал мне провизор Павел Гольдберг,— были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно — не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам,— после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и, благодаря Атилле, я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб.

— Слова, дружище, это — как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево,— нужно учиться! Книга, дружище,— как хороший сад, где всё есть: и приятное и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне всё более серьезное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне от всего, о чем пишут книги, и трудно понять — что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно,— не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне и Париже нет среди города оврагов и грязных

дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, соленые грибы, толокно и картофель, с противным льняным маслом. Великим постом — нельзя читать книг,— у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить ее с тем, что знал из книг, она казалась мне еще более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал споро и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишенный книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость.

Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное: однажды вечером, когда все ложились спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу встряхнул всех в доме, полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга:

— Пожар? Набат?

Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями; кто-то бегал по двору с лошадью на поводу. Старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал ее:

— Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат!

— Ну, так архиерей помер...

Викторушка слез с полатей, одевался и бормотал:

— А я знаю, что случилось, знаю!

Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева, я побежал, вылез через слуховое окно на крышу,— зарева не было видно; в тихом морозном воздухе бухал, не спеша, колокол; город сонно прилег к земле; во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и всё зловещее охал колокол. Я воротился в комнаты.

— Зарева нет.

— Фу ты, господи! — сказал хозяин, одетый в пальто и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши. Хозяйка умоляла его:

— Не ходи! Ну, не ходи же...

— Ерунда!

Викторушка, тоже одетый, дразнил всех:

— А я знаю...

Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к окнам, но почти тотчас с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал:

— Царя убили!

— Убили-таки! — воскликнула старуха.

— Убили, мне офицер сказал... Что ж теперь будет?

Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал:

— А я думал — война!

Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но — тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять — что случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова — за что убили царя, он тихонько ответил:

— Про то запрещено говорить...

И всё это быстро стерлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты,— старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Я еще в комнатах услыхал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидал, что он весь посинел и трясется, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова,— лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи — готов ли самовар, кратко ответил:

— Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожею спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

— Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

— Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

— Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

— Не хочу, лечите скорее...

Меня отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

— Превосходно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал:

— Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

— Раньше — чаще били...

Доктор захохотал басом.

— Всё к лучшему идет, приятель, всё!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

— Извольте получить, починен! Завтра пришлите, перевяжем. На ваше счастье — комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

— И меня, Пешкóв, тоже били — что поделаешь?

Били, брат! Тебя все-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде — теснота, а пожалеть — нет ни одного сукина сына! Эх, зверикурицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника, женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил,— слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряженный интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешение брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивленно воскликнула:

— Ну и бес!

Через день я стоял перед закройщицей и она ласково говорила:

— А мне сказали, что ты болен, отвезен в больницу,— видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду — зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон де Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ,— я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне — весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролет, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

— Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь всё идет об одном и том же: хорошие люди — несчастливы и гонимы дурными, дурные — всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют

хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и всё чаще удается правильно решить, кто из героев придет в рай всяческого благополучия, кто будет ввергнут во узилище.

Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «черный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми,— он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот — солдат, но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю,— ни на Сидорова, ни на вятича с парохода, ни, тем более, на Ермохина; он — больше человек, чем все они. В нем есть нечто общее со Смурым, но он не так звероват и груб. Вот — лавочник, но и он тоже лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю,— они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю: за границей не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся богу так яростно, как молится старая хозяйка.

Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бесцельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от нее выгод.

С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною всё

яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости желтых, зачитанных страниц с грязными углами.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивленный чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьезной и сухой, как жития святых. Ее язык, такой точный и лишенный прикрас, сначала неприятно удивил меня, но скупые слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползет на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил ее дать мне еще такую же.

— Как это такую же? — спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить чего мне хочется, а она говорила:

— Это — скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколол меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга,— так с этою улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границею живут иногда мальчики! Ну, мне вовсе не так плохо, значит — можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попалась уже настоящая «правильная» книга — «Евгения Гранде».

Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом — незлобивом, спокойном. Все ранее прочитан-

ные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек все-таки не может достичь желаемого,— добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы незыблемо, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но — камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной,— нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано где-то за добродетелью...

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака — не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что всё сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти ее? Закройщица не могла помочь мне в этом.

— Вот хорошая книга,— говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки полны роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриета, Вернера,— мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер-Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже всё меньше нравилась мне.

Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причесывался, всячески стараясь принять благообразный вид,— едва ли это удавалось мне, но я всё ждал, что она, заметив мое благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:

— Прочитал? Понравилось?

— Нет.

Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:

— Но почему же?

— Я уж читал об этом.

— О чем — об этом?

— О любви...

Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.

— Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!

Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позевывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплету книги на коленях у нее.

Мне хочется спросить: «Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами...»

Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.

На дворе говорят об этой женщине всё хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти россказни, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за нее. Но когда, придя к ней, я вижу ее острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо,— жалость и страх исчезают, как дым.

Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж ее переменил квартиру.

Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых пасельников, я зашел посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и блестела большая медная булавка.

Мне стало грустно, захотелось еще раз увидать маленькую закройщицу,— сказать, как я благодарен ей...

X

Еще до отъезда закройщицы под квартирою моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красива; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от нее и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу ее квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконогого рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках, с раструбами, в желтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня,— он косился на нее огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утоптанной глине.

— Робэр, Ро-обэр,— негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шел по дамбе; она сидела в седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на нее, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла-Вальер и другие красавицы, героини исторических романов.

Ее постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у нее играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около нее вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вел себя, как покорный, преданный слуга дамы.

Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Ее огромные синеватые глаза смотрели серьезно, спокойно ожидаю-

щим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче бревен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснет, а я ее отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

— Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?

— Храни тебя господь,— говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.

— Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать,— повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом.

Бабушка внушала ей:

— Не до завтра, а — всегда!

— А разве завтра не всегда бывает?

Она любила слово «завтра», и всё, что нравилось ей, переносила в будущее; натыкает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:

— Завтра это будет сад...

— Когда-нибудь завтра я тоже куп'ю себе ошадь и поеду верхом, как мама...

Она была умненькая, но не очень веселая,— часто во время оживленной игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

— Зачем у священников во'осы, как у женщинов?

Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:

— Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо. Бог всем может сде'ать п'охо — он даже маму может наказать...

Иногда на нее спускалась тихая, серьезная печаль; прижимаясь ко мне, глядя в небо синими ожидающими глазами, она говорила:

— Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеется. Ее все юбят, потому что ей всегда некогда, всё приходят гости, гости, и смотрят на нее, потому что она красивая. Она — ми'ая, мама. И О'есов так говорит: ми'ая мама!

Мне страшно нравилось слушать девочку,— она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много,— предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это еще более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка задремала на руках у меня, подъехала верхом ее мать, легко спрыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

— Чтó это она — спит?

— Да.

— Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

— Дай мне ее!

— Я сам отнесу!

— Но! — крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.

Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит,— всякий послушает ее, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная,— девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошел в гостиную,— девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала ее.

— Ну, вот,— сказала она,— вот он пришел, это чудовище!

— Это не чудовище, а мой майчик...

— Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?

— Да, хочу!

— Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

— Прощай до завтра,— сказала девочка, протянув мне руку.— Храни тебя господь до завтра...

Дама удивленно воскликнула:

— Кто это тебя научил — бабушка?

— Да-а...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

— Что же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

— Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала еще красивее; я смущенно назвал ей несколько романов.

— Что же в них нравится тебе? — спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От нее исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьезно,— до этой минуты никто еще не смотрел на меня так.

От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; окна закрывала густая зелень цветов, в сумраке блестели снежно-белые изразцы печи, рядом с нею лоснился черный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то темные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской печати, и под каждой грамотой висела на шнуре темная большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я.

Я объяснил ей, как сумел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

— Да-а, вот как? — сказала она, вставая.— Это — недурно, это, пожалуй, верно... Ну что ж? Я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет... А впрочем, возьми вот это...

Она взяла с дивана истрепанную книжку в желтой обложке.

— Прочитаешь — дам вторую часть, их четыре...

Я ушел, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием, но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские «тайны» значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавною показалась мне только басня о Свободе и Палке.

«Я выше тебя,— сказала Свобода,— потому что умнее».

Но Палка ответила ей:

«Нет, я выше тебя, потому что я — сильней тебя».

Спорили, спорили и подрались; Палка избила Свободу, и Свобода — помнится мне — умерла в больнице от побоев.

В книге шла речь о нигилисте. Помню, что — по князю Мещерскому — нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово нигилист показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние: очевидно, я не умею понимать хорошие книги! А что книга хорошая, в этом я был убежден: ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие!

— Ну, что же, понравилось? — спросила она, когда я возвратил ей желтый роман Мещерского.

Мне было очень трудно ответить — нет, я думал, что это ее рассердит.

Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была ее спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплете синего сафьяна.

— Это тебе понравится, только не пачкай!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место,— всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестествен-

ной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,

— мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы, тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

— Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

— Зачитался, пострел, а самовар четвертый день не чищен! Как возьму скалку...

Что — скалка? Я оборонялся против нее стихами:

Душою черной зло любя,
Колдунья старая...

Дама еще выше выросла в моих глазах,— вот какие книги читает она! Это — не фарфоровая закройщица...

Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

— Это тебе понравилось! Ты слыхал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нем, и я сказал, что не слыхал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

— Видишь, как опасно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно — опасно, но и — хорошо. Я сказал:

— Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на всё, сквозь ресницы, и сказала серьезно:

— Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе — не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря:

— Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумаю об этом... Твои хозяева — родственники тебе?

И когда я ответил утвердительно, она воскликнула:

— О! — как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издание, с гравюрами, в золотом обрезе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесною связью едкого горя с буйным весельем.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь зловредный — я вас беспокою?
Раздавите гадину ногою!
Что жалеть? Приплюсните скорей!
Отчего меня вы не учили,
Не дали исхода дикой силе?
Вышел бы из червя — муравей!
Я бы умер, братьев обнимая,
А бродягой старым умирая,—
Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слез хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни веселой наука —
Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие,

острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут.

Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки:

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет! —

вызвали отвратительную беседу о девушках,— это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из его неловких рук, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням.

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять,— работа всё росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылках», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков,— хозяин работал с утра до ночи, как машина.

В те года казенные здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев; торговые ряды торопливо перестраивались; мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи «на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно» и т. п.; я носил эти чертежи к старенькому архитектору, вместе с конвертом, куда пряталась двадцатипятирублевая бумажка,— архитектор брал деньги и подписывал: «Чертеж с натурою верен, и надзор за работами принял Имярек». Разумеется, натуры он не видал, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома.

Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и еще каким-то нужным людям, получая от них «разрешительные бумажки на всякое беззаконие», как именовал хозяин эти документы. За всё это я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько ча-

сов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен, против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый говор и музыку.

Окна открыты. Сквозь занавеси и сеть цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво.

Я назвал ее про себя — Королева Марго.

«Вот та самая веселая жизнь, о которой пишут во французских книгах»,— думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин,— они вились около нее, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий невеселый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл,— так играл, что под окнами останавливались прохожие, на бревнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева — если они были дома — открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили еще кого-нибудь, кроме соборного протодьякона, и знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом четко сказал:

Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя, одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним, в желтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил: найду где-то клад и весь отдам ей,— пусть она

будет богата! Если б я был Скобелевым, я снова объявил бы войну туркам, а победив, взял бы выкуп, построил бы на Откосе — лучшем месте города — дом и подарил бы ей,— пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко.

И соседи и вся челядь нашего двора,— а мои хозяева в особенности,— все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись ее, может быть, потому, что она была вдовою очень знатного человека,— грамоты на стенах комнаты ее были жалованы дедам ее мужа старыми русскими царями: Годуновым, Алексеем и Петром Великим,— это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший Евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избила своим хлыстом с лиловым камнем в ручке,— говорили, что она уже избила им какого-то важного чиновника.

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанных слов; моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни Королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на ее ногах и вытирает их губкой.

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев:

— Виктор, фу! Какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!

Хозяин молчал, улыбался,— я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор — Виктор прибавлял всё новые подробности.

— Рожа красная, язык высунул...

Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижет ногти даме, но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидною ложью, и я сказал Викторушке:

— Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы — не маленький...

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, мне только одного хотелось — сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить ее:

«Пожалуйста, уезжайте из этого дома!»

Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом, со всеми его жителями, возбуждал во мне отвращение всё более тяжкое. Весь он был оплетен грязною сетью позорных сплетен, в нем не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник; офицеры и жены их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе; мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах, и больше всего опротивели мне мои хозяева — я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими, беспощадных суждений о людях. Наблюдения за пороками людей — единственная забава, которою можно пользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно и скучно.

Когда о Королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям,— эта немая жалость была еще тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром; она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шёлком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку маленькие ладошки, сложенные вместе, тело ее спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и всё

в спальне, темные волосы, заплетенные в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди ее, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо мое мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

— Вот как?

Даже благожелательная улыбка ее была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

«Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне».

Иногда я заставал ее перед зеркалом,— она сидела на низеньком кресле, причесывая волосы, концы их лежали на коленях ее, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу,— волосы у нее были так же длинны и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале ее смуглые крепкие груди, она надевала при мне лиф, чулки, но ее чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за нее. Всегда от нее исходил запах цветов, защищавший ее от дурных мыслей о ней.

Я был здоров, силен, хорошо знал тайны отношений мужчины к женщине, но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины, мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно, рукою хозяина ее тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома Королеве Марго, она знает какие-то иные, высшие радости, иную любовь.

Но однажды, перед вечером, войдя в гостиную, я услыхал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, просивший:

— Подожди же... Господи! Не верю...

Мне нужно было уйти, я понимал это, но — не мог уйти...

— Кто там? — спросила она.— Ты? Войди...

В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно, окна были занавешены... Королева Марго лежала на

постели, до подбородка закрывшись одеялом, а рядом с нею, у стены, сидел в одной рубахе, с раскрытой грудью, скрипач-офицер,— на груди у него тоже был шрам, он лежал красной полосою от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я видел улыбку на его печальном, изрубленном лице,— улыбался он странно. А его большие, женские глаза смотрели на Королеву так, как будто он только впервые разглядел красоту ее.

— Это мой друг,— сказала Королева Марго, не знаю — мне или ему.

— Чего ты так испугался? — услыхал я, точно издали, ее голос.— Поди сюда...

Когда я подошел, она обняла меня за шею голой, горячей рукою и сказала:

— Вырастешь — и ты будешь счастлив... Иди!

Я положил книгу на полку, взял другую и ушел, как во сне.

Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя Королева любит, как все женщины, да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собою его улыбку,— улыбался он радостно, как улыбается ребенок, неожиданно удивленный, его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить ее — разве можно ее не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей — он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи...

Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не всё хорошо, не всё верно в моем отношении к тому, что я видел, и к самой Королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали.

...Однажды я буйно и слепо наозорничал, и, когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго:

— Однако ты отчаянный шалун, как я слышала! Не думала я этого...

Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сна-

чала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько.

— Довольно, я всё это знаю — понимаешь? Знаю!

Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково:

— Чем меньше ты будешь обращать внимания на все эти гадости, тем лучше для тебя... А руки ты плохо моешь...

Ну, этого она могла бы и не говорить; если б она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю.

— Умеет жить человек — на него злятся, ему завидуют; не умеет — над ним насмехаются, его презирают,— задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои.— Ты меня любишь?

— Да.

— Очень?

— Да.

— А — как?

— Не знаю.

— Спасибо; ты — славный! Я люблю, когда меня любят...

Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих.

— Ты — чаще приходи ко мне; как можешь, так и приходи...

Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше.

— Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь,— поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

— Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с легкой досадой:

— Тебе нужно учиться, учиться, а я всё забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные «Записки охотника», несколько томиков Гребенки и Соллогуба, стихи Веневитинова, Одоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!

Приходила бабушка, я с восторгом рассказывал ей о Королеве Марго,— бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно:

— Ну, ну, вот и хорошо! Хороших-то людей много ведь, только поищи — найдешь!

И однажды предложила:

— Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?

— Нет, не надо...

— Ну и не надо... Господи, господи, хорошо-то всё как! Жить я согласна — веки вечные!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился,— на Троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня.

Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза, хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвели к знакомому доктору-акушеру Генриху Родзевичу, он прорезал мне веки изнутри, несколько дней я лежал с повязкой на глазах, в мучительной, черной скуке. Накануне Троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение; это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых мира.

Веселый день Троицы; я, на положении больного, с полудня был освобожден от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме строгого Тюфяева, были пьяны; перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без па-

мяти упал в сенях, испуганный Ермохин убежал в овраг.

По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой; шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата.

Явилась прачка Наталья Козловская, в новом сиреневом платье, с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко:

— Дураки — он жив! Воды давайте...

Ее стали уговаривать:

— Не совалась бы не в свое дело-то!

— Воды, говорю! — крикнула она, как на пожаре; деловито приподняв новое свое платье выше колен, одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе.

Публика неодобрительно и боязливо разошлась; в сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принес ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила:

— Меня не облей,— мне в гости идти...

Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал.

— Поднимай,— сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы на запачкать платья. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав:

— Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду, поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются.

Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее, помятое платье.

Сидоров, потягиваясь, икал, охал, с головы его на мою босую ступню падала темными каплями тяжелая кровь,— это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капели.

Было горько; на дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками; к каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветви клена, рябины; вся улица весело зазеленела, всё так молодо, ново; с утра мне казалось, что весенний праздник пришел надолго, и с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее.

Солдата стошнило, душный запах теплой водки и зеленого луку наполнил кухню, к стеклам окна то и дело прилипают какие-то мутные, широкие рожи с раздавленными носами, ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми.

Солдат бормотал, вспоминая:

— Это — как же я? Упал? Ермохин? Хор-рош товарищ...

Потом стал каплять, заплакал пьяными слезами и заныл:

— Сестричка моя... сестренка...

Встал на ноги, скользкий, мокрый и вонючий, пошатнулся и, шлепнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами:

— Совсем убили...

Мне стало смешно.

— Кто, чёрт, смеется? — спросил солдат, тупо глядя на меня.— Как ты смеешься? Меня убили навсегда...

Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал:

— Первый срок — Илья пророк, второй — Егорий на коне, а третий — не ходи ко мне! Пошел прочь, волк...

Я сказал:

— Не дури!

Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами.

— Меня убили, а ты...

И тяжело, вялой, грязной рукою ударил меня по глазам,— я взвыл, ослеп и кое-как выскочил на двор, встречу Наталье; она вела за руку Ермохина и покрикивала:

— Иди, лошадь! Ты что? — поймав меня, спросила она.

— Дерется...

— Дерется-а? — с удивлением протянула Наталья и, дернув Ермохина, сказала ему:

— Ну, леший, значит — благодари бога своего!

Я промыл глаза водою и, глядя из сеней в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача, потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая:

— Прочь лапы, псы! Что я вам — потаскушка из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет,— ну, живо! А то беда будет вам!

Она уложила их, как малых детей, одного — на полу, другого — на койке, и, когда они захрапели, вышла в сени.

— Измазалась я вся, а — в гости одета! Ударил он тебя?... Ишь ведь дурак какой! Вот она, водочка-то. Не пей, паренек, никогда не пей...

Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных.

— Я и трезвых не боюсь, они у меня — вот где! — Она показала туго сжатый, красный кулак.— У меня муженек, покойник, тоже заливно пьянствовал, так я его, бывало, пьяненького-то, свяжу по рукам, по ногам, а проспится — стяну штаны с него да прутьями здоровыми и отхлещу: не пей, не пьянствуй, коли женился — жена тебе забава, а не водка! Да. Вспорю до устали, так он после этого как воск у меня...

— Сильная вы,— сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже бога обманула.

Наталья сказала, вздохнув:

— Бабе силы надо больше, чем мужику, ей на двоих силы-то надо бы, а господь обделил ее! Мужик — человек неровный.

Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиною о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем, дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени и вдруг увидал на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином; они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу.

Я побежал отпереть дверь парадного крыльца, отпер; подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне:

— С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни?

Это было до того глупо, что даже не задело меня; более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил:

— Что ж — пора!..

На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашел у квадратной прорези для кошек, в двери сарая, пустой кошелек; я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнес ему.

— А где же деньги? — спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька.— Рубль тридцать? Давай сюда!

Голова у него была в чалме из полотенца; желтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым.

Пришел Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня:

— Это он украл, он, веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдет!

Эти слова подсказали мне, что украл именно он, он же и подбросил кошелек в сарай ко мне,— я тотчас крикнул ему в глаза:

— Врешь, ты украл!

И окончательно убедился, что я прав в своей догадке,— его дубовое лицо исказилось страхом и гневом, он завертелся и завыл тонко:

— Докажи!

Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор, Сидоров шел за нами и тоже что-то кричал, из окон высунулись головы разных людей; спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и — ошалел.

Помню — солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно:

— Конечно, это его дело! То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал: значит, были деньги, от нее без денег ничего не возьмешь...

— Так точно! — кричал Ермохин.

Подо мною пол заходил, меня опалила дикая злоба, я заорал на хозяйку и был усердно избит.

Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что́ теперь думает обо мне Королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы.

На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лежа на чердаке, я услыхал внизу крик Натальи Козловской:

— Нет, зачем я буду молчать? Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю — иди! А то я к барину пойду, он тебя заставит...

Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос ее звучал всё более громко и торжествующе.

— Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя — расскажи?

Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет:

— Ай-яй, Ермохин...

— А мальчишка ославили, избили, а?

Мне хотелось сбежать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время,— должно быть, из окна,— закричала моя хозяйка:

— Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор — никто этого не думал, кроме тебя, халда!

— Вы сами, сударыня, халда, корова вы эдакая, позвольте вам сказать.

Я слушал эту брань, как музыку, сердце больно жгли горячие слезы обиды и благодарности Наталье, я задыхался в усилиях сдержать их.

Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы:

— Что, брат, Пешко́в, не везет тебе?

Я молча отвернулся от него.

— А все-таки ругаешься ты безобразно,— продолжал он, а я тихо объявил ему:

— Когда встану — уйду от вас...

Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец ее, сказал негромко:

— Что же, твое дело! Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя...

И ушел. Как всегда — было жалко его.

На четвертые сутки после этого — я ушел из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовет меня.

Прощаясь с девочкой, я попросил:

— Скажи маме, что я очень благодарю ее, очень! Скажешь?

— Скажу,— обещала она, ласково и нежно улыбаясь.— Прощай до завтра, да?

Я встретил ее лет через двадцать, замужем за офицером-жандармом...

XI

Я снова посудником на пароходе «Пермь», белом, как лебедь, просторном и быстром. Теперь я «черный» посудник, или «кухонный мужик», я получаю семь рублей в месяц, моя обязанность — помогать поварам.

Буфетчик, круглый и надутый спесью, лыс, как мяч; заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за сорок, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щек ее осыпается на яркое платье белая липкая пыль.

В кухне воеводит дорогой повар Иван Иванович, по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Он — щеголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щечки у него синие, темные усы подкручены вверх; в свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печеными красными пальцами, и всё смотрит в круглое ручное зеркальце.

Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов, широкогрудый, квадратный мужик; курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьи глазки

спрятаны под густыми бровями, щеки — в мелких колечках волос, похожих на болотный мох, на голове эти волосы свалялись плотной шапкой, он с трудом просовывает в них кривые пальцы.

Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством; как голодная собака, он постоянно терся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории.

Смолоду он был подпаском у городского пастуха в Рязани, потом прохожий монах сманил его в монастырь; там он четыре года послушничал.

— И быть бы мне монахом, черной божьей звездой,— скороговоркой балагурил он,— только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы — забавная такая, да и сомутила меня: экой ты ладной, экой крепкой, а я, бает, честная вдова, одинокая, и шел бы ты ко мне в дворники, у меня, бает, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером...

— Ладно-о, она меня — в дворники, я к ней — в любовники, и жил около ее теплого хлеба года с три времяˊ...

— Смело врешь,— прерывает его Медвежонок, озабоченно разглядывая прыщики на своем носу.— Кабы за ложь деньги платили — быть бы тебе в тысячах!

Яков жует, по слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши; выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро:

— Была она меня старше, стало мне с ней скушно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной, а она про то узнала да по шее меня со двора-то...

— Это тебе награда — лучше не надо,— говорит повар так же легко и складно, как Яков.

Кочегар продолжает, сунув за щеку кусок сахара:

— Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку-володимерцу, офене, и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы ходили, к самым — к туркам, к румынам тоже, ко грекам, австриякам разным — все народы обошли, у этого — купишь, тому — продашь...

— А воровали? — серьезно спрашивает повар.

— Старичок — ни-ни! И мне сказал: в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я — верно — пробовал, только — неутешно вышло: затеял я у купца коня свести со двора, ну — не сумел, поймали, начали, конешное дело, бить, били-били — в полицию оттащили. А было нас — двое, один-то настоящий, законный конокрад, а я так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал, и начал купец хворать, тут я ему во сне приснился нехорошо, испугался он и давай просить за меня начальство: отпустите его,— это меня, значит, а то-де он во сне снится: не простишь ему, бает, не выздоровеешь, колдун он, видно,— это я, стало быть, колдун! Н-ну, купец он знатный, отпустили меня...

— Тебя бы не отпустить, а в воду опустить дня на три, чтоб из тебя дурь вымокла,— вставил повар.

Яков тотчас подхватил его слова:

— Правильно, дури во мне много, прямо сказать — на целую деревню дури во мне...

Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь с досадой:

— Какова чушь! Живет на земле вот такой арестант, жрет, пьет, шляется, а — к чему? Ну, скажи, зачем ты живешь?

Чавкая, кочегар отвечает:

— Это мне неизвестно. Живу и живу. Один — лежит, другой — ходит, чиновник сиднем сидит, а есть — всякий должен.

Повар еще более сердится.

— То есть, какая ты свинья, что даже — невыразимо! Прямо — свиной корм...

— Чего ты ругаешься? — удивляется Яков.— Мужики — все одного дуба жёлуди. Ты — не ругайся, я ведь с этого лучше никак не стану...

Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе, я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал разинув рот. В нем было, как я думал, что-то непоколебимо спокойное, какое-то свое, крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех — капи-

тана, буфетчика, важных пассажиров первого класса — как бы выравнивал в один ряд с самим собою, с матросами, прислугой буфета и палубными пассажирами.

Бывало — стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки, и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты, стоит — и видно, что ругань на него не действует, угрозы ссадить с парохода на первой пристани не пугают его.

В нем есть что-то всем чужое — как это было в Хорошем Деле, он, видимо, и сам уверен в своей особенности, в том, что люди не могут понять его.

Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал,— из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьем текли слова. Когда его ругают или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит или тихонько продолжает говорить свое. Каждый день, кончив вахту, он вылезал из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос, сеялись слова, точно капли дождя.

— Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь? Знаю, бывал там, у богатого татарина батраком жил. А звали татарина Усан Губайдулин, о трех женах был старик, ядреный такой, морда красная. А одна молодуха, за-а-бавная была татарочка, я с ней грех имел...

Он везде — был, со всеми женщинами на своем пути имел грех; он рассказывал обо всем беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды, ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме.

— Честной народ, которые — в карты играют! В стуколку, в три листика, в ремешок, эй! Утешное дело — карта, сидя можно деньги взять, купеческое занятие...

Я заметил, что он редко говорит: хорошо, плохо, скверно, но почти всегда: забавно, утешно, любопытно.

Красивая женщина для него — забавная бабочка, хороший солнечный день — утешный денек. А чаще всего он говорил:

— Наплевать!

Все считали его лентяем, а мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой, в адской, душной и вонючей жаре, так же добросовестно, как все, но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары.

Однажды у старухи-пассажирки кто-то вытащил кошель с деньгами; было это ясным, тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе пять рублей, пассажиры тоже собрали между собою сколько-то; когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала:

— Родимые — тут на три целковых с гривенником лишку вышло противу моих-то!

Кто-то весело крикнул:

— Бери всё, бабка, чего зря звонить? Трешница никогда не лишняя...

Кто-то складно сказал:

— Деньги — не люди, лишними не будут...

А Яков подошел к старухе и предложил серьезно:

— Давай мне лишнее-то, я в карты сыграю!

Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущенную старуху:

— Давай, бабка! На кой тебе деньги? Тебе завтра — на погост...

Его прогнали, изругав; он, покачивая головою, говорил мне с удивлением:

— Чудак народ! Чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила — деньги ей лишние! А меня бы трешка утешила...

Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью,— разговаривая, он любил чистить серебро и медь о штаны, а высветлив монету до блеска и пошевеливая бровями, разглядывал ее, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги.

Однажды он предложил мне играть с ним в стуколку, я не умел.

— Не умеешь? — удивился он.— Как же ты? А еще грамотен! Надо тебя обучить. Давай играть внарошку, на сахар...

Он выиграл у меня полфунта пиленого сахару и всё прятал куски за мохнатую щёку, потом, найдя, что я умею уже играть, предложил:

— Теперь давай всерьез играть, на деньги! Есть деньги?

— Есть пять рублей.

— А у меня два с гаком.

Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддевку в пять рублей, и— проиграл, поставил новые сапоги в трешницу — тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито:

— Нет, ты играть не можешь, больно горяч — сейчас поддевку долой, сапоги! Это мне не надо. На-ко, возьми обратно одежу и деньги возьми, четыре целковых, а рубль — мне за науку... Ладно ли?

Я был очень благодарен ему.

— Наплевать! — сказал он в ответ на мои благодарности.— Игра — это игра, забава, значит, а ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо — бей с расчетом! Чего там горячиться? Ты — молодой, должен держать себя крепко. Раз — не удалось, пять — не удалось, семь — плюнь! Отойди. Простынешь — опять валяй! Это — игра!

Мне он всё более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нем много чего-то, что привлекало меня, но — резко отталкивало его густое, видимо, на всю жизнь устоявшееся, равнодушие к людям.

Как-то раз, на закате солнца, пьяный пассажир второго класса, дородный купец-пермяк упал за борт и, барахтаясь, поплыл по красно-золотой водной дороге. Машину быстро застопорили, пароход остановился, пустив из-под колес облако пены, красные лучи заката окровавили ее; в этой кипящей крови, уже далеко за кормой, бултыхалось темное тело, раздавался по реке дикий крик, потрясавший душу. Пассажиры тоже орали, толкаясь, наваливаясь на борта, сгрудившись на

корме. Товарищ утопавшего — тоже пьяный, рыжий и лысый — бил всех кулаками, прорываясь к борту, и рычал:

— Прочь! Я его сейчас достигну...

Уже двое матросов бросились в воду и саженками плыли к утопавшему, с кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин, спокойной и ровной струйкой растекался сиповатый голос Якова:

— Уто-онет, всё едино утонет, потому — поддевка на нем! В длинной одёже — обязательно утонешь. Например — бабы, отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба как попала в воду, так сейчас и на дно, гирей-пудовкой... Глядите — вот и потонул, я зря не скажу...

Купец действительно потонул, его искали часа два и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал:

— Ну вот, доехали-и! Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него...

Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать:

— Ничего, купец! Никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хвать — и помер! Тыщи людей грибы едят на здоровье, а один — на смерть! А — что грибы?

Широкий, крепкий, он жёрновом стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слезы с бороды широкими ладонями, но, прислушавшись, взвыл:

— Леший! Что ты из меня душеньку тянешь? Православные, уберите его, а то — грех будет!

Яков, спокойно отходя, сказал:

— Чудак народ! К нему — с добром, а он — колом...

Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выспросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось; закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи темные глаза, он гладил рукою мшистое свое лицо и тянул, вспоминая:

— Народишку, браток, везде — просто как муравья! И там народ, и тут,— суета, я те скажу! Боле всего, конешно, крестьян,— прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгаре? Видал болгаров, и греков тоже, а то — сербей, румынцев тоже и всяких цыган,— много их, разных! Какой народ? Да ведь какой же? В городах — городской, в деревнях — деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже говорят по-нашему, только плохо, как, например, татаре али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут как попало, говорят будто слова, а что к чему — нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой — он прикидывался, что быдто и греков понимает, бормочет — карамара да калимера. Хитрый был старичок, здорово калил их!.. Опять ты спрашиваешь — какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конешно, черные они, и румыне тоже черные, это одна вера. Болгаре — тоже черные, ну, эти веруют по-нашему. А греки — это вроде турков...

Мне казалось, что он говорит не всё, что знает; есть у него еще что-то, о чем он не хочет сказать.

По картинам журналов я знал, что столица Греции Афины — древнейший и очень красивый город, но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины.

— Это тебе наврали, браток, Афинов нету, а есть — Афон, только что не город, а гора, и на ней — монастырь. Боле ничего. Называется: святая гора Афон, такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля алибо Нижнего. Города у них неказисты, а вот деревни — другое дело! Бабы тоже, ну, бабы просто до смерти утешны! Из-за одной я чуть не остался там,— как, бишь, ее звали?

Он крепко трет ладонями слепое лицо, жесткие волосы тихонько хрустят, в горле у него, глубоко где-то, звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика.

— Забывчив человек! А ведь как мы с ней, бывало... Прощалась она — плакала, и я плакал даже, ей-бо-о...

Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами.

Мы сидим на корме, теплая лунная ночь плывет навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного — мигают желтые огни, какие-то звезды, плененные землею. Всё вокруг движется, бессонно трепещет, живет тихою, но настойчивой жизнью. В милую, грустную тишину падают сиповатые слова:

— Бывало, раскинет руки, распнется...

Рассказ Якова бесстыден, но не противен, в нем нет хвастовства, в нем нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнует, заставляя грустить о чем-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее — Королева Марго и незабвенные своею правдой стихи:

Только песне нужна красота,
Красоте же — и песни не надо...

Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как легкую дремоту, я снова выспрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел.

— Чудак ты,— говорит он,— чего же тебе сказать? Я всё видел. Спроси: монастыри видел? Видел. А трактиры? Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно...

Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому, опасному мосту, он вспоминает:

— Ну, вот, например, сижу я в части, за конокрадство — будет мне Сибирь, думаю! А квартальный — ругается, печи у него дымят в новом доме. Я говорю: это дело я, ваше благородие, могу поправить. Он — на меня: молчать! Тут, бает, самолучший мастер ничего не мог... А я ему: случается, что и пастух умнее генерала — я тогда осмелел очень ко всему, всё едино — впереди Сибирь! Он говорит: валяй, ну, говорит, если еще хуже буде — я те кости в дробь истолку! В двое суток я ему дело наладил — удивляется квартальный, кричит: ах ты, дурак, болван! Ведь ты — мастер, а ты коней крадешь, как это? Я ему баю: это, мол, ваше благородие, просто глупость.— Верно, говорит, глупость, жалко, говорит, мне тебя!

Да. Жалко, дескать. Видал? Полицейский человек, по должности своей безжалостный, а вот пожалел...

— Ну, и что же? — спрашиваю я.

— Ничего. Пожалел. А чего еще?

— Чего ж тебя жалеть, ты вон какой камень!

Яков добродушно смеется:

— Ч-чудак! Камень, говорит, а? А ты и камень сумей пожалеть, камень тоже своему месту служит, камнем улицы мостят. Всякой материал жалеть надо, зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки...

Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня.

— Что ты думаешь о поваре? — спрашиваю я.

— Про Медвежонка-то? — равнодушно говорит Яков.— Что про него думать? Тут думать вовсе нечего.

Это верно. Иван Иванович такой строго правильный, гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нем интересно только одно: он не любит кочегара, всегда ругает его и — всегда приглашает пить чай.

Однажды он сказал ему:

— Кабы стояло крепостное право да был бы я твой барин — я бы те, дармоеда, каждую неделю по семи раз порол!

Яков серьезно заметил:

— Семь разов — многонько!

Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной; грубо сунет ему кусок и скажет:

— Жри!

Яков, не торопясь, жует и говорит:

— Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иваныч!

— А куда тебе, лентяю, сила?

— Как куда? Жить буду долго...

— Да зачем тебе жить? Леший!

— И леший живет. Али, скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иваныч, утешно очень...

— Экой едиот!

— Чего это?

— Е-ди-от.

— Вона какое слово,— удивляется Яков, а Медвежонок говорит мне:

— Вот, сообрази: мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он — на́ вот, жует себе, как боров!

— Всякому своя судьба,— говорит кочегар, пережевывая пищу.

Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты, я несколько раз по ночам пытался «шуровать» вместе с Яковом, и мне странно, что он почему-то не хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то особенное...

Его все ругали — капитан, машинист, боцман — все, кому не лень, и было странно: почему его не рассчитают? Кочегары относились к нему заметно лучше других людей, хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их:

— Яков — хороший человек?

— Яков-то? Ничего. Он — безобидный, с ним что хошь делай, хоть каленые угли за пазуху ему клади...

При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите, кочегар спал очень мало — сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на корме, беседуя с пассажирами или играя в карты.

Он стоял предо мною, как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его.

— Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять? — справлялся он, разглядывая меня невидимыми из-под бровей глазами.— Ну, земля, ну, действительно, что обошел я ее много, а еще что? Ч-чудак! Я те, вот лучше послушай, расскажу, что однова со мной было.

И рассказывает: жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у него — немка, здоровая, бездетная. И влюбилась немка в краснорядца-купца; купец — женатый, жена — красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в него, и затеял посмеяться над нею: позвал ее к себе в сад ночью,

а сам пригласил двоих приятелей и спрятал их в саду, в кустах.

— Чудесно! Ну, пришла немка, то да се, я — вот она, дескать, вся тут! А он ей говорит: я тебе, барыня, не могу отвечать, я — женатый, а вот припас я для тебя двух приятелев, так они — один вдов, другой холост. Немка — ах! — да как хлобыснет его по харе, он — опрокинулся через скамью, а она его, в морду-то, башмаком да каблуком! А я ее провожал, — я дворником был у судьи; гляжу в щель, сквозь забор — вижу, кипит похлебка. Тут выскочили приятели на нее да — за косы, а я перемахнул через забор, растолкал их, этак, баю, нельзя, господа купцы! Барыня к нему со всей душой, а он придумал срамно. Увел ее, а они мне кирпичом голову прошибли... Затосковала она, ходит по двору сама не своя и говорит мне: «Уеду я к своим, к немцам, Яков, как только муж помрет,— уеду!» Я говорю: «Конешно, надо уезжать!» Помер судья, и уехала она. Ласковая была, разумная такая. И судья тоже ласковый был, упокой господи...

Недоумевая, не понимая смысла этой истории, я молчу. Чувствую в этом что-то знакомое, безжалостное, нелепое, но — что сказать?

— Хороша история? — спрашивает Яков.

Я что-то говорю, возмущенно ругаюсь, но он спокойно объясняет:

— Люди сытые, всем довольны; ну, иной раз хочется пошутить, а не выходит у них шутка, не умеют будто. Люди серьезные, торговые, конешно. Торговля требует немалого ума; умом жить, поди-ка, скушно, вот и захочется побаловать.

За кормою, вся в пене, быстро мчится река, слышно кипение бегущей воды, черный берег медленно провожает ее. На палубе храпят пассажиры, между скамей — между сонных тел — тихо двигается, приближаясь к нам, высокая сухая женщина в черном платье, с открытой седой головою,— кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько:

— Гляди — тоскует...

И мне кажется, что чужая тоска забавляет его.

Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо

помню все его рассказы, но не помню ни одного веселого. Он говорил более спокойно, чем книги,— в книгах я часто слышал чувство писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, не осуждал, ничто не обижало его и не радовало заметно; он говорил, как равнодушный свидетель перед судьей, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители, судьи... Это равнодушие вызывало у меня всё более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову.

Жизнь горела перед ним, как огонь в топке под котлами, он стоял перед топкой с деревянным молотком в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки, убавляя или прибавляя топлива.

— Обижали тебя?

— Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам раза!..

— Я не про побои, а душу — обижали?

— Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает,— говорит он.— Души человеческой никак не коснешься, ничем...

Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа — десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно или ласково, поганя душу,— это бьет меня по сердцу.

Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:

— Что, моя милая, что, моя чистая,— настрадалась, намаялась?

И дает душе серафимовы крылья — шесть белых крылий.

Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие,

молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его, что такое душа,— он отвечает:

— Дух, дыхание божие...

Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

— О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое...

Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме его, я ничего не вижу, он всё заслоняет от меня своей широкой фигурой.

Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица,— утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и — мне противно. А буфетчица всё говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.

Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем,— это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь — я живу далеко от буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я — за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.

— Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна,— как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши.— Разевай рот, лови счастье...

Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:

— Всего баба покушала — пирожного захотела, безе! Н-народ... Гляди, Пешкóв, в оба, а зри — в три...

И Яков тоже внушает мне отечески деловито:

— Конешно, ежели бы ты был лета на два старше, ну — я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах,— лучше, пожалуй, не сдавайся! А то — как хошь...

— Брось,— говорю я,— пакость это...

Он соглашается:

— Конешно...

Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:

— Ну, тоже и ее дело надо понять,— это дело — скудное, дело зимнее... И собака любит, когда ее гладят, того боле — человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей, поди, самой стыдно, а — что делать? Тело просит холи и — ничего боле...

Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:

— Тебе — жалко ее?

— Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты... чудак!

Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.

Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.

— Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?

— А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто... Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня — земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да — колом его по голове. Кровь пролил. Его за это — в острог на полтора года, а из острога — одна дорога,— опять в острог. А жена его утешная молодуха была... да что говорить! Женился — значит сиди около своей конуры хозяином, а солдат — не хозяин своей жизни.

— Ты богу молишься?

— Ч-чудак! Конешно, молюсь...

— А как?

— Всяко.

— Ты какие молитвы читаешь?

— Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: господи Исусе, живого — помилуй, мертвого — упокой, спаси, господи, от болезни... Ну, еще что-нибудь скажу...

— Что?

— А так! Ему — что ни скажи, всё дойдет!

Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные

штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком,— он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:

— Ну-кося, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!

Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:

— Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его...

— Не тот, того давно убили!

— За што?

Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:

— Из-за баб очень достаточно пропадает народа...

Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна; Людовик XI — черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу,— он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такою, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя

какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да — если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция — прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и Д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».

— Хороший человек был Хенрик-король — с ним хоть ершей ловить, хоть что хошь,— говорил он.

Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным,— старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:

— Конец?

— Нет еще.

— А ты не останавливайся!

О французах он говорил, вздыхая:

— Прохладно живут...

— Как это?

— А вот мы с тобой в жаре живем, в работе, а они — в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют,— утешная жизнь!

— Они и работают.

— Не видать этого по историям-то по твоим,— справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.

— Ну-кось, посплю я немножко,— говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.

Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть,— Яков неожиданно ушел с парохода. Еще накануне этого он говорил мне:

— Послезавтрея прибудем мы с тобой, ероха-воха, в Пермь, сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттолева — засядем в трактире с музыкой,— утешно! Люблю я глядеть, как машина играет.

Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина, с дряблым бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками лисьего меха еще более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить желтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея.

Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось, что, когда этот человек вытрет клетчатым платком пот с лица, дождь идет тише, а по мере того, как человек снова потеет,— и дождь становится сильнее.

Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре,— пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:

— Что ж! Ничего. Это мне — наплевать...

— И хорошо,— тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай.

Перед тем, как Яков пошел на вахту, я спросил его, что́ это за человек. Он ответил, усмехаясь:

— Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, дале-еко! Забавный, по планту живет...

Он пошел прочь от меня, ступая по палубе черными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок.

— Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом — по реке да на лошадях

еще, — пять недель будто ехать надо, вона, куда человек забился...

— Ты его знаешь? — спросил я, удивленный неожиданным решением Якова.

— Отколе? И не видывал николи, я в его местах не жил ведь...

Наутро Яков, одетый в короткий сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:

— Вали со мной, а? Он возьмет и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь — скажу? Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это — праздник, человека изуродовать, они за это наградят...

Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мертвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар еще раз тиснул мою ладонь.

— Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам — что? Ну, прощай! Живи на счастье!

И ушел Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моем нелегкое, сложное чувство,— было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошел человек неведомо куда?

И — что же это за человек, Яков Шумов?

XII

Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

— Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учись!

И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице

Ильинке на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник старовер-ческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце — сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.

Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю — прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом — торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.

— Покупатель — дурак,— уверенно говорил мне приказчик.— Ему всё едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!

Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

— Мстёрской работы — товар дешевый, три вершка на четыре — себе стоит... шесть вершков на семь — себе стоит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий — от запоя; Варвара Великомученица — от зубной боли, нечаянныя смерти; Василий Блаженный — от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене, мати, Утоли моя печали, Казанская, Дейсус, Покрова, Семистрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.

Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:

— Трудных родов разрешитель — кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

— Для чего у тебя голова?

Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились мне, продавать их

было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такою она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.

В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё — старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно,— становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь:

— Чтó вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы — пожалуйте, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

— Упустил, тор-рговец...

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:

— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а — божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены...

— Ч-чёрт!— шепчет мой приказчик с завистью и восхищением.— Здорово заливает глаза мужику! Учись! Учись!

Я учился добросовестно,— всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле,— эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс,

всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтырь — книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:

— Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то — Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа.

— Съел? — ехидно спросил меня приказчик.

— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина...

Он начал ругаться:

— Шляются вот эдакие тихони и всё знают, анафемы, всё понимают, старые псы...

Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:

— Я — умный, я чистоту люблю, хорошие запахи — ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем...

Он огорченно умолкал.

Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове.

Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и стараясь не задевать глазами неосвященных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет:

— Дай-кось Псалтирь толковую!

Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.

— Подревнее — нет?

— Древние—тысячи целковых стоят, как вы знаете...

— Знаем.

Помуслив палец, мужик перевертывает страницу,— там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:

— Священное писание всё одной древности, господь слова своего не изменял...

— Знаем, слыхали! Господь не изменял, да Никон изменил.

И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.

Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.

— Язычники болотные,— ворчал приказчик.

Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга — чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам; всё это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой, тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и всё время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику.

— В чем дела-то выпачканы у вас? — спрашивал старик.

— Вот икона продается, принес человек, говорит — строгановская.

— Чего?

— Строгановская.

— Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо мое от мерзости словес никонианских...

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза, и мурлычет:

— Безбожники никониане, любовь нашу к древнему благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно фальшам разным, ныне и святые образа подделывают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то — суздальских, ну, а вглядись оком внутренним — фальша!

Если он говорит «фальша», значит — икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уныние и скорбь» значат — десять рублей, «Никон-тигр» — двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.

— Никониане-то, черные дети Никона-тигра, всё могут сделать, бесом руководимы,— вот и левкас будто настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди,— не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков,— хоть он еретик был,— сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас

наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне — художество одно, так-то, боговы!

Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

— Грехи.

Это значит — покупай!

Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

— Как же, почтенный, икона-то?

— Икона — никонианской руки.

— Быть того не может! На нее деды, прадеды молились...

— Никон-от пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

— Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это — картина, слепое художество, никонианская забава,— в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я — человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить — расчета нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

— Гляди: икона — строгая, писана тонко, со страхом божиим, человечье — отринуто в ней...

— А чье письмо? — спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

— Это тебе рано знать.

— А сколько дадут знатоки?

— Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...

— Ох, Петр Васильич...

— А если продам — тебе полсотни, а что сверх того — мое!

— Ох...

— Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на

друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдет, он скажет мне:

— Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!

Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:

— А что новенького в городе, Петр Васильич?

Расправив бороду желтой рукой, обнажив масленые губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов: о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и восторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:

— Живут люди! А я вот...

— У всякого своя судьба,— гудит басок начетчика.— Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому — бес обухом топора...

Этот крепкий, жилистый старик всё знает — всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему ближе — куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шумову.

Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.

— А ведь обманщик ты для людей,— вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.

Старик, лениво усмехаясь, отзывается:

— Один господь без обмана, а мы — в дураках живем; ежели дурака не обмануть — какая от него польза?

Приказчик горячится:

— Не все же мужики — дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!

— Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак — свят, в нем мозги спят...

Старик говорит всё более лениво. и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг

него — трясина. Рассердить его нельзя, он недосягаем гневу или умеет глубоко прятать его.

Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне,— подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:

— Как ты французского-то сочинителя зовешь — Понос?

Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:

— Понсон де Террайль.

— Где теряет?

— А вы не дурите, вы не маленький.

— Верно, не маленький. Ты чего читаешь?

— Ефрема Сирина.

— А кто лучше пишет: гражданские твои али этот?

Я молчу.

— Гражданские-то о чем больше пишут? — не отстает он.

— Обо всем, что в жизни случается.

— Стало быть, о собаках, о лошадях,— это они случаются.

Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно, но, если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит:

— Куда?

А старик пытает меня:

— Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между ними Адам, Ева — как ты найдешь Адам-Еву?

Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет:

— Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит — у них пупков нет!

Старик знает бесчисленное множество таких «задач», он может замучить ими.

Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною, теперь эти рассказы обратились во зло мне: приказчик передавал их Петру Васильеву, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами; их липкие языки забра-

сывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV.

Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое — чужое, непонятное и смешное им.

Весь Гостиный двор, всё население его, купцы и приказчики жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление,— это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали.

Было много подобных развлечений, казалось, что все люди — деревенские в особенности — существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом.

Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.

Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:

— Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!

Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:

— Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.

— Только — чтобы чистого мяса дать, без костей!

Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.

— Батман окорока сожрешь?

— В какое время-с? — тонким голосом деловито спрашивает Мишка.

— В два часа.

— Трудно-с!

— Чего там — трудно!

— Позвольте парочку пива-с!

— Валяй,— говорит хозяин и хвастается:— Вы не думайте, что он натощак, нет, он поутру фунта два калача смял да в полдень обедал, как полагается...

Приносят ветчину, собираются зрители, всё матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых онухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.

Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.

Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту,— губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы,— и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.

— Начал!

— Глядите на часы!

Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей;

смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:

— Чисто — медведь мнет!

— А ты видал медведя за едой?

— Али я в лесу живу? Это говорится так — жрет, как медведь.

— Говорится — как свинья.

— Свинья свинью не ест...

Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:

— Свинья всё жрет — и поросят и свою сестру...

Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжко, но его подбородок двигается всё так же равномерно.

— Навались, Михайло, время! — поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, всё чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:

— Не перевел бы часы-то он назад — возьмите у него!

— За Мишкой следи: не спускал бы в рукава кусков!

— Не сожрет в срок!

Мишкин хозяин задорно кричит:

— Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!

Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.

А Мишка всё жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:

«Помилуйте...»

Или — заглотается мясом по горло, ткнется головою в ноги зрителям и умрет.

Наконец он всё съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:

— Испить дайте...

А его хозяин, глядя на часы, ворчит:

— Опоздал, подлец, на четыре минуты...

Публика дразнит его:

— Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!
— А все-таки зверь-парень!
— Н-да, его бы в цирк...
— Ведь как господь может изуродовать человека, а?
— Айдате чай пить, что ли?

И плывут, как баржи, в трактир.

Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых, чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их?

Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валяным сапогом, шорным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича; неуклюже толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжкой сетью своих уродливых узоров.

По панели не спеша идут пешеходы; по улице не торопясь двигаются извозчики, сани с товаром; за улицей, в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок,— площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным, истоптанным снегом.

Всё это, вместе с людями, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь, что эта жизнь — почти беззвучна, до немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя, они однообразны, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их.

Похоронно гудят колокола церквей,— этот унылый звон всегда в памяти уха; кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений.

Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низ-

кое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.

Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой, жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок.

Зимою торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся — спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу: мы — живы!

Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.

Иногда я беседую об этом с Петром Васильевым. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно.

— Не нравится мне, как живут купцы,— говорю я.

Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает:

— А откуда бы тебе знать, как они живут? Али ты в гости часто ходишь к ним? Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то — прошел по ней скоренько да и — опять домой! На улицу люди выходят одетые, а под одежей не знать, каковы они есть; открыто человек живет у себя дома, в своих четырех стенах, а как он там живет — это тебе неизвестно!

— Да ведь мысли-то у него одни, что здесь, что дома?

— А кто может знать, какие у соседа мысли? —

строго округляя глаза, говорит старик веским баском.— Мысли — как вши, их не сочтеши,— сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падет на колени да и заплачет, бога умоляя: «Прости, господи, согрешил во святой день твой!» Может, дом-от для него— монастырь и живет он там только с богом одним? Так-то вот! Каждый паучок знай свой уголок, плети паутину да умей понять свой вес, чтобы выдержала тебя...

Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны.

— Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе — рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами! Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум — для дела, а для души — вера! Что книги читаешь — это хорошо, а во всем надо знать меру: некоторые зачитываются и до безумства и до безбожия...

Он казался мне бессмертным,— трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках и фальшивомонетчиках, которые становились именитыми людями; я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начетчика. Но смысл рассказов был одинаков: богатство всегда добывалось грехом против людей и бога. Петр Васильев людей не жалел, а о боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза.

— Так вот и обманывают бога-то, а он, батюшко Исус, всё видит и плачет: люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован!

Раз я осмелился напомнить ему:

— Ведь вы тоже обманываете мужиков...

Это его не обидело.

— Велико ли мое дело? — сказал он.— Слизну трешницу, пятишницу — вот и вся недолга.

Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивал о прочитанном и, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику:

— Ты гляди-ко,— понимает книги-то, шельмец!

И толково, памятно поучал:

— Слушай слова мои, это тебе годится! Кириллов — двое было, оба — епископы; один — александрийской,

другой — ерусалимской. Первый ратоборствовал супроти окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что-де богородица — человек есть, а посему — не имела бога родить, но родила человека же, именем и делами Христа, сиречь — спасителя миру; стало быть, надо ее называть не богородица, а христородица,— понял? Это названо — ересь! Ерусалимской же Кирилл боролся против Ария-еретика...

Меня очень восхищало его знание церковной истории, а он, потрепывая бороду холеной поповской рукой, хвастался:

— Я на этом деле — генерал; я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными никонианами, попами и светскими; я, малый, даже с профессорами беседы водил, да! Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажно кровь носом пошла,— вот как!

Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветали.

Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в златом венце славы своей и рассказывал об этом сладострастно:

— Кра-асивый попище, здоровенный! Стоит он пред аналоем, а из носу-то кап, кап! И не видит сраму своего. Лют был поп, аки лев пустынный, голосище — колокол! А я его тихонько, да всё в душу, да между ребер ей словами-то своими, как шильями!.. Он же прямо, как печь жаркая, накаляется злобой еретической... Эх, бывали дела-а!

Нередко приходили еще начетчики: Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий; Лукиян, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернобородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадильницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов — старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно

вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны никонианской церкви: там — сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут — полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова — полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь,— слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал всё плохое, что видел в этих учителях жизни, чувствовал только их спокойное упорство, за которым — мне казалось — скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство — пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, неспособна развиваться в направлении к будущему и, когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они не без удовольствия и с великим самолюбованием готовы пострадать,— это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду,— промасленная всякой грязью, она только поэтому малодоступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжелой оболочке

предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке — одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, всё новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры — фосфорический блеск гниения.

Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности,— они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами; все они жили осторожно, все прятались.

Однако я видел, что, жалуясь на «утеснение духа» никонианами, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга.

Кривой Пахомий, выпивши, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью,— некоторые книги он знал «с пальца»,— как еврей-ешиботник знает Талмуд,— ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть, мягоньким гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегает по полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышецкого «Виноград Российский»,— он особенно хорошо знал «многотерпеливые и многомужественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев», а Петр Васильев всё старался поймать его на ошибках.

— Врешь! Это не с Киприаном Благоюродивым было, а с Денисом Целомудрым.

— Какой еще Денис? Дионисий речется...

— Ты за слово не цепляйся!

— А ты меня не учи!

Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят:

— Чревоугодник ты, бесстыжая рожа, вон какое чрево наел...

Пахомий отвечает, точно на счетах считая:

— А ты — любострастник, козел, бабий прихвостень.

Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек:

— Та-ак его! А ну-ка, еще!

Однажды старцы подрались. Петр Васильев, с неожиданной ловкостью отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство и, устало отирая пот с лица, крикнул вслед бегущему:

— Смотри — это на тебя грех ляжет! Ты, окаянный, длань мою во грех-то ввел, тьфу тебе!

Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостаточно тверды верой и все впадают в «нетовщину».

— Это всё Алексаша вас смущает,— какой ведь петух запел!

Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его, но на вопрос: в чем суть этого учения? — он отвечал не очень вразумительно:

— Нетовщина — еретичество самое горькое, в нем — один разум, а бога нет! Вон в козаках, чу, ничего уж и не почитают, окромя Библии, а Библия — это от немцев саратовских, от Лютора, о коем сказано: «имя себе прилично сочета: воистину бо — Лютор, иже лют глаголется, люте бо, любо люто!» Называются нетовцы шалопутами, а также штундой, и всё это — от Запада, от тамошних еретиков.

Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско:

— Вот кого новообрядствующей-то церкви надо гнать, вот кого зорить да жечь! А не нас, мы — искони Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера, а это всё — Запад, искаженное вольнодумство! От немцев, от французов — какое добро? Вон они в двенадцатом-то году...

Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка, крепкой рукою брал меня за кушак и, то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо:

— Блуждает разум человеч в дебрях вымыслов своих, подобно лютому волку блуждает он, диаволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, божий дар! Что выдумали, бесовы послушники? Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили: сатана-де суть сын господень, старшой брат Исуса Христа,— вот куда доходили! Учили также: начальство — не слушать, работу — не работать, жен, детей — бросить; ничего-де человеку не надо, никакого порядка, а пускай человек живет как хочет, как ему бес укажет. Вон опять явился Алексашка этот, о, черви...

Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать, я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя:

— О бескрылые души, о котята слепорожденные,— камо бегу от вас?

И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее, серое небо.

Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково; заставая меня за книгой, гладил по плечу и говорил:

— Читай, малый, читай, годится! Умишко у тебя будто есть; жаль — старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб, ты думаешь — это озорство куда тебя приведет? Это, малый, приведет тебя не куда иначе, как в арестантские роты. Книги — читай, однако помни — книга книгой, а своим мозгом двигай! Вон у хлыстов был наставник Данило, так он дошел до мысли, что-де ни старые, ни новые книги не нужны, собрал их в куль да — в воду! Да... Это, конечно, тоже — глупость! Вот и Алексаша, песья голова, мутит...

Он всё чаще вспоминал про этого Алексашу и однажды, придя в лавку озабоченный, суровый, объявил приказчику:

— Александра Васильев здесь, в городе, вчера прибыл! Искал, искал его — не нашел. Скрывается! Посижу, поди-ка заглянет сюда...

Приказчик недружелюбно отозвался:

— Я ничего не знаю, никого!

Кивнув головою, старик сказал:

— Так и следует: для тебя — все люди покупатели да продавцы, а иных нет! Угости-ка чайком...

Когда я принес большой медный чайник кипятку, в лавке оказались гости: старичок Лукиян, весело улыбавшийся, а за дверью, в темном уголке, сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валяные сапоги, подпоясанный зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень удручен этим.

Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил, строго и веско, а он судорожным движением правой руки всё сдвигал шапку: подымет руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом — еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка Игошу Смерть в Кармане.

— Плавают в мутной нашей речке разные налимы и всё больше мутят воду-то,— говорил Петр Васильев.

Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил:

— Это ты — про меня, что ли?

— Хоть бы и про тебя...

Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно:

— Ну, а про себя как ты скажешь, человек?

— Про себя я только богу скажу — это мое дело...

— Нет, человек, и мое тоже,— сказал новый торжественно и сильно.— Не отвращай лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно, это есть великий грех пред богом и людьми!

Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком, и меня волновал его тихий, торжественный

голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «Господи, Владыко живота моего», и всё наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукою пред своим лицом...

— Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе...

— Закипел самовар, зафыркал,— пренебрежительно выговорил старый начетчик, а тот продолжал, не останавливаясь на его словах:

— Только богу известно, кто боле мутит источники духа свята, может, это — ваш грех, книжные, бумажные люди, а я не книжный, не бумажный, я — простой, живой человек...

— Знаю я простоту твою, слыхал довольно!

— Это вы путаете людей, вы ломаете прямые-то мысли, вы, книжники и фарисеи... Я — что говорю, скажи?

— Ересь! — сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью перед лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил:

— Вы думаете: перегнав людей из одного хлева в другой,— лучше сделаете им? А я говорю — нет! Я говорю — освободись, человек! К чему дом, жена и всё твое перед господом? Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга,— от злата, сребра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость! Не на полях земных спасение души, а в долинах райских! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушьте сеть мира сего — это плетение антихристово... Я иду прямым путем, я не виляю душой, темного мира не приемлю...

— А хлеб, воду, одёжу — приемлешь? Это ведь, гляди, мирское! — ехидно сказал старик.

Но и эти слова не коснулись Александра, он продолжал всё более задушевно, и, хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу.

— Что дорого тебе, человек? Только бог един дорог; встань же пред ним — чистый ото всего, сорви путы земные с души твоей, и увидит господь: ты — один, он — один! Так приблизишься господу, это — един путь до него! Вот в чем спасение указано — отца-мать брось, указано, всё брось и даже око, соблазняющее тебя,— вырви! Бога ради истреби себя в вещах и сохрани в духе, и воспылает душа твоя на веки и веки...

— Ну-ко тебя ко псам смердящим,— сказал Петр Васильев, вставая.— Я было думал, что ты с прошлого году-то умнее стал, а ты — хуже того...

Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу; это встревожило Александра, он удивленно и торопливо спросил:

— Уходишь? А... как же?

Но ласковый Лукиян, подмигнув успокоительно, проговорил:

— Ничего... ничего...

Тогда Александр опрокинулся на него:

— Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а — что толку? Ну — трегубая аллилуйя, ну — сугубая...

Лукиян улыбнулся ему и тоже пошел на террасу, а он, обращаясь к приказчику, сказал уверенно:

— Не могут они терпеть духа моего, не могут! Исчезают, яко дым от лица огня...

Приказчик взглянул на него исподлобья и сухо заметил:

— Я в эти дела не вникаю.

Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал:

— Как же можно не вникать? Это дела такие... они требуют, чтобы вникали...

Посидел с минуту молча, опустив голову; потом его позвали старики, и все трое они, не простясь, ушли.

Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи, ярко погорел и угас, заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни.

Вечером, выбрав время, я с жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной, тихому и ласковому Ивану Ларионовичу; он выслушал меня и объяснил:

— Бегун, видно, это есть такие сектари — не признают ничего.

— Как же они живут?

— В бегах живут, всё странствуют по земле, затем и дано им нарицание — бегуны. Земля и всё прилагаемое к ней — чужое для нас, говорят они, а полиция считает их вредными, ловит...

Хотя мне жилось горько, но я не понимал: как это можно бежать ото всего? В жизни, окружавшей меня тою порой, было много интересного, дорогого мне, и скоро Александр Васильев поблек в моей памяти.

Но время от времени, в тяжелые часы, он являлся предо мною: идет полем, по серой дороге, к лесу, толкает шапку судорожным движением белой, нерабочей руки и бормочет:

— Я иду путем правильным, я ничего не приемлю! Связки-те, веревки-те порви...

Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне: с палочкой ореховой в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком...

XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух — в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иными — по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя, Мстёры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно, как смола, течет заунывная владимирская песня:

Какой нынче стал бессовестный народ —
При народе мальчик девочку прельстил...

Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту — чаще других. Ее тягучий мотив не мешает думать, не мешает

водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых тоненькие морщинки страдания. Под окном стучит молоточком чеканщик Гоголев — пьяный старик, с огромным синим носом; в ленивую струю песни непрерывно вторгается сухой стук молотка — словно червь точит дерево.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.

Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда они стоят у стены без лица, рук и ног,— только одни ризы или латы и коротенькие рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, что должно оживить их,— нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло, оставив только свои тяжелые ризы.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, бородка тоже серая, из тонких шёлковых волос, серые глаза как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника — такой же сухой, тощий, и его неподвижные глаза так же отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и стены.

Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко

сцепив зубы, прищурив сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг другу:

— Бей!

Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенцами, он стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений — вскочил на стол и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и сказал мастерам тихо и деловито:

— Вынести его в сени, пусть отрезвеет...

Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке.

— Убить его трудно,— сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.

Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

— Ты, Капендюхин, называешься — живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки — чужие к ним. Да и неверно поставлены — один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:

— Эх, Ив-ан Ларионыч, отец,— не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня — в монахи!

— Усердием всякое дело можно одолеть.

— Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых
Темно-карих лошадей,
Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо — ой, прямо к любушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее.

По привычке — кони знают,
Где су-дарушка живет...

Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведет подголосье.

Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук,— он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай всё!» — все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.

У меня эти песни вызывали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям: «Я люблю вас!»

Чахоточный, желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Веселые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Лександра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской Жихарева, пробовали петь церковное, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце черных курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разны: левый — заметно больше правого.

— Пашка! — кричал он тенором моему товарищу, ученику,— ну-ко, заведи: «Хвалите!» Народ, прислушайся!

Вытирая руки о передник, Пашка заводил:

— «Хва-алите...»

— «...и-имя господне»,— подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:

— Евгений — ниже! Опусти голос в самые недра души...

Ситанов глухо, точно в бочку бьет, взывает:

— «Р-раби господа...»

— Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!

Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении, его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях.

— Рабы господа — понимаешь? — многозначительно говорит он.— Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не понимаете?

— Это у нас никогда не выходит, как вам известно, — вежливо говорит Ситанов.

— Ну, оставим!

Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним,— он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон — Феодоровской, Смоленской, Казанской и других — проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:

— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам — ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству — этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще — невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный.

Вдруг он говорит, четко и обиженно:

— Предтеча — что такое? Течь, по-древнему, значит — идти. Предтеча — предшественник, а — не иное что...

В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:

— Его надо не в овчине писать, а с крыльями...

— Ты — с кем говоришь? — спрашивают его.

Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом — снова падают в ожидающую тишину его слова:

— Жития надо знать, а кто их знает — жития? Что мы знаем? Живем без окрыления... Где — душа?

Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет...

Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки; почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:

— В субботу — запьет...

Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол.

Помню, закончив копию Феодоровской божией матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно:

— Кончена матушка! Яко чаша ты,— чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слезы мира людского...

И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел — в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил:

— Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость — не всем доступна...

Запои Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового; начиналось это так: утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу:

— Я сегодня — в баню!

— Надолго ли?

— Ну, господи...

— Уж, пожалуйста, не позже, как до вторника!

Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали.

Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу:

— К вечеру приберите мастерскую почище; большой стол вымыть, выскоблить!

У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали; после ужина являлся Жихарев, с кульками закусок,

с пивом и вином, а за ним — женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков двенадцати сверх двух аршин, все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов — подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорок лет, но круглое, неподвижное лицо ее, с огромными глазами лошади, свежо и гладко, маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую теплую ладонь и говорила ненужные слова:

— Здравствуйте. Морозно сегодня. Как у вас густо пахнет. Это краской пахнет. Здравствуйте.

Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно, но в речах ее — что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем, как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки.

Молодежь, ухмыляясь, шепчется:

— Вот так машина!

— Колокольня!

Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол, к самовару, и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз.

Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее,— смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гостье, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко.

— Да вы не беспокойтесь,— сладко тянет она,— какой вы беспокойный, право!

Сама она живет не спеша, руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба.

Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины — точно дьячок акафист читает, она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах — она говорит о себе:

— А в девицах мы вовсе некрасивой были, это всё от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались, один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали...

Капендюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает:

— Это — за что же обещал?

— За любовь нашу, конешно,— объясняет гостья.

— Любовь,— бормочет Капендюхин, смущаясь,— какая там любовь?

— Вы, такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь,— говорит женщина просто.

Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капендюхину:

— Дура, коли не хуже! Эдакую можно любить только от великой тоски, как всем известно...

Он бледнеет от вина, на висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, отирает слезы с глаз пальцами и спрашивает:

— Деток у тебя сколько было?

— Дитя у нас было одно...

Над столом висит лампа, за углом печи — другая. Они дают мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на месте рук и голов, чудится жуткое,— больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стеклянные шары подняты к самому потолку, висят там на крючках, в облаке дыма, и синевато поблескивают.

Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая, его лысый череп склоняется то к тому, то к другому, тонкие пальцы всё время играют. Он похудел, хищный нос его стал острее; когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа.

— Пейте, ешьте, друзья,— говорит он звонким тенором.

А женщина поет хозяйственно:

— Что́ вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя

рука, свой аппетит; больше того, сколько хочется,— никто не может съесть!

— Отдыхай, народ! — возбужденно кричит Жихарев.— Друзья мои, все мы — рабы божьи, давайте споем «Хвалите имя»...

Песнопение не удается; все уже размякли, опьянев от еды и водки. В руках Капендюхина — двухрядная гармония, молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики.

— Р-русскую! — командует Жихарев.— Кумушка, пожалуйте!

— Ах,— вздыхает женщина, вставая,— как вы беспокоитесь!

Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове.

Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий; это неприятно слышать: точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену.

Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами, притопывает каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом и всё не в такт разымчивой музыке. Ноги у него — точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети,— это невесело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым, и — сурово хмурится; вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а открыв их,— стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно:

— Устанете вы, куманек!

Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, объемом в трехкопеечную монету, не закрываются, и

ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение.

Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бок — это делает ее похожею на огромный кувшин.

А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо,— кажется, что пляшет не один, а десять человек, все разные: один — тихий, покорный; другой — сердитый, пугающий; третий — сам чего-то боится и, тихонько охая, хочет незаметно уйти от большой неприятной женщины. Вот явился еще один — оскалил зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние, будит нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах.

В памяти тихие слова Сидорова:

«В этом деле все — врут, это уж такое дело — стыдно всем, никто никого не любит, а просто — баловство...»

Я не хочу верить, что «все врут в этом деле»,— как же тогда Королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил «гулящую» девицу, а она заразила его постыдной болезнью, но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно.

Большая женщина всё качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком; Жихарев судорожно прыгает вокруг ее, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней.

Безликие иконы смотрят с темных стен, к стеклам окон прижалась темная ночь. Лампы горят тускло в духоте мастерской; прислушаешься, и — среди тяжелого топота, в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями.

Как всё это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах! Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало

скучно. Капендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит:

— Делай! С дымом!

Он пляшет, как Ванька Цыган,— точно по воздуху летает; потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин; чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет плохо дубленной кожей.

Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он — веселится, и все точно экзамен сдают друг другу,— экзамен на ловкость и неутомимость.

Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого:

— Разве можно любить такую женщину, а?

Кажется, что он сейчас заплачет.

Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему:

— Женщина как женщина,— чего тебе надо?

Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой.

— Ушли? — спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза — ясные и добрые.

Ситанов относится ко мне дружески,— этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять — кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать,— все крестятся, ложась спать — молятся, ходят в церковь по праздникам.

Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.

— Бога нет,— говорит он.

— Откуда же всё?

— Не знаю...

Когда я спросил его: как же это — бога нет? — он объяснил:

— Видишь ли: Бог — Высота!

И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал:

— Человек — Низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию божию», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?

Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана; я вспоминаю вятского солдатика Ермохина, сестру бабушки,— что в них богоподобного?

— Люди — свиньи, как это известно,— говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:

— Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!

С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:

— Не знаю, об этом не думал!

Это — тоже необыкновенно: до встречи с ним я видел только людей, которые всё знали, обо всем говорили.

Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гавриллиаду», списанную в его тетрадке...

— Пушкин — что? Просто — шутник, а вот Бенедиктов — это, Максимыч, стоит внимания!

И, закрыв глаза, тихонько читал:

Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь...

И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:

Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти — и в сердце заглянуть...

— Понимаешь?

Мне очень неловко было сознаться, что — не понимаю я, чему он радуется.

XIV

Мои обязанности в мастерской были несложны: утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков. затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место — рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

— Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуе, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

— А русских много там? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь — за Уралом.

— Судаков-то уральских и осетров откуда привозят,— с Каспийского моря? Значит — Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия — за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку — правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицинского, «Иван Выжигин» Булгарина, томик барона Брамбеуса; я прочитал всё это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал:

— Чтение отметает ссоры и шум — это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары — белые, холодные звезды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, приникшие к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки не похоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

— С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят и первый раз окна на волю откроют,— сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрялся и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом — в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

— Тише, братцы,— сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг

стола, тесно прислонившись друг ко другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

— Читай, читай,— сказал Жихарев, наклоняя мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув под мышку себе, объявил:

— Это надо еще раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

— Вот это — житие, рабы божии... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

— Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о Демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

— Это всё правда! — утверждал он.— Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конешно, Демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять — бросили работу очень дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Ситанов сказал:

Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил...

— этого не выдумаешь!

— Я никаких слов не помню,— заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде.— Ничего не помню, а его — вижу! Удивительно это — человек заставил чёрта пожалеть? Ведь жалко его, а?

— Жалко,— согласился Ситанов.

— Вот что значит — человек! — памятно воскликнул Жихарев.

В сенях он предупредил меня:

— Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конешно, запрещенная!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

— Ну-ка, еще раз прочитай это! Пореже, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

— Это — житие! Ах, Демон, Демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

— Спишу себе в тетрадь...

Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

— Живем, как слепые щенята, что к чему — не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господа? Иов — раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал: Мой-сей, значит — богов человек. А мы — чьи?..

Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:

— Идешь в трактир?

— Я к своей пойду,— тихо ответил Ситанов.

Когда они ушли, я лег у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.

— Ты что?

— Жалко мне всех до смерти,— сказал он,— я ведь четвертый год с ними живу, всех знаю...

Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шёпотом беседуя о них, находя в каждом добрые, хорошие черты и во всех что-то, что еще более усугубляло нашу ребячью жалость.

Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его ненадолго хватило, к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей бестолково погибли на моем веку! Все люди изнашиваются и — погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...

Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня; бойкий, умненький и честный, он был даровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми. Ситанова — печальным куликом на одной ноге, Жихарева — петухом, с оторванным гребнем, без перьев на темени, больного Давидова — жуткой пигалицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого темного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи на зерна чечевицы и стояли поперек глаз,— это давало лицу живое и очень гнусное выражение.

Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызвала неприятное впечатление, и художнику строго советовали:

— Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибет тебя!

Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив, неугасимо зол и ябедничал на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.

Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни

минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:

— Попадет вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!

Кузька-жучок — это прозвище приказчика, данное ему мастерской.

Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был все-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; изобьет, а потом пожалуется хозяйке.

Она — тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, веселая — старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:

— Опять вы, беси, озорничаете? Он — старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина — фотогену налил?

— Это мы...

Хозяйка удивлялась:

— А, батюшки, да они еще и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!

Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:

— Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и — такое озорство, а? Гляди, брат!

Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало, напьется сладких наливок, сядет у окна и поет:

Никто меня не пожалеёт,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моёй не знаёт,
Кому скажу мою печаль!

И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:

— Ю-у-у...

Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топленого молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги

ее подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплескивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:

— Что ты, лешой? Куда ты?

Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а, отягченная сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.

— Вот,— говорил Ситанов, задумчиво хмурясь,— было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь всё хинью идет, всё в Кузькины лапы направилось! Работали-работали, а всё на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка — ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...

Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приемами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.

В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звезды зимнего неба.

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлебываясь словами, на полатях выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем «рабы божии» Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.

— До чего же мне жалко всех! — шепчет Павел.— Господи!

Эта жалость к людям и меня всё более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь — была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда

всё на земле — дома, деревья — тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжкой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них всё живое, вытаскивая в кабак, к женщинам, которые служили таким же средством забыться, как водка.

В такие вечера — книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полати к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика — хохотала.

Ей особенно нравилась легенда о китайском чёрте Цинги Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного чёрта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — всё остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чёрт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить ее смеяться,— эта легкость неприятно задевала меня.

— Ах, паяцы! — кричали нам.— Ах, супостаты!

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Веселье у нас никогда не живет и не ценится само по себе, а его нарочито поднимают из-под спуда как средство умерить русскую сонную тоску. Подозрительна внутренняя сила веселья, которое живет не само по себе, не потому, что хочет, просто — хочет жить, а является только по вызову печальных дней.

И слишком часто русское веселье неожиданно и неуловимо переходит в жестокую драку. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и всё рвет, грызет, сокрушает...

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбужденный, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии,— уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую мне как будто удавалось поколебать, снова медленно густела и крепла, пригнетая людей.

Серый Ларионыч ласково говорил:

— Ну, и забавник ты, господь с тобой!

— Утешитель,— поддерживал его Жихарев.— Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-ороший паяц!

Изо всей мастерской в театр ходили, на святках и на масленице, только двое — Капендюхин и Ситанов; старшие мастера серьезно советовали им смыть этот грех купаньем в крещенской проруби на иордани. Ситанов особенно часто убеждал меня:

— Брось всё, учись на актера!

И, волнуясь, рассказывал печальную «Жизнь актера Яковлева».

— Вот что может быть!

Он любил рассказывать о королеве Марии Стюарт, называя ее «шельмой», а особенно восхищался «Испанским дворянином».

— Дон Сезар де Базан — это, Максимыч, благороднейший человек! Удивительный!

В нем самом было что-то от «Испанского дворянина»: однажды на площади перед каланчой трое пожарных, забавляясь, били мужика; толпа людей, человек в сорок, смотрела на избиение и похваливала солдат. Ситанов бросился в драку, хлесткими ударами длинных рук посшибал пожарных, поднял мужика и сунул его к людям, крикнув:

— Уведите!

А сам остался, один против троих; пожарный двор был в десятке шагов, солдаты могли позвать помощь и Ситанова избили бы, но, на его счастье, пожарные, испугавшись, убежали во двор.

— Собаки! — крикнул он вслед им.

По воскресеньям молодежь ходила на кулачные бои

к лесным дворам за Петропавловским кладбищем, куда собирались драться против рабочих ассенизационного обоза и мужиков из окрестных деревень. Обоз ставил против города знаменитого бойца — мордвина, великана, с маленькой головой и больными глазами, всегда в слезах. Вытирая слезы грязным рукавом короткого кафтана, он стоял впереди своих, широко расставя ноги, и добродушно вызывал:

— Выходите, что ли, а то — зябко!

Против него с нашей стороны выступал Капендюхин, и всегда мордвин бил его. Но, окровавленный, задыхающийся, казак упрямо твердил:

— Жив быть не хочу, а — одолею мордву!

Это, наконец, стало целью его жизни, он даже отказался пить водку, перед сном вытирал тело снегом, ел много мяса и, развивая мускулы, каждый вечер многократно крестился двухпудовой гирей. Но и это не помогало ему. Тогда он зашил в рукавицы куски свинца и похвастался Ситанову:

— Теперь — конец мордве!

Ситанов строго предупредил его:

— Брось, а то я тебя выдам перед боем!

Капендюхин не поверил ему, но когда пришли на бой, Ситанов вдруг сказал мордвину:

— Отступись, Василий Иваныч, сначала я с Капендюхиным схвачусь!

Казак побагровел и заорал:

— Я с тобой не буду, уйди!

— Будешь,— сказал Ситанов и пошел на него, глядя в лицо казака пригибающим взглядом. Капендюхин затоптался на месте, сорвал рукавицы с рук, сунул их за пазуху и быстро ушел с боя.

И наша и вражья сторона были неприятно удивлены, какой-то почтенный человек сказал Ситанову сердито:

— Это, братец мой, вовсе не закон, чтобы домашние дела на мирском бою решать!

На Ситанова лезли со всех сторон, ругая его, он долго молчал, но наконец сказал почтенному человеку:

— А ежели я убийство отвел?

Почтенный человек сразу догадался и даже снял картуз, говоря:

— Тогда с нашей стороны тебе — благодарность!

— Только ты, дядя, не звони!

— Зачем? Капендюхин — редкий боец, а неудачи злят человека, мы понимаем! А рукавички его теперь смотреть станем перед боем-то.

— Ваше дело!

Когда почтенный человек отошел, наша сторона стала ругать Ситанова:

— Дернуло тебя, оглобля! Побил бы казак-то, а теперь вот мы будем битыми ходить...

Ругали долго, привязчиво, с удовольствием.

Ситанов вздохнул и сказал:

— Эх вы, шантрапа...

И неожиданно для всех вызвал мордвина на единоборство — тот встал в позицию, весело помахивая кулаками и балагуря:

— Побьемся, погреемся...

Несколько человек, схватившись за руки, опрокинулись спинами на тех, кто сзади,— образовался широкий, просторный круг.

Бойцы, зорко присматриваясь друг ко другу, переминались, правые руки вперед, левые — у грудей. Опытные люди тотчас заметили, что у Ситанова рука длиннее, чем у мордвина. Стало тихо, похрустывал снег под ногами бойцов. Кто-то не выдержал напряжения, пробормотал жалобно и жадно:

— Начинали бы уж...

Ситанов замахнулся правой рукой, мордвин приподнял левую для защиты и получил прямой удар под ложечку левой рукою Ситанова, крякнул, отступил и с удовольствием сказал:

— Молодой, а не дурак!

Они начали прыгать друг на друга, с размаха бросая в грудь один другому тяжелые кулаки; через несколько минут и свои и чужие возбужденно кричали:

— Прытче, богомаз! Расписывай его, чекань!

Мордвин был много сильнее Ситанова, но значительно тяжелей его, он не мог бить так быстро и получал два и три удара за один. Но битое тело мордвина, ви-

димо, не очень страдало, он всё ухал, посмеивался и вдруг, тяжким ударом вверх, под мышку — вышиб правую руку Ситанова из плеча.

— Разводи — ничья! — крикнуло сразу несколько голосов, и, сломав круг, люди развели бойцов.

Мордвин добродушно говорил:

— Не велико силен, а ловок, богомаз! Хороший боец будет, это я говорю на весь народ.

Подростки начали общий бой, а я повел Ситанова к фельдшеру-костоправу; его поступок еще больше возвысил его в моих глазах, увеличил симпатию и уважение к нему.

Он был вообще очень правдив, честен и считал это как бы должностью своей, но размашистый Капендюхин ловко подсмеивался над ним:

— Эх, Женя, напоказ живешь! Начистил душу, как самовар перед праздником, и хвастаешься — вот светло блестит! А душа у тебя — медная, и очень скучно с тобой...

Ситанов спокойно молчал, усердно работая или списывая в тетрадку стихи Лермонтова; на это списывание он тратил всё свое свободное время, а когда я предложил ему: «Ведь у вас деньги-то есть, вы бы купили книгу!» — он ответил:

— Нет, лучше списать своей рукой!

Написав страницу красивым мелким почерком, с фигурными росчерками, ожидая, когда высохнут чернила, он тихонько читал:

Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю будешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты...

И говорил, зажмурив глаза:

— Это — правда! Эх, и здорово он правду знает!

Меня очень удивляли отношения Ситанова с Капендюхиным — выпивши, казак всегда лез драться к товарищу, Ситанов долго уговаривал его:

— Отстань! Не лезь...

А потом начинал жестоко бить пьяного, так жестоко, что мастера, относившиеся к междоусобным дракам как

ко зрелищу, ввязывались в эту драку и разводили друзей.

— Не останови Евгенья вовремя — до смерти убьет и себя не пожалеет,— говорили они.

Трезвый, Капендюхин тоже неутомимо издевался над Ситановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчастный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. Ситанов слушал издевки казака молча, безобидно, а иногда даже сам смеялся вместе с Капендюхиным.

Спали они рядом и по ночам долго шёпотом беседовали о чем-то.

Эти беседы не давали мне покоя — хотелось знать, о чем могут дружески говорить люди, так непохожие один на другого? Но, когда я подходил к ним, казак ворчал:

— Тебе чего надо?

А Ситанов точно не видел меня.

Но однажды они позвали меня, и казак спросил:

— Максимыч, ежели бы ты был богат, что бы сделал?

— Книг купил бы.

— А еще?

— Не знаю.

— Эх,— с досадой отвернулся от меня Капендюхин, а Ситанов спокойно сказал:

— Видишь — никто не знает, ни старый, ни малый! Я тебе говорю: и богатство само по себе — ни к чему! Всё требует какого-нибудь приложения...

Я спросил:

— О чем вы говорите?

— Спать неохота, вот и говорим,— ответил казак.

Позднее, прислушавшись к их беседам, я узнал, что они говорят по ночам о том же, о чем люди любят говорить и днем: о боге, правде, счастье, о глупости и хитрости женщин, о жадности богатых и о том, что вся жизнь запутана, непонятна.

Я всегда слушал эти разговоры с жадностью, они меня волновали, мне нравилось, что почти все люди говорят одинаково: жизнь — плоха, надо жить лучше! Но в то же время я видел, что желание жить лучше ни к чему не обязывает, ничего не изменяет в жизни мас-

терской, в отношениях мастеров друг ко другу. Все эти речи, освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то унылую пустоту, и в этой пустоте, точно соринки в воде пруда при ветре, бестолково и раздраженно плавают люди, те самые, которые говорят, что такая толкотня бессмысленна и обижает их.

Рассуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, каялись, хвастались, и, возбуждая злые ссоры из-за пустяков, крепко обижали друг друга. Пытались догадаться о том, что будет с ними после смерти, а у порога мастерской, где стоял ушат для помоев, прогнила половица, из-под пола в эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло холодом, запахом прокисшей земли, от этого мерзли ноги; мы с Павлом затыкали эту дыру сеном и тряпками. Часто говорили о том, что надо переменить половицу, а дыра становилась всё шире, во дни вьюг из нее садило, как из трубы, люди простужались, кашляли. Жестяной вертун форточки отвратительно визжал, его похабно ругали, а когда я его смазал маслом, Жихарев, прислушавшись, сказал:

— Не визжит форточка, и — стало скушней...

Приходя из бани, ложились в пыльные и грязные постели — грязь и скверные запахи вообще никого не возмущали. Было множество дрянных мелочей, которые мешали жить, их можно было легко извести, но никто не делал этого.

Часто говорили:

— Никто людей не жалеет, ни бог, ни сами себя...

Но когда мы, я и Павел, вымыли изъеденного грязью и насекомыми, умирающего Давидова, нас подняли на смех, снимали с себя рубахи, предлагая нам обыскать их, называли банщиками и вообще издевались так, как будто мы сделали что-то позорное и очень смешное.

С Рождества вплоть до великого поста Давидов лежал на полатях, затяжно кашляя, плевал вниз шматками пахучей крови, не попадая в ушат с помоями, кровь шлепалась на пол; по ночам он будил людей бредовыми криками.

Почти каждый день говорили:

— Надо бы его в больницу свезти!

Но сначала у Давидова оказался просроченным паспорт, потом ему стало лучше, а под конец решили:

— Всё равно скоро умрет!

Он и сам обещал:

— Я — скоро!

Он был тихий юморист и тоже всегда старался разогнать злую скуку мастерской шуточками,— свесит вниз темное костлявое лицо и свистящим голосом возглашает:

— Народ, слушай голос вознесенного на полати...

И складно говорил грустную чепуху:

На полатях я живу,
Просыпаюсь рано,
И во сне и наяву
Едят меня тараканы...

— Не унывает! — восхищалась публика.

Иногда я с Павлом забирался к нему,— он шутил натужно:

— Чем потчевать, дорогие гости? Паучка свеженького — не желаете?

Умирал он медленно, и это очень надоело ему; он говорил с искренней досадой:

— Никак не могу помереть, просто беда!

Его бесстрашие перед смертью очень пугало Павла, он будил меня по ночам и шептал:

— Максимыч, кажись, помер он... Вот помрет ночью, а мы будем лежать под ним, ах, господи! Боюсь я покойников...

Или говорил:

— Ну, что жил, зачем? Двадцать лет не минуло, а уж умирает...

Однажды, лунною ночью, он разбудил меня и, глядя испуганно вытаращенными глазами, сказал:

— Слушай!

На полатях хрипел Давидов, торопливо и четко говоря:

— Дай-ко сюда, да-ай...

Потом начал икать.

— Умирает, ей-богу, вот увидишь! — волновался Павел.

Я весь день возил на себе снег со двора в поле, очень устал, мне хотелось спать, но Павел просил меня:

— Не спи, пожалуйста, Христа ради, не спи!

И вдруг, вскочив на колени, неистово закричал:

— Вставайте, Давидов помер!

Кое-кто проснулся, с постелей поднялось несколько фигур, раздались сердитые вопросы.

Капендюхин влез на полати и удивленно сказал:

— В сам-деле умер будто... хоша — тепленький...

Стало тихо. Жихарев перекрестился и, кутаясь в одеяло, сказал:

— Ну что ж, царство ему небесное!

Кто-то предложил:

— В сени бы его вынести...

Капендюхин слез с полатей, поглядел в окно.

— Пускай полежит до утра, он и живой не мешал никому...

Павел, спрятав голову под подушку, рыдал.

А Ситанов — не проснулся.

XV

Таяли снега в поле, таяли зимние облака в небе, падая на землю мокрым снегом и дождем; всё медленнее проходило солнце свой дневной путь, теплее становился воздух, казалось, что пришло уже весеннее веселье, шутливо прячется где-то за городом в полях и скоро хлынет на город. На улицах — рыжая грязь, около панелей бегут ручьи, на проталинах Арестантской площади весело прыгают воробьи. И в людях заметна воробьиная суетливость. Над весенним шумом, почти непрерывно с утра до вечера, течет великопостный звон, покачивая сердце мягкими толчками,— в этом звоне, как в речах старика, скрыто нечто обиженное, кажется, что колокола обо всем говорят с холодным унынием: «Было-о, было это, было-о...»

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия — божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

— Кто ты есть? — говорил он, играя пальцами, приподняв брови.— Не больше как мальчишка, сирота, тринадцати годов от роду, а я — старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабах божьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, неясна была. Он говорил скучно, мастерская посмеивалась над ним, я стоял с иконою в руках, очень тронутый и смущенный, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досадливо крикнул оратору:

— Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели.

Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

— Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня,— вот что хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать — трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково высмеивая мое смущение, еще немножко — и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей. А как раз в это утро в лавке приказчик сказал Петру Васильеву, кивая на меня головой:

— Неприятный мальчишка и ни к чему не способный!

Как всегда, я с утра ушел в лавку, но после полудня приказчик сказал мне:

— Иди домой, свали снег с крыши амбара и набивай погреб...

О том, что я именинник, он не знал; я был уверен, что и никто не знает об этом. Когда кончилась церемония поздравлений в мастерской, я переоделся, убежал на двор и залез на крышу сарая сбрасывать плотный, тяжелый снег, обильный в эту зиму. Но, взволнованный, я позабыл отворить дверь погреба и завалил ее снегом. Соскочив на землю и видя эту ошибку, я тотчас принялся откидывать снег от двери; сырой, он крепко слежался; деревянная лопата с трудом брала его, железной не было, и я сломал лопату как раз в тот мо-

мент, когда в калитке появился приказчик; оправдалась русская пословица: «За радостью горе по пятам ходит».

— Та-ак,— насмешливо сказал приказчик, подходя ко мне.— Эх ты, работник, чёрт бы тебя побрал! Вот хвачу тебя по безумной твоей башке...

Он замахнулся на меня стержнем лопаты, я отодвинулся и сказал сердито:

— Да ведь я не в дворники нанялся к вам...

Он швырнул палкой в ноги мне, я схватил ком снега и угодил ему в лицо; он убежал, фыркая, а я, бросив работу, ушел в мастерскую. Через несколько минут сверху сбежала его невеста, вертлявая девица в прыщах на пустом лице.

— Максимыча наверх!

— Не пойду,— сказал я.

Ларионыч спросил тихо и удивленно:

— Как это — не пойдешь?

Я сообщил ему, в чем дело; озабоченно нахмурившись, он почел наверх, сказав мне вполголоса:

— Экой ты, брат, дерзкой...

Мастерская загудела, поругивая приказчика; Капендюхин сказал:

— Ну, теперь тебя вышибут!

Это меня не пугало. Мои отношения с приказчиком давно уже стали невыносимы,— он ненавидел меня упрямо и всё более остро, я тоже терпеть его не мог, но я хотел понять, почему он так нелепо относится ко мне.

Он разбрасывал по полу лавки серебряные монеты; подметая пол, я находил их и складывал на прилавке в чашку, где лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, что значат эти частые находки, я сказал приказчику:

— Вы напрасно подбрасываете мне деньги!

Он вспыхнул и неосторожно закричал:

— Не смей учить меня, я знаю, что делаю!

Но тотчас поправился:

— Как это — напрасно подбрасываю? Они сами падают...

Он запретил мне читать в лавке книги, сказав:

— Это не твоего ума дело! Что ты — в начетчики метишь, дармоед?

Он не прекращал своих попыток поймать меня двугривенными, и я понимал, что если в то время, как метешь пол, монета закатится в щель — он будет убежден, что я украл ее. Тогда я ему еще раз предложил оставить эту игру, но в тот же день, возвращаясь из трактира с кипятком, я услыхал, как он внушает недавно нанятому приказчику соседа:

— Ты научи его Псалтырь украсть — скоро мы Псалтыри получим, три короба...

Я понял, что речь идет обо мне,— когда я вошел в лавку, они оба смутились, но, и кроме этого признака, у меня были основания подозревать их в дурацком заговоре против меня.

Приказчик соседа уже не в первый раз служил у него; он считался ловким торговцем, но страдал запоем; на время запоя хозяин прогонял его, а потом опять брал к себе этого худосочного и слабосильного человека с хитрыми глазами. Внешне кроткий, покорный каждому жесту хозяина, он всегда улыбался в бородку себе умненькой улыбочкой, любил сказать острое словцо, и от него исходил тот дрянной запах, который свойствен людям с гнилыми зубами, хотя зубы его были белы и крепки.

Однажды он меня страшно удивил: подошел ко мне, ласково улыбаясь, но вдруг сбил с меня шапку и схватил за волосы. Мы стали драться, с галереи он втолкнул меня в лавку и всё старался повалить на большие киоты, стоявшие на полу,— если бы это удалось ему, я перебил бы стекла, поломал резьбу и, вероятно, поцарапал бы дорогие иконы. Он был очень слаб, и мне удалось одолеть его, но тогда, к великому изумлению моему, бородатый мужчина горько заплакал, сидя на полу и вытирая разбитый нос.

А на другое утро, когда наши хозяева ушли куда-то и мы были одни, он дружески сказал мне, растирая пальцем опухоль на переносье и под самым глазом:

— Думаешь — это я по своей воле и охоте навалился на тебя? Я — не дурак, я ведь знал, что ты меня побьешь, я человек слабый, пьющий. Это мне хозяин ве-

лел: дай, говорит, ему выволочку, да постарайся, чтоб он у себя в лавке побольше напортил во время драки, все-таки — убыток им! А сам я — не стал бы, вон ты как мне рожу-то изукрасил...

Я поверил ему, и мне стало жаль его, я знал, что он живет впроголодь, с женщиной, которая колотит его. Но я все-таки спросил его:

— А если тебя заставят отравить человека — отравишь?

— Он заставит,— сказал приказчик тихонько, с жалкой усмешечкой.— Он — может...

Вскоре после этого он спросил меня:

— Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего, баба — лается, стащи, друг, у себя в кладовой какую-нибудь иконку, а я продам ее, а? Стащи? А то — Псалтырь?

Я вспомнил магазин обуви, церковного сторожа, мне подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить Псалтырь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность «Уложения о наказаниях уголовных» очень ясно выдает эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности.

Когда я услышал, как мой приказчик внушает этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтырь,— я испугался. Было ясно, что мой приказчик знает, как я добр за его счет, и что приказчик соседа рассказал ему про икону.

Мерзость доброты на чужой счет и эта дрянная ловушка мне — всё вместе вызывало у меня чувство негодования, отвращения к себе и ко всем. Несколько дней я жестоко мучился, ожидая, когда придут короба с книгами; наконец они пришли, я разбираю их в кладовой, ко мне подходит приказчик соседа и просит дать ему Псалтырь.

Тогда я спрашиваю его:

— А ты сказал моему про икону?

— Сказал,— ответил он унылым голосом.— Я, брат, ничего не могу скрыть...

Это меня ошеломило, я сел на пол и вытаращил на него глаза, а он начал поспешно бормотать, сконфуженный, отчаянно жалкий:

— Видишь ли, твой сам догадался, то есть это мой хозяин догадался и сказал твоему...

Мне показалось, что я пропал,— подсидели меня эти люди, и теперь мне уготовано место в колонии для малолетних преступников! Когда так — всё равно! Уж если тонуть, так на глубоком месте. Я сунул в руки приказчика Псалтырь, он спрятал его под пальто и пошел прочь, но тотчас повернулся, и — Псалтырь упал к моим ногам, а человек зашагал прочь, говоря:

— Не возьму! Пропадешь с тобой...

Я не понял этих слов,— почему со мной пропадешь? Но я был очень доволен тем, что он не взял книги. После этого мой маленький приказчик стал смотреть на меня еще более сердито и подозрительно.

Всё это я вспомнил, когда Лариопыч пошел наверх; он пробыл там недолго и воротился еще более подавленно тихим, чем всегда, а перед ужином, с глазу на глаз, сказал мне:

— Хлопотал, чтоб тебя освободили от лавки, отдали бы в мастерскую. Не вышло это! Кузьма не хочет. Очень ты не по душе ему...

В доме у меня был тоже враг — невеста приказчика, чрезмерно игривая девица; с нею играла вся молодежь мастерской, поджидая ее в сенях, обнимая; она не обижалась на это, а только взвизгивала тихонько, как маленькая собачка. С утра до вечера она жевала, ее карманы всегда были набиты пряниками, лепешками, челюсти неустанно двигались,— смотреть на ее пустое лицо с беспокойными серенькими глазками было неприятно. Мне и Павлу она предлагала загадки, всегда скрывавшие какое-нибудь грубенькое бесстыдство, сообщала нам скороговорки, сливавшиеся в неприличное слово.

Однажды кто-то из пожилых мастеров сказал ей:

— А и бесстыдница ты, девушка!

Она бойко ответила словами зазорной песни:

Коли девушка стыдится,
Она в бабы не годится...

Я в первый раз видел такую девицу, она была противна мне и пугала меня, грубо заигрывая, а видя, что эти заигрывания не сладки для меня, становилась всё назойливее.

Как-то раз, на погребе, когда я с Павлом помогал ей парить кадки из-под кваса и огурцов, она предложила нам:

— Хотите, мальчики, я вас научу целоваться?

— Я умею получше тебя,— ответил ей Павел, смеясь, а я сказал ей, чтобы она шла целоваться к жениху, и сказал это не очень любезно. Она рассердилась.

— Ах, какой грубиян! Барышня с ним любезничает, а он нос воротит; скажите, фря какая!

И добавила, погрозив пальцем:

— Ну, погоди, я тебе это припомню!

Павел тоже сказал ей, поддерживая меня:

— Задаст тебе жених-то, коли узнает про твое озорство.

Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.

— Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, получше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.

И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрел в ней неутомимую ябедницу.

В лавке становилось всё труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не увлекали более споры и беседы начетчиков,— говорили они всё об одном и том же. Только Петр Васильев по-прежнему привлекал меня своим знанием темной человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.

Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах, он, благожелательно выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.

Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он быстро покачнулся ко мне и стал тревожно спрашивать:

— Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой ты какой ведь! Ты дай-кось мне записки-то эти, а?

Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а потом стал сердито шептаться с приказчиком.

Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:

— Ты какие-то записки делаешь — так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются только сыщики.

Я неосторожно спросил:

— А как же Ситанов? Он тоже записывает.

— Тоже? Дурак длинный...

Долго помолчав, он необычно мягко предложил:

— Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже — я тебе полтину дам! Только так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...

Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова больше, побежал впереди меня на коротких ножках.

Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.

— Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит кого-нибудь выкрасть тетради у меня и у тебя. Дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!

Я был убежден в этом и решил уйти, как только бабушка вернется в город,— она всю зиму жила в Балахне, приглашенная кем-то учить девиц плетению кружев. Дед снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шел в тяжелой енотовой шубе, важно и медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он задумчиво проговорил:

— А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!

Отодвинул меня с дороги и всё так же важно и медленно пошел дальше.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который заболевал старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много

доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он работал по красильным мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдет ему новое место. На ее же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного мастерового, который бил ее и выгонял из дома.

Встречаясь с бабушкой, я всё более сознательно восхищался ее душою, но — я уже чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды ей.

— Терпеть надо, Олеша!

Это — всё, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске — обо всем, что меня возмущало.

Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня — я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.

Я тоже делал всё это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.

И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то — не без гордости — скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.

Всё более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это; я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как

мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики.

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:

— Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых мелких гвоздей, они шевелятся там, нагреваются.

Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось:

«Неужели вся жизнь — такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

— Сердит становишься, Максимыч,— говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня.

Ситанов часто спрашивал:

— Ты что?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письмена, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью,— я сердито и настойчиво противился ее насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других,— порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.

Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это — хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные, и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина — единственные забавы в этой жизни.

Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.

Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?

О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху,— она была такая чужая всему, точно я ее видел во сне.

Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим,— я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.

Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.

— Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней — никого нет дороже!

— О чем вы говорите?

— Обо всем, конешно. Она мне — про себя, а я ей — тоже про себя. Ну, целуемся... Только она — честная... Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

— Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер — не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.

Не помню, почему именно — в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные идолы, выставив на солнце крашеные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои села,

а оставшиеся пьянствовали,— гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.

Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папироса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

— А, Пешкóв, Христос воскресе!

Похристосовались, он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и всё вообще — надоело мне и я решил ехать в Персию.

— Брось,— сказал он серьезно.— Какая там, к чёрту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..

Мне нравилось, что он так ухарски швыряется чертями; в нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был — набекрень.

— Куришь? — спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

— Вот что, Пешкóв, иди-ка ты опять ко мне! — предложил он.— Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок—понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб всё было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали,— идет? Жалованье — пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушел, вечером пришел; бабы — мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой и — шабаш!

Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

Когда я сказал в мастерской, что ухожу,— это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.

— Ну, подумай,— укоризненно говорил он,— как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плот-

ники, маляры... Эх ты! Это называется — из дьяконов в пономари...

Жихарев ворчал:

— Рыба ищет — где глубже, добрый молодец — что хуже...

Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны.

— Конечно, надо испробовать и то и это,— говорил Жихарев, желтый с похмелья.— А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь...

— И уж на всю жизнь,— тихо добавил Ларионыч.

Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности,— нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась.

На полатях ворочался пьяный Гоголев и хрипел:

— З-захочу — все в остроге будут! Я — секрет знаю! Кто тут в бога верует? Аха-а...

Как всегда, у стен прислонились безликие недописанные иконы, к потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Всё вокруг так крепко запомнилось, что, и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с полатей голую ногу Гоголева, синюю, как нога утопленника.

Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты; прощаясь, люди точно заупокойную литургию служат.

Жихарев, сдвинув брови, сказал мне:

— А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать — хочешь двугривенный получить за нее?

Книга была моей собственностью,— старик брандмейстер подарил мне ее, мне было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:

— Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга — не для тебя, это такая книга, что с ней недолго и греха нажить...

— Да ее же в магазине продают, я видел!

Но он сугубо убедительно сказал мне:

— Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают...

Так и не отдал мне Лермонтова.

Идя наверх, прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:

— Говорят — уходишь ты?

— Ухожу.

— Кабы не ушел, так бы выгнали,— сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренно.

А пьяненькая хозяйка сказала:

— Прощай, Христос с тобой! Ты — нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят — нехороший ты!

И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:

— Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а — оставил бы, не гнал! А нынче всё пошло по другому, чуть что не так — во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься, к чему прислонишься?

XVI

Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я — на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло, лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.

— Эх, высока нынче вода, чёрт ее возьми! Задержит она работы,— ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.

— Тише! — испуганно кричит он.— На фонарь едем!

Справился с лодкой и ругается:

— Ну и лодку дали, подлецы!..

Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый,

с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо — ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку — надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном,— и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его,— в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.

А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами,— город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.

Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.

Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, всё вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба,—наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.

Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.

Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:

— Это — ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит — нет ли где воров? А нет воров — сам ворует...

Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне. Волга и Ока слились в огромное озеро; вдали, на мох-

натой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь — точно на забытом кладбище.

Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев,— хозяин раздраженно удивляется:

— Этакая подлая лодка!

— Да вы не правьте.

— Как же можно? — ворчит он. — Если в лодке двое, то всегда — один гребет, другой правит. Вот — смотри: Китайские ряды...

Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим...

— Ерунда,— говорит хозяин, указывая на ряды.— Кабы мне дали строить это...

Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.

А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы...

Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит:

— Скушно, Пешкóв! Скушно. Образованных людей — нет, поговорить — не с кем. Захочется похвастать — а перед кем? Нет людей. Всё плотники, каменщики, мужики, жулье...

Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:

— Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво — приятное занятие, а к сигарам — не привык еще! Накуришься, жена ворчит: «Чем это от

тебя пахнет, как от шорника?» Да, брат, живем, ухитряемся... Ну-ка, правь сам...

Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше,— китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.

— Не попал,— без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.

— Ты как насчет девчонок — разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся...

Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.

В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:

Море синее,
Море бурное...

Скука смертельная, должно быть, это синее море...

— Ночей не спал,— говорит хозяин.— Бывало, встану с постели и стою у двери ее, дрожу, как собачонка,— дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я — не боялся, да...

Он говорил задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье — можно надеть еще раз или нет?

— Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: «Иди, дурачок...»

Я много слышал таких рассказов, надоели они мне, хотя в них была приятная черта,— о первой своей «любви» почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а часто так ласково и печально, что я понимал: это было самое лучшее в жизни рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо.

Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно:

— А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тут такого? А не расскажешь! Вот история...

Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я,— в этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то на-

всегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой, холодной воде.

— Первое — не женись рано! — поучает он меня.— Женитьба — это, брат, дело громаднейшей важности! Жить можно где хочешь и как хочешь,— твоя воля! Живи в Персии — магометашкой, в Москве — городовым, горюй, воруй,— всё можно поправить! А жена — это, брат, как погода, ее не поправишь... нет! Это, брат, не сапог — снял да бросил...

Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмурив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал:

— Н-да, брат... Гляди в оба! Положим — ты во все стороны гнешься, а всё прямо стоишь... ну, однако — всякому свой капкан поставлен...

Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой.

— Тише греби,— шепчет хозяин, направляя ружье в кусты.

Застрелив несколько тощих куликов, он командует:

— Едем в Кунавино! Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался...

Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло огромной птицы, всё в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет всё на ней. Всё вокруг движется бодро и надежно, быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов; на плотах крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пыхтит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую встречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика — один в красной рубахе — и поют песню; слов не слышно, но я знаю ее.

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я всё знаю, мне всё близко и всё я могу понять. А город, затопленный сзади меня,— дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.

Досыта насмотревшись на всё, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу,— издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать всё, чего захочешь.

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов,— эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо всё, о чем он кротко благовестит.

Читаю «Бурсу» Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон,— едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мертвые души» я прочитал неохотно; «Записки из мертвого дома» — тоже; «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина» — тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви,— немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь,— этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сестры, подростки; курносый гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах,— это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им — они учатся!

Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня — мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности — очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами — с луковицей.

Семашко говорил мне:

— Какие же это стихи? Это — сапожные гвозди.

Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось — плохо; по гнилой зеленой воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее,— одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завиляла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег,— испуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы!

Грозя мне мокрым кулачком, она кричала:

— Это ты нарочно утопил меня!

И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно.

В общем в городе жилось не очень интересно; старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше; молодая смотрела на меня подозрительно; Викторушка, еще более порыжевший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный.

Чертежной работы у хозяина было много; не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего.

Однажды я пришел с Ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидал забытого мною человека у чайного стола, рядом с хозяином. Он протянул мне руку.

— Здравствуйте...

Я опешил от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце.

— Испугался даже,— крикнул хозяин.

Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице; его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы.

— Ну вот, снова встретились,— сказал он, покашливая.

Я ушел, ослабев, как избитый.

Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения — он называл меня по имени и отчеству, говорил со мною как с равным.

— Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку Лаферм, сотню гильз Викторсон и фунт вареной колбасы...

Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он — чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку:

— У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мяса, то — можно поправиться. Может быть, я поправлюсь.

Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день

покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила:

— Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет!

Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или иное лекарство, но за глаза высмеивали его.

— Дворянин! Крошки, говорит, надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек,— рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила:

— Как же, дворянин! Сюртучишко-то весь протерся, залоснился, а он его всё еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы — ни пылинки!

А хозяин точно утешал их:

— Погодите, звери-курицы, умрет он скоро!..

Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор — тоже поганый гриб, да хоть красив!

Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок,— нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь.

Я стал находить в нем черты Хорошего Дела — человека, незабвенного для меня; его и Королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги, им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим — такой же чужой и нелюбимый человек, как Хорошее Дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина: стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает:

— Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распирать стены...

— Верно, чёрт возьми! — бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил:

— Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя!

Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык.

— По-моему,— кислым голосом говорила она,— вам, Евгений Васильич, вредно так загибать голову.

Он, вежливо улыбаясь, спрашивал:

— Почему же?

— Да... так уж...

Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти.

— Скажите, ногти еще чистит! — волновалась хозяйка.— Умирает, а туда же...

— Эхе-хе! — вздыхал хозяин.— Сколько на вас, звери-курицы, глупости наросло...

— Да ты что это говоришь? — возмущалась супруга.

А старуха по ночам пылко жаловалась богу:

— Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка — опять в стороне...

Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движениям барских рук, его умению как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал:

— Максимов, как по-французски — колено?

— Меня зовут Евгений Васильевич,— спокойно напоминал вотчим.

— Ну, ладно! А — грудь?

За ужином Викторушка командовал матери:

— Ма мер, донне муазанкор [1] солонины!

— Ах ты, французик,— умилялась старуха.

Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни на кого не глядя.

Однажды старший брат сказал младшему:

— Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести...

Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся.

А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу:

— Как тебе не стыдно пакости при мне говорить!

Иногда вотчим приходил ко мне в черные сени; там,

---

[1] Мамаша, дайте мне еще *(искаж. франц.)*.

под лестницей на чердак, я спал; на лестнице, против окна, читал книги.

— Читаете? — спрашивал он, выдыхая дым; в груди у него шипели головни.— Что это?

Я показывал книгу.

— Ах,— говорил он, взглянув на титул,— это я, кажется, читал! Хотите курить?

Курили, поглядывая в окно на грязный двор; он говорил:

— Очень жаль, что вы не можете учиться, у вас, кажется, есть способности...

— Вот я учусь, читаю...

— Этого мало, нужна — школа, система...

Хотелось сказать ему:

«У вас, сударь мой, и школа и система была, а — что толку?»

Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял:

— При наличии характера — школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди...

Не однажды он советовал мне:

— Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас...

— Мне нравятся рабочие.

— А... Чем же?

— Интересно с ними.

— Может быть...

А однажды он сказал:

— Какая, в сущности, дрянь эти наши хозяева, дрянь...

Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него,— он спросил, улыбаясь:

— Вы не так думаете?

— Так.

— Ну да... Я это вижу.

— Хозяин все-таки нравится мне...

— Да, он пожалуй, добрый мужик... Но — смешной.

Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал:

— Вы — не увлекайтесь, в книгах всё очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги — это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди.

Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня.

Как-то раз он спросил меня:

— Вы читали Гончарова?

— «Фрегат „Паллада“».

— Это очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров — самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе — лучшая книга...

О Диккенсе он говорил:

— Это — чепуха, уверяю вас... А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония» — это вы прочитайте! Вы, кажется, любите церковь и всё это, церковное? «Искушение» вам будет полезно...

Он сам принес мне пачку приложений, я прочитал мудрую работу Флобера; она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала; гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею «Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей».

Когда я сознался в этом вотчиму, он спокойно заметил:

— Значит — вам еще рано читать такие вещи! Но — не забывайте об этой книге...

Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью: как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжко пахнет гнилью? Так же, как,

бывало, Хорошее Дело, вотчим неожиданно говорил что-то очень свое:

— Я люблю гончих собак, они — глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы...

Я не без гордости думал:

«Знал бы ты — Королеву Марго!»

— У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми,— сказал он однажды; я записал это в свою тетрадь.

Я ждал этих изречений, как благостыни,— приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, закостеневшим в истертых, однообразных формах.

Вотчим никогда не говорил со мною о матери, даже, кажется, имени ее не произнес никогда; это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему.

Как-то раз я спросил его о боге,— не помню, что именно; он взглянул на меня и очень спокойно сказал:

— Не знаю. Я в бога не верю.

Я вспомнил Ситанова и рассказал о нем, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил всё так же спокойно:

— Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что-то... Я просто — не верю!

— А разве это можно?

— Почему же нельзя? Вот видите — не верю...

Я видел одно — он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти.

Вот — сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий; уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним; говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать,— в нем есть нечто нужное мне или нечто, оттеняющее ненужное для меня. Это — существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей; как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, что скрыто

в его голове, сердце, что я — мне кажется — умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет — порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание, но — оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяющееся — уйдет...

Но это — мысли, а за ними лежит то невыразимое словом, что родит и питает их, что, властно понуждая всматриваться в явления жизни, от каждого из них требует ответа — зачем?

— Кажется, я скоро лягу, знаете,— сказал вотчим однажды, в дождливый день.— Такая глупая слабость! И ничего не хочется...

На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола и с колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него исподлобья, говорила снохе шёпотом:

— Гляди — ощипывается, чистится...

Дня через два он не пришел работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря:

— На-ко, вчера еще бабенка принесла, о́полдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а уж как она тебе приходится — не знаю, право!

В конверте, на листе бумаги с бланком больницы, было написано крупными буквами:

«Будете иметь свободный час — придите повидаться. Я в Мартыновской. Е. М.»

На другой день, утром, я сидел в больничной палате, на койке вотчима; он был длиннее койки, и ноги его, в серых, сбившихся носках, торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в темном гладком платье; по ее овальному лицу медленно стекали слезы; мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот.

— Священника бы,— шептала она,— а он не велит... не понимает ничего...

И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь.

На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку.

— Вы? Спасибо. Вот, видите... Чувствую очень глупо... себя...

Это его утомило, он закрыл глаза; я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями, девушка тихо попросила:

— Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста!

— Вот — познакомьтесь,— проговорил он, указав на нее глазами.— Милый человек...

Замолчал, всё шире открывая рот, и вдруг вскрикнул хрипло, точно ворон; завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками; девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку.

Умер вотчим быстро; умер и тотчас похорошел.

Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок; поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок всё туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее ее.

Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком:

— И до зимы не дожил... Ах, господи, господи, что же это такое?

Потом протянула мне руку, мокрую от слез.

— Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить — завтра.

— Проводить вас до дому?

Она оглянулась.

— Зачем же? Теперь — день, не ночь.

Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей,— шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться.

Был август, уже с деревьев падал лист.

У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку...

XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятною речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

— Рано для тебя, наша работа — нелегкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой головою, спросил:

— Али не ладно живется? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда — стерпишь!

Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки,— начинался расчет за неделю.

Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а они — его; иногда крепко ссорились, но чаще — дружно смеялись.

— Эх, милый человек, а и жуликом ты родился! — говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

— Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

— Да ведь как иначе, друг? — сознавался Ефимушка, а серьезный Петр говорил:

— Тем и жив, что украдешь, а что выработаешь — богу да царю...

— Вот и мне охота объегорить вас! — смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

— Поддедюлить, значит?

— Подкузьмить?

Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:

— Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ежели честно жить,— так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

— Мужик на много не омманет,— вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

— Грех — что болото: чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

— Я — что же? Откликаюсь, как аукнется...

Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На Ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

— Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь — эвон куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

— Ну, ну,— балагурил Осип,— стереги да береги, бог тебе помоги!

Петр недружелюбно заметил:

— Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми,— все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

— Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему — понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

— Середь нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним — гляди в оба, он ничем не брезгует, ему всё годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок извести — всё подай сюда! Человек он — хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а воровать — любит! Ефимушка — в баб живет, он — смирный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые — все не дураки! А вот Григорий Шишлин — этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое — отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может оммануть, а он — не может! Без ума руководится...

— Он — добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

— Верно, добрый! Ленивому добрым быть — самое простое; доброта, парень, ума не просит...

— Ну, а сам ты? — спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил:

— Я — как девушка,— буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то — своим умом поищи, где я спрятан,— поищи-ка вот!

Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов,— я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

— Сделай милость, посоветуй ты нам,— просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию:

— Еретик.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

— Паяц.

Штукатур дружески предупреждал меня:

— Ты гляди, Максимыч,— со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет! Этакие вот старички едучие — избави боже до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Петр; он обо всем говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.

— Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!

У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда — смешным, порою — блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:

— Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!

Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь в уголок, мурлыкал, прищурив серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей.

— Экую бабочку ядреную привел мне господь; этакая радость низошла до меня; ну, и что же это за цветок

в сметане, да и как же мне судьбу благодарить за этакий подарок? Да я от такой красоты жив — сгорю!

Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой:

— Глядите-ко, как горбатый тает, а — батюшки!

Насмешки нимало не задевали кровельщика, его скуластое лицо становилось сонным, он говорил, точно в бреду, сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец какая-нибудь, постарше, говорила удивленно подругам:

— Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень!

— Птицей поет...

— Али нищим на паперти,— не сдавалась упрямая.

Но Ефимушка не был похож на нищего; он стоял крепко, точно коренастый пень, голос его звучал всё призывнее, слова становились заманчивей, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой, дурманной речью.

Кончалось это тем, что во время па́ужина или после шабаша он, покачивая тяжелой, угловатой головою, говорил товарищам изумленно:

— Ну, и какая же бабочка сладкая да милая,— перво́й раз в жизни коснулся эдакой!

Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие, он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширялись.

Осип, покачивая головою, восклицал:

— Ах ты, неистребимый мужчина! Который тебе годок пошел?

— А годов мне — четыре на сорок. Да это — ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце — покойно! Нет — ведь какие женщины бывают, а?

Каменщик сурово говорил ему:

— Как шагнешь за пятый десяток, гляди,— горько-солоны будут тебе похабные привычки твои!

— Бесстыдник ты, Ефимушка,— вздыхал Григорий Шишлин.

А мне казалось, что красавец завидует удаче горбатого.

Осип смотрел на всех из-под ровненько закрученных серебряных бровей и балагурил:

— У всякой Машки — свои замашки, эта любит чашки да ложки, а другая — пряжки да сережки, а — все Машки будут бабушки...

Шишлин был женат, но жена у него оставалась в деревне, он тоже засматривался на поломоек. Все они были легко доступны, каждая «прирабатывала»; к этому роду заработка в головной слободе относились так же просто, как ко всякой иной работе. Но красавец мужик не трогал женщин, он только смотрел на них издали особенным взглядом, точно жалея кого-то, себя или их. А когда они сами начинали заигрывать с ним, соблазняя его, он, сконфуженно посмеиваясь, уходил прочь.

— Ну вас...

— Что ты, чудачок? — удивлялся Ефимушка.—Разве можно случай терять?

— Я — женатый,— напоминал Григорий.

— Да разве жена узнает?

— Жена всегда узнает, ежели нечестно жил, ее, брат, не обманешь!

— Да как узнает?

— Это мне неизвестно — как, а — должна узнать, ежели сама она честно живет. А ежели я честно живу, а она согрешит — я про нее узнаю...

— Да как? — кричит Ефимушка, но Григорий спокойно повторяет:

— Это мне неизвестно.

Кровельщик возмущенно разводит руками.

— Вот — пожалуйте! Честно, неизвестно... Эх ты, голова!

Рабочие Шишлина, семь человек, относились к нему просто, не чувствуя в нем хозяина, а за глаза называли его теленком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал соколок, лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрикивая:

— Наддай, ребятки, наддай!

Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию:

— Плохие у тебя работники...

Он как будто удивился:

— Да ну?

— Эту работу надо бы еще вчера до полудня кончить, а они и сегодня не успеют...

— Это верно — не успеют,— согласился он и, помолчав, осторожно сказал:

— Я, конешно, вижу, да совестно подгонять их — ведь всё свои, из одной деревни со мной. Опять же и то возьми: наказано богом — в поте лица ешь хлеб, так что — для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой мене их трудимся, ну — неловко будто подгонять-то их...

Он жил задумчиво; идет по пустым улицам Ярмарки и вдруг, остановясь на одном из мостов Обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, в даль за Оку. Настигнешь его, спросишь:

— Ты что?

— А? — просыпаясь, смущенно улыбается он.— Это я так... пристал, поглядел немножко...

— Хорошо, брат, устроено всё у бога,— нередко говорил он.— Небушко, земля, реки текут, пароходы бежат! Сел на пароход, и — куда хошь: в Рязань али в Рыбинской, в Пермь, до Астрахани! В Рязани я был, ничего городок, а скушнее Нижнего-то; Нижний у нас — молодец, веселый! И Астрахань — скушнее. В Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев...

Он говорит медленно, слова его осторожно нащупывают согласно мыслящего и всегда находят его в каменщике Петре.

— Не народцы они, а — мимородцы,— уверенно и сердито говорит Петр,— мимо Христа родились, мимо Христа идут...

Григорий оживляется, сияет.

— Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой! Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю — зачем богу народцы? Премудро устроено...

Каменщик добавляет сумрачно:

— Премудро, а быдто лишнего многонько!..

Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко:

— Лишнее — есть, вот речи эти ваши — вовсе лишние! Эх вы, сехта, пороть бы вас всех-то.

Осип держится сам по себе, но нельзя понять — с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями; но чаще видишь, что все надоели ему, он смотрит на людей как на малоумных и говорит Петру, Григорию, Ефимушке:

— Эх вы, щенки свинячьи...

Они усмехаются, не очень весело и охотно, а все-таки усмехаются.

Хозяин выдавал мне на хлеб пятачок в день; этого не хватало, я немножко голодал; видя это, рабочие приглашали меня завтракать и паужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался, мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы; им доставляла удовольствие моя начитанность в церковных книгах.

— Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго,— говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами; трудно уловить их выражение — зрачки у него всегда точно плавятся, тают.

— Ты береги это, прикапливай, годится; вырастешь — иди в монахи народ словесно утешать, а то — в миллионеры...

— Миссионеры,— поправляет каменщик почему-то обиженным голосом.

— Ась? — спрашивает Осип.

— Миссионеры говорится, ведь знаешь! И не глух ты...

— Ну, ладно, в миссионеры, с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись,— тоже должность хлебная! При уме и ересью прожить можно...

Григорий сконфуженно смеется, а Петр говорит в бороду:

— Вот колдуны тоже не плохо живут, безбожники разные...

Но Осип тотчас возражает:

— Колдун грамотен не живет, грамота колдуну не ко двору...

И рассказывает мне:

— Вот, погляди, послушай: жил в нашей волости бобылек один, Тушкой звали, захудящий мужичонко, пустой; жил — пером, туда-сюда, куда ветер дует, а — ни работник, ни бездельник! Вот пошел он единожды, от нечего делать, на богомолье и плутал года с два срока, а после вдруг объявился в новом виде: волосья — до плеч, на голове — скуфеечка, на корпусе — рыженькая ряска чёртовой кожи; глядит на всех окунем и предлагает упрямо: покайтесь, треклятые! Чего ж не покаяться, а особливо — бабам? И пошло дело на лад: Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен...

Каменщик сердито перебивает:

— Да разве в том дело, что сыт да пьян?

— В чём ино?

— Дело — в слове!

— Ну, в слова его я не вникал,— словами я и сам преизбыточно богат...

— Мы Тушникова, Дмитрия Васильича, довольно хорошо знаем,— обиженно говорит Петр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан.

— Я — не спорю,— примирительно заявляет Осип.— Это вот я всё Максимычу нашему говорю про разные пути-дороги до куска...

— По иным дорогам и в острог попадают...

— Редко ли! — соглашается Осип.— Не со всякой тропы попадешь в попы, надо знать, где свернуть...

Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей — штукатура и каменщика; может быть, он не любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо.

На Ефимушку он смотрит как будто мягче, добрее. Кровельщик не вступает в беседы о боге, правде, сектах, о горе жизни человеческой — любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, чтобы спинка стула не мешала горбу,— он спокойно пьет чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир

пришел кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов у него — добрый десяток, и — так как некоторые бьют его — он бегает от греха.

— Сердются, чудаки,— недоумевает он,— да ведь кабы я имел деньги, али бы не отдал я?

— Ах, сухостой горький...— напутствует его Осип.

Иногда Ефимушка долго сидит задумавшись, ничего не видя, не слыша; скуластое лицо смягчается, добрые глаза смотрят еще добрее.

— О чем задумался, служивый? — спрашивают его.

— Думаю,— быть бы мне богатому, эх—женился бы на самой настоящей барыне, на дворянке бы, ей-богу, на полковницкой дочери, примерно, любил бы ее — господи! Жив сгорел бы около нее... Потому что, братцы, крыл я однова крышу у полковника на даче...

— И была у него дочь вдовая,— слыхали мы это! — недружелюбно прерывает Петр.

Но Ефимушка, растирая ладонями колена, покачивается, долбя горбом воздух, и продолжает:

— Бывало, выйдет она в сад, вся белая да пышная, гляжу я на нее с крыши, и — на что мне солнышко, и — зачем белый день? Так бы голубем под ноги ей и слетел! Просто — цветок лазоревый в сметане! Да с этакой бы госпожой хоть на всю жизнь — ночь!

— А жрать чего стали бы? — сурово спрашивает Петр, но это не смущает Ефимушку.

— Господи! — восклицает он.— Да много ли нам надобно? К тому же она — богатая...

Осип смеется:

— И когда ты, Ефимушка, расточишь себя в делах этих, расточитель?

Кроме женщин, Ефимушка ни о чем не говорит, и работник он неровный — то работает отлично, споро, то у него не ладится, деревянный молоток клеплет гребни лениво, небрежно, оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью; но у него есть свой запах, здоровый и приятный, он напоминает запах свежесрубленного дерева.

С плотником интересно говорить обо всем; интересно, но не очень приятно, его слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьезно, когда шутит.

С Григорием же всего лучше говорить о боге, он любит это и в этом тверд.

— Гриша,— спрашиваю я,— а знаешь: есть люди, которые не верят в бога?

Он спокойно усмехается:

— Как это?

— Говорят: нет бога!

— О! Вона что! Это я знаю.

И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит:

— Еще царем Давидом, помнишь, сказано: «Рече безумен в сердце своем: несть бог»,— вон когда еще говорили про это безумные! Без бога — никак нельзя обойтись...

Осип как будто соглашается с ним:

— Отними-ко у Петрухи бога-то — он те покажет кузькину мать!

Красивое лицо Шишлина становится строгим; перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит:

— Бог вселен в каждую плоть; совесть и всё внутреннее ядро — от бога дано!

— А — грехи?

— Грехи — от плоти, от сатаны! Грехи — это снаружи, как воспа, не боле того! Грешит всех сильней тот, кто о грехе много думает; не поминай греха — не согрешишь! Мысли о грехе — сатана, хозяин плоти, внушает...

Каменщик сомневается:

— Что-то не так будто бы...

— Так! Бог — безгрешен, а человек — образ и подобие его. Грешит образ, плоть; а подобие грешить не может, оно — подобие, дух...

Он победно улыбается, а Петр ворчит:

— Это будто бы не так...

— А по-твоему,— спрашивает Осип каменщика,— не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься?

— Так-то надежнее будто! Чёрта забудешь — бога разлюбишь, говорили старики...

Шишлин непьющий, он пьянеет с двух рюмок; тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поет.

— Братцы мои, как всё это хорошо! Вот живем, работаем немножко, сыты, слава богу,— ах, как хорошо!

Он плакал, слезы стекали ему на бороду и светились на шёлке волос стеклянными бусами.

Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слезы были неприятны мне,— бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво.

Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастны; добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о боге, о сектах, церкви,— больше о начальстве, о земле, о правде и тяжестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба — забава,но забава опасная, с бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох или хорош,но он всегда весь тут, в книжке, а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался живой мужик, всегда чувствуется, что в нем осталось еще что-то,но этот остаток — только для себя, и, может быть, именно в этом несказанном, скрытом — самое главное.

Изо всех книжных мужиков мне наибольше понравился Петр «Плотничьей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям,и я принес книгу на Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели, иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю, чаще — потому, что за день я уставал и не хватало сил идти домой.

Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа — особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал ее, недоверчиво покачивая иконописною головой.

— А и впрямь будто про нас написано! Ишь ты, шельмы! Кто писал — барин? Ну, я так и подумал. Баре да чиновники на всё горазды! Где господь не догадается, там чиновник домыслит; на то они и живы есть...

— Неосторожно ты, Осип, про бога говоришь,— заметил Петр.

— Ничего! Для господа мое слово — меньше, как мне на лысину снежинка али капля дождевая. Ты — не сумневайся, нам с тобой до бога не дотронуться...

Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремень искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, всё, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал:

— Читаем, Максимыч? Ну, дело, дело! Это ладно придумано.

Пошабашив, пошли ужинать к нему в артель, а после ужина явились Петр со своим работником Ардальоном и Шишлин с молодым парнем Фомою. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать; слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито:

— Ну, с меня довольно!

И ушел. Первым заснул Григорий, удивленно открыв рот, за ним заснули плотники, но Петр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением.

Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу,— по звездам было уже около полуночи.

Петр спросил во тьме:

— К чему ж это написано? Против кого?

— Теперь — спать! — сказал Осип, снимая сапоги.

Фома молча отодвинулся в сторону.

Петр повторил требовательно:

— Я говорю — супроти кого написано это?

— Уж они знают! — выговорил Осип, укладываясь спать на подмостки.

— Ежели против мачех, так это совсем пустое дело: от этого мачехи лучше не станут,— настойчиво говорил каменщик.— А против Петра — тоже зря: его грех — его ответ! За убийство — в Сибирь, больше ничего! Книжка — лишняя в таком грехе... лишняя будто, ась?

Осип молчал. Тогда каменщик добавил:

— Делать им нечего, вот и разбирают чужие дела! Вроде баб на посиделках. Прощайте ин, спать надо...

Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил:

— Осип, ты как думаешь?

— Ой? — сонно отозвался плотник.

— Ну, ладно, спи...

Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лег на измятой соломе рядом со мною. Слобода спала, издали доносился свист паровозов, тяжелый гул чугунных колес, звон буферов. В сарае разноголосо храпели. Мне было неловко — я ждал каких-то разговоров, а — ничего нет...

Но вдруг Осип заговорил тихо и четко:

— Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы — молодые, вам долго жить, копите свой разум! Свой ум — чужим двум! Фома, спишь?

— Нет,— охотно отозвался Фома.

— То-то! Вы оба грамотны, так вы — читайте, а веры ничему не давайте. Они всё могут напечатать, это дело — в ихних руках!

Он спустил ноги с подмостков, уперся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал:

— Книжку — ее как надо понимать? Это — доношение на людей, книжка! Дескать, глядите, каков есть человек, плотник али кто другой, а вот — барин, так это — иной человек! Книжка — не зря пишется, а во чью-нибудь защиту...

Фома густо сказал:

— Петр правильно убил подрядчика-то!

— Ну, это — напрасно, человека убивать никогда не правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти мысли ты брось. Мы все — люди небогатые, сегодня — я хозяин, завтра — опять работник...

— Я не про тебя, дядя Осип...

— Это всё едино...

— Ты — справедливый.

— Погоди, я те расскажу, к чему написано сочинение,— перебил Осип сердитые слова Фомы,— это очень хитрое сочинение! Вот те — барин без мужика, вот — мужик без барина! Теперь гляди: и барину—плохо, и мужику—не хорошо. Барин ослаб, одурел, а мужик стал хвастун, пьяница, хворый, стал обиженный — вот оно как! А в крепости у бар было, дескать, лучше: барин за мужика прятался, мужик — за барина, и кружились оба спокойно, сытые... Я — не спорю, верно, при госпо-

дах было спокойнее жить — господам не к выгоде, коли мужик беден; им хорошо, коли он богат, да не умен, вот что им на руку. Я это знаю, я ведь сам в крепости господской почти сорок лет прожил, у меня на шкуре много написано.

Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Петр, который зарезался, и мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика.

Осип потрогал ногой мою ногу, продолжая:

— Книжки и всякие сочинения надо понимать! Зря никто ничего не делает, это одна видимость, будто зря. И книжки не зря пишутся,— а чтобы голову мутить. Всё творится с умом, без ума — ни топором тяпать, ни ковырять лапоть...

Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки, во тьме и тишине.

— Говорится: господа мужику чужие люди. И это — неверно. Мы — тех же господ, только — самый испод; конешно, барин учится по книжкам, а я — по шишкам, да у барина белее задница — тут и вся разница. Не-ет, парни, пора миру жить по-новому, сочинения-то надобно бросить, оставить! Пускай каждый спросит себя: я — кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь: али бог с него на семишник лишнего требует? Не-ет, в податях мы оба пред богом равны...

Наконец под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне:

— Видал,как я сочинять могу? Вот чего наговорил — чего и не думал никогда! Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонницы, чем всурьез. Лежишь-лежишь да и придумаешь чего-нибудь для забавы: во время оно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры, господь ее накажи: издохла ворона и засохла! Какой тут смысел? Нету никакого смысла... Нуте-ко — поспим: скоро вставать пора...

XVIII

Как в свое время кочегар Яков,— Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня всех людей. В нем было что-то очень близкое кочегару, но в то же время он напоминал мне деда, начетчика Петра Васильева, повара Смурого, и, напоминая всех людей, цепко укрепившихся в моей памяти, он оставлял в ней свой глубокий узор, въедался в нее, точно окись в медь колокола. Заметно было, что у него два порядка мыслей: днем, за работой, на людях, его бойкие простые мысли деловиты и более понятны, чем те, которые являются у него во время отдыха, по вечерам, когда он идет со мною в город, к своей куме, торговке оладьями, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенные, ночные мысли, многосторонние, как огонь в фонаре. Они хорошо светятся, но — где у них настоящее лицо, которая сторона той или другой мысли ближе и дороже Осипу?

Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же напряжении, как вокруг кочегара Якова,— хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и — неуловим. В чем скрыта его правда? Чему можно верить в нем?

Я вспоминаю, как он сказал мне:

«Сам поищи, где я спрятан, поищи-ка вот!»

Мое самолюбие задето, но во мне задето больше, чем самолюбие,— для меня жизненно необходимо понять старика.

При всей его неуловимости он — тверд. Казалось, что проживи он еще сто лет, а всё останется таким же, непоколебимо сохранит себя среди поразительно неустойчивых людей. Начетчик вызывал у меня такое же впечатление стойкости, но оно было не очень приятно мне; стойкость Осипа — иная, она более приятна.

Шаткость людей слишком резко бросается в глаза, их фокусные прыжки из одного положения в другое опрокидывали меня; я уже уставал удивляться этим необъяснимым прыжкам, и они потихоньку гасили мой живой интерес к людям, смущали мою любовь к ним.

Однажды, в начале июля, к месту, где мы работали, стремглав подъехала развинченная пролетка; на козлах сидел, мрачно икая, пьяный извозчик, бородатый без шапки и с разбитой губой; в пролетке развалился пьяненький Григорий Шишлин, его держала под руку толстая, краснощекая девица в соломенной шляпке с алым бантом и стеклянными вишнями, с зонтиком в руке и в резиновых калошах на босую ногу. Размахивая зонтиком, раскачиваясь, она хохотала и кричала:

— Да, черти! Ярмарка не открыта, нету ярмарки, а они меня на ярмарку!

Григорий, измятый, растерзанный, сполз с пролетки, сел на землю и со слезами объявил нам, зрителям:

— Н-на коленях стою — премного согрешил! Подумал и согрешил — вот! Ефимушка говорит: Гриша! Гриша, говорит... Он это верно говорит, а вы — простите меня! Я всех вас могу угостить. Он верно говорит: один раз живем... боле одного разу — нельзя...

Девица, заливаясь смехом, топала ногами, теряла калоши, а извозчик угрюмо кричал:

— Едем скорей дальше! Харламы — едем, лошадь не стоит!

Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная, а всё вместе было невыносимо смешно. Рабочие Григория так и покатывались, глядя на хозяина, его нарядную даму и ошалелого возницу.

Не смеялся только Фома, стоял в дверях лавки рядом со мною и бормотал:

— Сорвало свинью... А дома у него — жена, кра-асивая баба!

Извозчик всё торопил ехать, девица спустилась с пролетки, приподняла Григория и, уложив его в ноги себе, крикнула, взмахнув зонтом:

— Поехали!

Добродушно издеваясь над хозяином, завидуя ему, люди принялись за работу по окрику Фомы; видимо, ему было неприятно видеть Григория смешным.

— Называется — хозяин! — бормотал он.— Меньше месяца осталось работать, в деревню уедем... Не дотерпел...

Мне было досадно за Григория,— эта девица с вишнями так обидно нелепа была рядом с ним.

Я нередко думал: почему Григорий Шишлин — хозяин, а Фома Тучков — работник?

Крепкий белый парень, кудрявый, с ястребиным носом и серыми умными глазами на круглом лице, Фома был не похож на мужика,— если бы его хорошо одеть, он сошел бы за купеческого сына из хорошей семьи. Это был человек сумрачный, говорил мало, деловито. Грамотный, он вел счета подрядчика, составлял сметы, умел заставить товарищей работать успешно, но сам работал неохотно.

— Всю работу вовеки не сделаешь,— спокойно говорил он. О книгах отзывался пренебрежительно: «Напечатать всё можно, я тебе что хошь выдумаю, это — пустяки...»

Но он ко всему внимательно прислушивался и, если его что-нибудь интересовало, расспрашивал подробно и настойчиво, всегда думая о своем о чем-то, всё измеряя своей мерой.

Раз я сказал Фоме, что вот ему бы надо быть подрядчиком,— он лениво отозвался:

— Кабы сразу тыщами ворочать — ну, еще туда-сюда... А из-за грошей с народом возиться — это из пустого в порожнее. Нет, я вот погляжу-погляжу да в монастырь уйду, в Оранки. Я — красивый, могутной, авось какой-нибудь купчихе понравлюсь, вдове! Бывает этак-то,— один сергацкой парень в два года счастья достиг да еще на девице женился, здешней, городской; носили икону по домам, а она его и высмотрела...

Это у него было обдумано,— он знал много рассказов о том, как послушничество в монастырях выводило людей на легкую дорогу. Мне его рассказы не нравились, не нравилось и направление ума Фомы, но я был уверен, что он уйдет в монастырь.

Открылась ярмарка, и Фома, неожиданно для всех, поступил в трактир половым. Не скажу, чтобы это удивило его товарищей, но все они стали относиться к парню издевательски; по праздникам, собираясь пить чай, говорили друг другу, усмехаясь:

— Айда к своему шестерке!

А приходя в трактир, хозяйски кричали:

— Эй, половик! Кудрявенький, поди сюда!

Он подходил и спрашивал, приподнимая голову:

— Что прикажете?

— Не узнал знакомых?

— Узнавать некогда мне...

Он чувствовал, что товарищи презирают его, хотят позабавиться над ним, и смотрел на них скучно ожидающими глазами; лицо у него становилось деревянным, но, казалось, оно говорит: «Ну, скорее, смейтесь, что ли...»

— На чаишко-то дать? — спрашивали его; нарочно долго рылись в кошельках и не давали ни копейки.

Я спросил Фому: как же это он — собирался в монахи, а пошел в лакеи?

— В монахи я не собирался,— ответил он,— а в лакеи — ненадолго пошел...

Года четыре спустя я встретил его в Царицыне, всё еще половым в трактире; а потом прочитал в газете, что Фома Тучков арестован за покушение на кражу со взломом.

Особенно меня поразила история каменщика Ардальона — старшего и лучшего работника в артели Петра. Этот сорокалетний мужик, чернобородый и веселый, тоже невольно возбуждал вопрос: почему не он — хозяин, а — Петр? Водку он пил редко и почти никогда не напивался допьяна; работу свою знал прекрасно, работал с любовью, кирпичи летали в руках у него, точно красные голуби. Рядом с ним больной и постный Петр казался совершенно лишним человеком в артели; он говорил о работе:

— Строю для людей дома каменные на гроб себе деревянный...

Ардальон, с веселой яростью укладывая кирпичи, покрикивал:

— Эхма, работай, ребята, во славу божию!

И рассказывал всем, что будущей весною он уедет в Томск, там у него зять взял большой подряд — строить церковь — и зовет его к себе десятником.

— Это у меня дело решенное. Церквы строить — это я люблю! — говорил он и предлагал мне: — Айда со

мной! В Сибири, брат, грамотному очень просто, там грамота — козырь!

Я соглашался, и Ардальон победительно кричал:

— Ну, вот! Это дело, а не шутки...

К Петру и Григорию он относился с добродушной насмешкой, как взрослый к детям, и говорил Осипу:

— Хвастуны, всё разум свой друг другу показывают, словно в карты играют. Один — у меня-ста вот какая масть, другой — а у меня, дескать, вот они, козыри!

Осип неопределенно замечает:

— А как иначе? Хвастовство дело человечье, все девицы вперед грудью ходят...

— Всё — ох да ох, бог да бог, а сами — деньги копят! — не унимался Ардальон.

— Ну, Гриша не накопит...

— Я — про своего. Шел бы, с богом-то, в лес, в пустыню... Эх, надоело мне здесь, двинусь я весною в Сибирь...

Рабочие, завидуя Ардальону, говорили:

— Кабы у нас эдакая зацепка, вроде зятя, мы бы тоже Сибири не испугались...

И вдруг Ардальон пропал. В воскресенье ушел из артели, и дня три никто не знал, где он.

Тревожно догадывались:

— Может, кто-нибудь пришиб его?

— А то — купался да утонул?

Но пришел Ефимушка и объявил, сконфуженный:

— Загулял Ардальон!

— Что врешь? — недоверчиво крикнул Петр.

— Загулял, запил. Просто — как овин загорелся с самой середки. Будто любезная жена померла...

— Он вдовый! Где он?

Петр сердито отправился спасать Ардальона, но тот избил его.

Тогда Осип, крепко поджав губы, глубоко засунул руки в карманы и объявил:

— Пойду-ка я погляжу — отчего такое? Мужик хороший...

Я увязался с ним.

— Вот он, человек,— говорил Осип дорогой,— живет-живет, всё будто хорошо, а вдруг — хвост трубой

и пошел катать по всем пустырям. Гляди, Максимыч, учись...

Мы пришли в один из дешевеньких домов «развеселого Кунавина села», нас встретила вороватая старушка. Осип пошептался с нею, и она провела нас в пустую маленькую комнату, темную и грязную, как стойло. На койке спала, разметавшись, большая толстая женщина; старуха толкнула ее кулаком в бок и сказала:

— Выдь! Эй, лягуха, выдь!

Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, спрашивая:

— Господи! Кто это? Что это?

— Сыщики пришли,— сурово сказал Осип; охнув, женщина исчезла, а он плюнул вслед ей и объяснил мне:

— Сыщиков они боятся хуже чертей...

Сняв со стены маленькое зеркало, старуха приподняла кусок обоев.

— Глядите — этот ли?

Осип поглядел в щель переборки.

— Самый он! Выгони девицу оттуда...

Я тоже посмотрел в щель: в такой же тесной конуре, как та, в которой мы были, на подоконнике окна, плотно закрытого ставнями, горела жестяная лампа, около нее стояла косоглазая голая татарка, ушивая рубаху. За нею, на двух подушках постели, возвышалось взбухшее лицо Ардальона, торчала его черная спутанная борода. Татарка вздрогнула, накинула на себя рубаху, пошла мимо постели и вдруг явилась в нашей комнате.

Осип поглядел на нее и снова плюнул:

— У, бесстыдница!

— Сама старий дурак,— ответила она, смеясь.

И Осип засмеялся, грозя ей пальцем.

Мы перешли в конуру татарки, старик сел на постель в ногах Ардальона и долго безуспешно будил его, а тот бормотал:

— Ну, ладно, ладно... погоди, пойдем...

Наконец проснулся, дико поглядел на Осипа, на меня и, закрыв красные глаза, промычал:

— Ну, ну...

— Ты что это? — сказал Осип спокойно, без упрека, но невесело.

— Закрутил,— хрипя и кашляя, объяснил Ардальон.

— Что так?

— Да так уж...

— Не ладно будто...

— Чего хорошего...

Ардальон взял со стола початую бутылку водки и стал пить из горлышка, потом предложил Осипу:

— Хошь? Тут и закуска должна быть...

Старик налил в рот себе вина, проглотил, сморщился и стал внимательно жевать кусочек хлеба, а мутный Ардальон вяло говорил:

— Вот — с татаркой связался. Это всё — Ефимушка, татарка, говорит, молодая, сирота из Касимова, на ярмарку собралась.

Из стены весело сказали ломаным языком:

— Татарка — лучи! Как молодой куриса. Гони ему вон, это не отес твоя...

— Вот эта самая,— пробормотал Ардальон, тупо глядя в стену.

— Я видел,— сказал Осип.

Ардальон обратился ко мне:

— Вот как я, брат...

Я ожидал, что Осип станет упрекать Ардальона, учить его, а тот будет смущенно каяться. Но ничего подобного не было,— они сидели рядом, плечо в плечо, и разговаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно было видеть их в этой темной грязной конуре; татарка говорила в щель стены смешные слова, но они не слушали их. Осип взял со стола воблу, поколотил ее об сапог и начал аккуратно сдирать шкуру, спрашивая:

— Деньги-то все ухнул?

— За Петрухой есть...

— Гляди, оправишься ли? Ехать бы теперь в Томской-то...

— Да что ж, в Томской...

— Али раздумал?

— Кабы чужие звали.

— А что?

— А то — сестра, зять...

— Ну?

— Не больно радошно к своим под начал идти...

— Начал везде одинаков.

— Все-таки...

Они говорили так дружески серьезно, что татарка перестала дразнить их, вошла в комнату, молча сняла со стены платье и исчезла.

— Молодая,— сказал Осип.

Ардальон поглядел на него и без досады проговорил:

— Всё — Ефимушка, смутьян. Ничего, кроме баб, не знает... А татарка — веселая, дурит всё...

— Гляди — не вывернешься,— предупредил его Осип и, дожевав воблу, стал прощаться.

Дорогой назад я спросил Осипа:

— Зачем ты ходил к нему?

— А поглядеть. Человек знакомый. Мно-ого я эдаких случаев видел — живет-живет человек да вдруг как из острога вырвется,— повторил он уже сказанное раньше. — Водочки надо остерегаться!

Но через минуту сказал:

— А без нее — скушно!

— Без водки?

— Ну да! Выпьешь — словно по другой земле пойдешь...

Ардальон — не вывернулся. Спустя несколько дней он пришел на работу, но вскоре снова исчез, а весною я встретил его среди босяков,— он окалывал лед вокруг барж в затоне. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай, а за чаем он хвастался:

— Помнишь, каков я работник был, а? Прямо скажу: в своем деле — химик! Сотни мог заработать...

— Однако — не заработал.

— А — не заработал! — с гордостью крикнул он.— Наплевать мне на работу!

Он держался размашисто, люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием.

— Помнишь, что тихий вор Петруха про работу говорил? Людям — дом каменный, себе — гроб деревянный. Вот те и вся работа!

Я сказал:

— Петруха — больной, он смерти боится.

Но Ардальон закричал:

— Я тоже больной, у меня, может, душа не на месте!

По праздникам я частенько спускался из города в Миллионную улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становится своим человеком в «золотой роте». Еще год тому назад — веселый и серьезный, теперь Ардальон стал как-то криклив, приобрел особенную, развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и всё хвастался:

— Ты гляди, как меня люди принимают,— я тут вроде атамана!

Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, становился в драках на сторону слабого и часто взывал:

— Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!

Его так и прозвали — Правильный, это очень нравилось ему.

Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Всё это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня,— я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками, и в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных паузках, на пожарах, во время ледохода. И вообще они жили более празднично, чем все другие люди.

Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня:

— Вот что, душа моя, горький сухостой, ты чего это с Миллионной больно плотно приятельствуешь? Гляди, не получи себе вреда...

Я сказал ему как умел, что мне нравятся эти люди,— живут без работы, весело.

— Яко птицы небесные,— перебил меня он, усмехаясь.— Это они потому так, что — лентяи, пустой народ, работа им — горе!

— Да ведь что же — работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов каменных!

Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду. Но Осип рассердился на меня и закричал:

— Это — кто говорит? Дураки да лентяи, а тебе, кутенок,— не слушать бы этого! Ишь ты! Эти глупости говорятся завистниками, неудачниками, а ты сперва оперись, потом — ввысь! А про дружбу твою я хозяину доложу — не обессудь!

И — доложил. Хозяин при нем же сказал мне:

— Ты, Пешкóв, Миллионную оставь! Там—воры, проститутки, и дорога оттуда — в острог, в больницу. Брось!

Я стал скрывать мои посещения Миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них.

Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его Робенком на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек; Робенок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапер, георгиевский кавалер, хромой,— в турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшною силой в руках,— силой, бесполезной ему, работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице — голова его действительно напоминала голову новорожденного.

Поблескивая рыжими глазами, он говорил:

— Ну, вот: Серпухов; сидит поп в палисаднике; батюшка, говорю, подайте турецкому герою...

Покачивая головою, Ардальон говорит:

— Ну, ври, ври...

— Чего же я вру? — не обижаясь, спрашивает Робенок, а мой приятель поучительно и лениво ворчит:

— Неправильный ты человек! Тебе в сторожа проситься, хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и всё врешь...

— Да ведь я — чтобы посмеяться, я — для веселости вру...

— Тебе над собой смеяться надо...

На дворе, темном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какою-то тряпкой:

— Кто юбку купит? Эй, подруги...

Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу; я сразу узнал ее — это прачка Наталья! Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора.

— Здравствуйте! — догнав ее за воротами, радостно поздоровался я.

— А дальше что скажешь? — спросила она, искоса взглянув на меня, и вдруг остановилась, сердито крикнув:

— Господи помилуй! Ты чего тут?..

Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.

— Посмотреть?! — насмешливо и сердито воскликнула она.— Это чего же, куда же ты смотришь? Прохожим в карманы да бабам за пазухи?

Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.

Остановясь у дверей трактира, она сказала:

— Идем, чаем напою! Одет — чистенько, не поздешнему, а не верю я тебе что-то...

Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.

— А вчера легла — пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?

Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить — где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила знакомо бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:

— А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!

Выпила еще и рассказала:

— Дочери со мной делать нечего. Я — кто? Прачка. Какая я мать ей? Она — образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто...

Помолчав, она негромко спросила:

— Вот как! Прачка — вам не угодна? А гулящая баба — угодна?

Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это,— иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием — она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!

— Эх ты,— сказала она, взглянув на меня и вздыхая.— Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую — не суйся сюда, пропадешь!

Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:

— А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою бросить, что ты? А она: удавлюсь, говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо... Хорошо... А как же я? А я — вот так... К чему мне прижаться?.. А — к прохожему...

Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком.

У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.

— Прощайте!

— А? Иди, иди к чёрту! — отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.

Я воротился на двор, к Ардальону,— он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.

Я вышел из ворот и тотчас столкнулся с Натальей,— всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил:

— Дай ей еще раз, дай!

Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.

— Н-на, бей! — крикнула она.

Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.

— Чего ты?

— Не трогай,— едва мог сказать я ему.

Он захохотал.

— Она тебе — любовница? Ай да Наташка — сожрала монашка!

Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи,— это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и убежал.

С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона,— встретил его на пароме.

— Ты — где пропал? — радостно спросил он.

Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.

— Да разве это — всерьез? Это мы шутки ради помазали тебя! А она — да что же ее не бить, коли она — гулящая? Жен бьют, а таких и подавно не жаль! Только это всё — баловство одно! Я ведь понимаю — кулак не наука!

— Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..

Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:

— В том и безобразие наше, что никто никого не лучше... Я, брат, всё понимаю, и снаружи, и с изнанки, всё! Я — не деревня...

Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику...

...Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мною снисходительно и всё упрекал:

— За какую ты работу взялся — пропадешь! Мужики эти...

Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.

— Жихарев всё путается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через меру. А Гоголева — волки съели; поехал он на святки домой, а там его, пьяного, волки и сожрали!

И, заливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:

— Съели и — тоже все пьяные! Веселые стали,— ходят по лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки — подохли все!..

Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил там,— далеко от меня. Это было немножко грустно.

XIX

Зимою работы на Ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности: они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:

— Виктор смеется, что ты будто, Пешкóв, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ко, почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не понравились ему, но он все-таки сказал:

— Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В его пору еще верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто — шутил! Да-а, брат,— задумчиво протянул он,— надо бы тебе учиться, а опоздал ты! Чёрт знает, как ты будешь жить... Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы — засмеют... Бабы, брат, любят это — за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и всё опасливо оглядывался, а звонки пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому кроме него неведомое, подорвало ему сердце, и теперь он жил не уверенно, не охотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые,— трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки,— голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех — и всегда какие-то особенно хорошие песни — пел маленький, тощий шорник Клещов, человек мятый, жеваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные сонные глаза были неподвижны.

Бывало, закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой:

Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да призакрыл туман дороги дальние...

Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку:

Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкую найду?

Голос у него был маленький, но неутомимый; он прошивал глухой, о́темный гомон трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей,— даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец — словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздохнет, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человечья жизнь — вот она!

Сидит в углу толсторожая торговка Лысуха, баба отбойная, бесстыдно гулящая; спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный октавист Митропольский, волосатый детина, похожий

на дьякона-расстригу, с огромными глазами на пьяном лице; смотрит в рюмку водки перед собою, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно,— не может почему-то выпить.

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

— Ну, конешно, хорошо! Хоша ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако — мастер, что и говорить! Иного — никто не скажет...

Клещов, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил:

— Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне,— это только мне дано!

— Ну, не хвастай, однако!

— Кому — нечем, тот не хвастает,— всё так же тихо, но более упрямо говорил певец.

— Заносчив ты, Клещов! — с досадой восклицает трактирщик.

— Выше своей души не заношусь...

А в углу рычал мрачный октавист:

— Что понимаете в пении сего безобразного ангела вы, черви, вы, плесень?

Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие и все, кто мог, кто хотел.

Трактирщик любит песни Клещова, но терпеть не может самого певца; жалуется всем на него и явно ищет унизить шорника, посмеяться над ним; это знают и завсегдатаи трактира и сам Клещов.

— Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть,— говорит он, и некоторые гости соглашаются с ним.

— Это — верно, заносчив парень!

— Чем заносится? Голос — от бога, не сам нажил! Да и велик ли голос-то? — упрямо твердит трактирщик.

Согласная публика вторит ему:

— Верно, тут не голос, а больше — уменье.

Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать Лысуху:

— Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещовым-то, помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?

— Кабы я помоложе была,— усмехаясь, сказала торговка.

Трактирщик горячо и громко закричал:

— Что молодые умеют? А ты — возьмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя! В тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возьмись, Евдокимовна, поблагодарю, эй?

Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила:

— Тут — молодую надо. Кабы я моложе была, ну — не задумалась бы...

Почти всегда трактирщик старался напоить Клещова, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил.

Нередко трактирщик выискивал соперников Клещову; споет шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь:

— Тут, кстати, еще один поющий пришел! Нутекась, пожалуйте, покажите себя!

Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещова спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький, неказистый шорник...

— Н-нда,— не без сожаления говорил трактирщик,— это, конешно, хорошо-о! Главное — голос тут, а вот — душа-то...

Публика посмеивалась:

— Нет, шорника не одолеть, видно!

А Клещов, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику:

— Балуете вы. Супротив меня не найти вам певца, как у меня дарование — от бога...

— Мы все — от бога!

— Разоритесь на вине, а не найдете...

Трактирщик багровел и бормотал:

— Как знать, как знать...

А Клещов настойчиво доказывал ему:

— Еще я скажу вам, что пение — это, например, не петушиный бой...

— Да знаю я! Чего ты пристаешь?

— Я не пристаю, я только доказываю: коли песня — забава, это уж — от лукавого!

— Да будет! Лучше спой еще...

— Петь я всегда могу, хоть во сне даже,— соглашался Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, всё пошлое, трактирное — чудесно исчезало дымом; на всех веяло струей иной жизни — задумчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми,— он так чудесно пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться с шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему,— Клещов смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его,— а хотелось любить этого человека не тогда только, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он, по-стариковски, натягивает на голову картуз и как, всем напоказ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил:

— Это мне милашка моя связала, девчонка одна...

Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый, мороженый нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал:

— Поди прочь, парнишка!

Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крякал; все, вздрогнув повертывались к нему, а он, упираясь подбородком

в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо.

— Что смотрите? Что видите? — вдруг спрашивал он бухающими словами.

Иногда ему отвечали:

— Лешего видим!

Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжко шаркая ногами, но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку:

— Аз есмь бога моего неподкупный слуга и се обличаю вы, яко Исаия! Горе граду Ариилу, иде же сквернавцы и жулики и всякие мрази безобразнии жительствуют в грязи подлых вожделений своих! Горе корабельним крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек препакостных,— разумею вас, пияницы, обжоры, отребие мира сего,— несть вам числа, окаяннии, и не приемлет вас земля в недра своя!

Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели,— это очень нравилось публике, и она похваливала пророка:

— Здорово лупит, косматый пес!

С ним легко было познакомиться,— стоило только предложить ему угощение; он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье; оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом:

— Зачем читать?

Но, умягченный моим смущением, прогудел:

— Екклезиаста — читал?

— Читал.

— Екклезиаста читай! Больше — ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают ее — сиречь никто не понимает... Ты кто таков — поешь?

— Нет.

— Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие.

С соседнего стола спросили его:

— А ты сам-от — поешь?

— Да, я — бездельник! Ну?

— Ничего.

— Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь!

В этом тоне он говорил со всеми и со мною, конечно; хотя после двух-трех угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления:

— Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и зачем ты? А впрочем — чёрт тебя возьми!

К Клещову он относился непонятно: слушал его с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно:

— Это — болван! Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки — осёл!

— Почему?

— По природе своей.

Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв, но трезвый он только мычал, глядя на всё отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем,— я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа; октавист тряхнул головою и сказал:

— Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии,— помню! Хрисанф значит — златой цвет, как верно сказано у Памвы Берынды. Да, он был златоцветен, Хрисанф!

— А кто это Памва Берында? — спросил я, но Митропольский кратко ответил:

— Не твое дело.

Дома я записал в тетрадь свою: «Непременно читать Памву Берынду»,— мне показалось, что именно у этого Берынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня.

Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов; это очень раздражало меня.

— Жизнь — не Анисья! — говорил он.

Я спрашивал:

— Кто это — Анисья?

— Полезная,— отвечал он, и мое недоумение забавляло его.

Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его?

Но все-таки он оставлял нечто в душе моей; мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаию.

— О, нечисть и смрад земли! — рычал он.— Худшие у вас — во славе, а лучшие — гонимы; настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!

Слушая этот рев, я вспоминал Хорошее Дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, Королеву Марго в туче грязных сплетен,— у меня уже было что вспомнить...

Мое краткое знакомство с этим человеком кончилось курьезно.

Весною я встретил его в поле, около лагерей, он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший.

— Гуляешь? — спросил он хрипло.— Идем вместе. Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен, да...

Несколько шагов мы прошли молча и вдруг в яме от палатки увидали человека: он сидел на дне ямы, склонясь набок, опираясь плечом на стенку окопа, пальто у него с одной стороны взъехало выше ушей, точно он хотел снять его и не мог.

— Пьяный,— решил певчий, остановясь.

Но под рукою человека валялся на молодой траве большой револьвер, недалеко от него — фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки,— ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто.

С минуту мы стояли молча, потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал:

— Застрелился.

Я сразу понял, что человек не пьян, а — мертв, но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой, гладкий череп, высунувшийся из-под

пальто, и на синее ухо,— не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день.

Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел:

— Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал...

Он послал меня в город за полицией, а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто. Известив о самоубийце городового, я быстро прибежал назад, но за это время октавист допил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой.

— Вот что погубило его! — рычал он и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее.

Вслед за мною прибежал городовой, заглянул в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего:

— Ты кто таков?

— Не твое дело...

Полицейский подумал и спросил более вежливо:

— Как же это вы — тут мертвый, а вы — пьяный?

— Я двадцать лет пьян! — с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь.

Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди, приехал на дрожках строгий квартальный, спустился в яму и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо.

— Кто первый увидел?

— Я,— сказал Митропольский.

Квартальный поглядел на него и зловеще протянул:

— А-а, здравствуй, сударь мой!

Собрались зрители, десятка полтора; запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею; кто-то крикнул:

— Это с нашей улицы чиновник, я его знаю!

Октавист, покачиваясь, стоял перед квартальным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова; потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел; тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку, связал ею руки певчего, привычно и покорно спрятанные им за

спину, а квартальный начал сердито кричать на зрителей:

— Прочь! Р-рвань...

Прибежал еще старенький городовой, с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руку конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город.

Я тоже пошел с поля, удрученный; в памяти гулким эхом звучали карающие слова:

«Горе граду Ариилу!..»

А перед глазами — тягостная картина: полицейский не спеша вытягивает из кармана шинели своей веревочку, а грозный пророк покорно заложил красные волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело...

Вскоре я узнал, что пророка выслали из города по этапу. А за ним исчез Клещов — женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую.

...Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды:

— Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко открыв глаза.

По дороге в трактир он высмеивал меня и в трактире первые минуты всё издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

— Ого... чёрт!

Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать.

— Д-да, брат,— сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь,— действительно — поет... чёрт его возьми! Даже жарко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок:

По дороге из богатого села
Чистым полем молодая девка шла...

— Поет,— пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещов заливается, как свирель:

Отвечает красна девица ему:
— Сирота я, не нужна я никому...

— Хорошо,— шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами,— ф-фу, чёрт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат всё сильнее, краше, задушевнее:

Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девку, на вечорки не зовут,
Ой, бедна я да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе —
Не хочу я покориться той судьбе!..

Хозяин мой бесстыдно заплакал,— сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слезы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый:

— Не могу больше сидеть тут — задыхаюсь, запахи же, чёрт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

— Айда, Пешкóв, в гостиницу, закусим и всё... Не хочется домой!..

Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал вполголоса, оглядываясь, сердито тоскуя:

— Разбередил меня этот козел... такую грусть нагнал... Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи — что за дьявольщина? Живешь, живешь, сорок лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз — так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем,— а не с кем! С ней заговоришь, с женой — не доходит до нее... Да что — она? У ней — дети... ну, хозяйство, свое дело! Она моей душе чужая. Жена — друг до первого ребенка... как водится. Да она у меня, вообще... ну, ты сам видишь... ни в дудку, ни поплясать... неодушевленное мясо, чёрт вас возьми! Тоска, брат...

Он судорожно выпил холодное горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил:

— Вообще, брат, люди — сволочь! Вот ты там с мужиками говоришь, то да се... я понимаю, очень много неправильного, подлого — верно, брат... Воры всё! А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки! Да. Они — Петр, Осип — жулье! Они мне всё говорят — и как ты про меня выражаешься, и всё... Что, брат?

Я молчал, удивленный.

— То-то! — сказал хозяин, усмехаясь.— Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймешь — чужой язык! А на своем языке — одни подлости!

— Осип рассказывает про меня? — спросил я.

— Ну да! А ты — что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука... Нет, Пешкóв, слова не доходят. Правда? А на кой чёрт она? Это всё равно как снег осенью — упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты — лучше молчи...

Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянея, говорил всё более быстро, сердито:

— Пословица говорит: слово — не долото, а молчание — золото. Эх, брат, тоска, тоска... Верно он пел: «Нелюдимо на селе у нас живут». Сиротство человечье...

Оглянувшись, он понизил голос и сказал:

— Вот — нашел было я себе... сердечного друга — женщина тут одна встретилась, вдова, мужа у нее в Сибирь осудили за фальшивые деньги — сидит здесь, в остроге. Познакомился я с ней... денег у нее ни копейки, ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила с ней... Присматриваюсь — что за милый человек! Красавица, знаешь, молодая... просто — замечательно! Раз, два... потом я ей и говорю: как же это, говорю, муж у тебя — жулик, сама ты себя нечестно держишь — зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним идет, на поселение, да-а... И вот она говорит мне: каков, говорит, он ни есть, а я его люблю, для меня он хорош! Может, он это из-за меня согрешил? А я с тобою грешу — для него, ему, говорит, деньги нужны, он — дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это... Чёрт!.. Отдал

я ей всё, что было с собой — восемьдесят рублей с чем-то,— и говорю: извините, говорю... я не могу больше с вами, не могу! Ушел, да — вот...

Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал:

— Шесть раз был у нее... Ты не можешь понять, что это такое! Я, может быть, еще шесть раз к ее квартире подходил... войти — не решался... не мог! Теперь она — уехала...

Он положил руки на стол и шёпотом, двигая пальцами, сказал:

— Не дай бог опять встречу ее... не дай бог! Тогда — всё к чёрту! Идем домой... идем!

Пошли; он пошатывался и ворчал:

— Вот как, брат...

Меня не удивила история, рассказанная им,— мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное.

Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.

XX

Три лета прожил я «десятником» в мертвом городе, среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью ломают неуклюжие каменные лавки, а весною строят такие же.

Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал его пять рублей. Если в лавке перестилали пол — я должен был выбрать со всей ее площади землю на аршин в глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не получал ничего, но, занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь.

И рабочие и подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности, и нимало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись:

— Стараешься ты за пять-то целковых, как за двадцать, глядеть смешно!

Я указывал хозяину, что, выигрывая на мсем труде рубль, он всегда теряет в десять раз больше, но он, подмигивая мне, говорил:

— Ладно, притворяйся!

Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству, это вызвало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало; таков порядок: все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое.

Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковер, ножницы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь:

— Составь список вещей и снеси всё в кладовую!

А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по нескольку раз переправлять опись их.

Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейне; хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист города, злой старичок, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и всё, что загромождало квартиру хозяина, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака; мне вообще не нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним. И было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, всё увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах Королевы Марго было тоже тесно, но зато — красиво.

Жизнь вообще казалась мне бессвязной, нелепой, в ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весною половодье затопит их, выпятит полы, исковеркает наружные двери; спадет вода — загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает Ярмарку, портит здания, мостовые; эти ежегодные потопы приносят огромные убытки людям, и все знают, что потопы эти не устранятся сами собою.

Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов,— люди поохают и — строят новые суда,

а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчея на одном и том же месте!

Я спрашиваю об этом Осипа, он удивляется и хохочет.

— Ах ты, цапля, гляди, как цапнул! Да тебе какое дело до этого до всего? Тебе-то что, а?

Но тут же говорит более серьезно, не угашая, однако, огонька насмешки в голубых, не по-старчески ясных глазах:

— Это ты дельно приметил! Положим, ни к чему оно тебе, а может, и годится! Ты вот еще что приметь...

И рассказывает сухонькими словами, щедро присыпая их прибаутками, неожиданными сравнениями и всяким балагурством:

— Вот — жалуются люди: земли мало, а Волга весною рвет берега, уносит землю, откладывает ее в русле своем мелью; тогда другие жалуются: Волга мелеет! Весенние потоки да летние дожди овраги роют,— опять же земля в реку идет!

Он говорит без жалости, без злобы, а как бы наслаждаясь своим знанием жалоб на жизнь, и хотя слова его согласно вторят моим мыслям,— мне неприятно слушать их.

— А еще приметь — пожары...

Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда бы за Волгою не горели леса; каждогодно в июле небо затянуто мутно-желтым дымом; багровое солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как больное око.

— Леса — пустое дело,— говорит Осип,— это имение барское, казенное; у мужика лесов нет. Города горят — это тоже не великое дело,— в городах живут богатые, их жалеть нечего! Ты возьми села, деревни,— сколько деревень за лето сгорит! Может — не меньше сотни, вот это — убыток!

Он тихонько смеется:

— Есть именье, да нет уменья! И выходит у тебя со мной, что будто не на себя человек работает, не на землю, а на огонь да воду!

— Что же ты смеешься?

— А что? Пожар слезой не потушишь, а половодье со слез мощней будет.

Я знаю, что этот благообразный старик — самый умный человек изо всех, кого я видел, но что же он любит, что ненавистно ему?

Я думаю об этом, а он продолжает подкладывать в мой костер сухие словечки.

— А ты погляди, как мало люди силу берегут, и свою и чужую, а? Как хозяин-то мотает тебя? А водочка чего стоит миру? Сосчитать невозможно, это выше всякого ученого ума... Изба сгорит — другую можно сбить, а вот когда хороший мужик пропадает зря — этого не поправишь! Ардальон, примерно, али бы Гриша — гляди, как мужик вспыхнул! Глуповатый он, а душевный мужик, Гриша-то! Дымит, как сноп соломы. Бабы-то напали на него, подобно червям на убитого в лесу.

Я спрашиваю его — безобидно, с любопытством:

— Зачем ты рассказываешь хозяину мои мысли?

Спокойно и даже ласково он объясняет:

— А чтоб он знал, какие у тебя вредные мысли; надо, чтоб он тебя учил; кому тебя поучить, кроме хозяина? Я не со зла говорю ему, а по моей жалости к тебе. Парнишко ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит. Украдь — я смолчу, к девкам ходи — тоже смолчу, и выпьешь — не скажу! А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай...

— Не буду я с тобой говорить!

Он помолчал, отковыривая ногтем смолу с ладони, потом, взглянув на меня ласковыми глазами, сказал:

— Врешь, будешь! С кем тебе еще говорить-то? И не с кем...

Чистенький, аккуратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему.

Иногда он напоминает начетчика Петра Васильева, иногда — извозчика Петра, порою в нем является что-то общее с дедом — он так или иначе похож на всех стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя,— тяжело и противно. Они как бы выедают душу, их речи — умные речи,— покрывают сердце рыжею ржавчиною. Осип — добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своею

гибкостью, этот ум мертвил меня, и в конце концов я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен.

В душе моей вскипали черные мысли:

«Все люди — чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки, да и на земле все — чужие; кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и всё любит. Бабушка и великолепная Королева Марго».

Иногда эти и подобные мысли сгущались темною тучей, жить становилось душно и тяжко, а — как жить иначе, куда идти? Даже говорить не с кем, кроме Осипа. И я всё чаще говорил с ним.

Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил:

— Упрям дятел, да не страшен, никто его не боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты в монастырь, поживешь там до возраста — будешь хорошей беседой богомолов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам — доход! Душевно советую. К мирским делам ты, видно, не способен, что ли...

В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запутался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес,— грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь знаешь его.

Я не пил водки, не путался с девицами,— эти два вида опьянения души мне заменяли книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить так пусто и ненужно, как, мне казалось, живут люди.

Мне только что минуло пятнадцать лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренно разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чем беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни уменья.

И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода не крепко стоящий сосуд.

Я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб;

когда я видел жестокое,— кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком,— это вызывало у меня органическое отвращение; оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался, как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли.

Иногда так страстно хотелось избить мучителя-человека и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рожденного бессилием, со стыдом и тоскою.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию.

Был у меня в ту пору ядовитый враг, дворник одного из публичных домов Малой Покровской улицы. Я познакомился с ним однажды утром, идя на Ярмарку; он стаскивал у ворот дома с пролетки извозчика бесчувственно пьяную девицу; схватив ее за ноги в сбившихся чулках, обнажив до пояса, он бесстыдно дергал ее, ухая и смеясь, плевал на тело ей, а она, съезжая толчками с пролетки, измятая, слепая, с открытым ртом, закинув за голову мягкие и словно вывихнутые руки, стукалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролетки, о подножку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни.

Извозчик, хлестнув лошадь, поехал прочь, а дворник впрягся в ноги девицы и, пятясь задом, поволок ее

на тротуар, как мертвую. Я обезумел, побежал и, на мое счастье, на бегу, сам бросил или нечаянно уронил саженный ватерпас, что спасло дворника и меня от крупной неприятности. Ударив его с разбегу, я опрокинул дворника, вскочил на крыльцо, отчаянно задергал ручку звонка; выбежали какие-то дикие люди, я не мог ничего объяснить им и ушел, подняв ватерпас.

У съезда догнал извозчика; он, поглядев на меня с высоты козел, одобрительно сказал:

— Ловко ты его двинул!

Я сердито спросил его: как же это он позволил дворнику издеваться над девицей,— он сказал спокойно, брезгливо:

— А мне — пес их возьми! Мне господа заплатили, когда сажали ее в пролетку,— какое мне дело, кто кого бьет?

— А убили бы ее?

— Ну да — скоро убьешь этакую,— сказал извозчик так, как будто он неоднократно пробовал убивать пьяных девиц.

С того дня я почти каждое утро видел дворника; иду по улице, а он метет мостовую или сидит на крыльце, как бы поджидая меня. Я подхожу к нему, он встает, засучивая рукава, и предупредительно извещает:

— Ну, сейчас я тебя обломаю!

Ему было лет за сорок; маленький, кривоногий, с животом беременной женщины, он, усмехаясь, смотрел на меня лучистыми глазами, и было до ужаса странно видеть, что глаза у него — добрые, веселые. Драться он не умел, да и руки у него были короче моих,— после двух-трех схваток он уступал мне, прижимался спиною к воротам и говорил удивленно:

— Ну, погоди же, хват!..

Эти сражения надоели мне, и я сказал ему однажды:

— Послушай, дурак, отвяжись ты от меня, пожалуйста!

— А ты зачем бьешься? — спросил он укоризненно.

Я тоже спросил его, зачем он так гадко издевался над девицей.

— А тебе что? Жалко ее?

— Жалко, конечно.

Он помолчал, вытер губы и спросил:

— А кошку жалко тебе?

— Ну, и кошку жалко...

Тогда он сказал мне:

— Ты сам дурак, жулик! Погоди, я те покажу...

Я не мог не ходить по этой улице — это был самый краткий путь. Но я стал вставать раньше, чтобы не встречаться с этим человеком, и все-таки через несколько дней увидел его — он сидел на крыльце и гладил дымчатую кошку, лежавшую на коленях у него, а когда я подошел к нему шага на три, он, вскочив, схватил кошку за ноги и с размаху ударил ее головой о тумбу, так что на меня брызнуло теплым,— ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая:

— Что?

Ну, что же тут делать! Мы катались по двору, как два пса; а потом, сидя в бурьяне съезда, обезумев от невыразимой тоски, я кусал губы, чтобы не реветь, не орать. Вот вспоминаешь об этом и, содрогаясь в мучительном отвращении, удивляешься — как я не сошел с ума, не убил никого?

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи,— это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нем, дабы вы вспомнили, как живете и в чем живете.

Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!

Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить, но нельзя быть сентиментальным и нельзя скрывать грозную правду в пестрых словечках красивенькой лжи. К жизни, к жизни! Надо растворить в ней всё, что есть хорошего, человечьего в наших сердцах и мозгах.

...Меня особенно сводило с ума отношение к женщине; начитавшись романов, я смотрел на женщину как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, ее рассказы о богородице и Василисе Премудрой, несчастная прачка Наталья

и те сотни, тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают ее, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью.

Славу женщине пели книги Тургенева, и всем, что я знал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ Королевы — Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого.

Возвращаясь вечером с Ярмарки, я останавливался на горе, у стены кремля, и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синеет земная, любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа на свинью, и ее лениво тащит куда-то невидимый пароход.

Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни.

И всё казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь.

Однажды, когда я сидел на скамье под стеною кремля, рядом со мною очутился дядя Яков. Я не заметил, как он подошел, и не сразу узнал его; хотя в течение нескольких лет мы жили в одном городе, но встречались редко, случайно и мельком.

— Эк тебя вытянуло,— шутливо сказал он, толкнув меня, и мы стали разговаривать, как чужие, но давно знакомые люди.

По рассказам бабушки я знал, что за эти годы дядя Яков окончательно разорился, всё прожил, прогулял; служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо: смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя веселые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город «погулять». Никто из арестантов не убежал, но один был пойман как раз в ту минуту,

когда он усердно душил какого-то дьякона. Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло,— арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. Теперь он жил без работы, на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время. О сыне он говорил странно:

— Он у меня серьезный стал, важный! Солист. Не успеешь вовремя самовар подать али одежду вычистить — сердится! Аккуратный парень. И чистоплотен...

Сам дядя сильно постарел, весь загрязнился, облез и обмяк. Его веселые кудри сильно поредели, уши оттопырились, на белках глаз и в сафьяновой коже бритых щек явилась густая сеть красных жилок. Говорил он шутливо, но казалось, что во рту у него что-то лежит и мешает языку, хотя зубы его были целы.

Я обрадовался возможности поговорить с человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать. Мне ярко вспомнились его бойкие, смешные песни, и прозвучали в памяти дедовы слова о нем:

«По песням — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит!»

По бульвару мимо нас ходила чистая публика: пышные барыни, чиновники, офицеры; дядя был одет в потертое осеннее пальто, измятый картуз, рыженькие сапоги и ежился, видимо, стесняясь своим костюмом. Мы ушли в один из трактиров Почаинского оврага и заняли место у окна, открытого на рынок.

— Помните, как вы пели:

Нищий вывесил онучи сушить,
А другой пищий онучи украл...

Когда я произнес слова песни, я вдруг и впервые почувствовал ее насмешливый смысл, и мне показалось, что веселый дядя зол и умен.

Но он, наливая водку в рюмку, задумчиво сказал:

— Да, пожил я, почудил, а — мало! Песня эта — не моя, ее составил один учитель семинарии, как, бишь, его звали, покойника? Забыл. Жили мы с ним приятелями. Холостой. Спился и — помер, обморозился. Сколько народу спилось на моей памяти — со-

считать трудно! Ты не пьешь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? Невеселый старичок. С ума будто сходит.

Выпив, он оживился, расправился, помолодел и стал говорить бойчее.

Я спросил его про историю с арестантами.

— Ты слышал? — осведомился он, оглянувшись, и, понизив голос, заговорил:

— Что ж, арестанты? Я ведь не судья им. Вижу — люди, как люди, и говорю: братцы, давайте жить дружно, давайте весело жить; есть, говорю, такая песня:

Судьба веселью не помеха!
Пускай она в дугу нас гнет,
Мы будем жить для ради смеха,
Дурак, кто иначе живет!..

Он засмеялся, взглянул в окно на потемневший овраг, уставленный по дну торговыми ларями, и продолжал, поправляя усы:

— Они, конешно, рады, скучно в тюрьме-то. Ну, вот, кончим проверку, сейчас — ко мне; водка, закуска; когда — от меня, когда — от них, и — закачалась, заиграла матушка Русь! Я люблю песни, пляску, а между ними — отличные певцы и плясуны, до удивления! Иной — в кандалах; ну, а в них не спляшешь, так я разрешал снимать кандалы, это правда. Они, положим, сами умеют снять, без кузнеца, ловкий народ, до удивления! А что я их в город на грабеж выпускал — ерунда, это даже не доказано осталось...

Он замолчал и посмотрел в окно, в овраг, где старьевщики запирали свои лари; там гремело железо засовов, визжали ржавые петли, падали какие-то доски, гулко хлопая. Потом, весело подмигнув мне, негромко продолжал:

— Если правду говорить, так один действительно уходил по ночам, только это не кандальник, а просто вор здешний, нижегородский; у него неподалеку, на Печорке, любовница жила. Да и с дьяконом случилась история по ошибке: за купца приняли дьякона. Дело было зимой, ночь, вьюга, все люди — в шубах, разбери-ка второпях-то, кто купец, кто дьякон?

Это мне показалось смешным, он тоже засмеялся, говоря:

— Да ей-богу! Чёрт их разберет...

Тут дядя неожиданно и странно легко рассердился, оттолкнул тарелку с закуской, брезгливо сморщил лицо и, закурив папиросу, пробормотал глухо:

— Воруют друг у друга, потом друг друга ловят, в тюрьмы прячут, в Сибирь, в каторгу, ну, а я тут при чем? Наплевать мне на всех... У меня — своя душа!

Предо мною встал мохнатый кочегар — он тоже часто говорил «наплевать». И звали его Яковом.

— Ты о чем думаешь? — мягко спросил дядя.

— Жалко вам было арестантов?

— Их легко пожалеть, такие есть ребята, до удивления! Иногда смотришь и думаешь: а ведь я ему в подметки не гожусь, хоть и начальник над ним! Умные, черти, ловкие...

Вино и воспоминания снова приятно возбудили его; облокотясь о подоконник, помахивая желтой рукою с окурком между пальцев, он оживленно заговорил:

— Один, кривой, гравер и часовых дел мастер, за фальшивые деньги судился и бежал, так послушал бы ты, как он говорил! Огонь! Просто поет, как солист. Объясните, говорит, почему казна может печатать деньги, а я — не могу? Объясните! Никто не может объяснить ему это. Никто, и я тоже не могу. А я — начальник над ним! Другой — знаменитый московский вор, тихонький такой, щеголь, чистюля — тот вежливо говорил: люди, говорит, работают до отупения, а я этого не хочу. Я, говорит, это испытал: работаешь, работаешь, станешь с устатку дураком, на грош напьешься, семишник в карты проиграешь, пятачок бабе за ласку, потом — снова голоден, беден. Нет, говорит, я в эту игру не играю...

Дядя Яков наклонился к столу и продолжал, покраснев до макушки, возбужденный так, что даже его маленькие уши вздрагивали:

— Они, брат, не дураки, они правильно судят! Ну ее к чёрту, всю эту канитель. Например: как я жил? Вспомнить стыдно — всё урывками, украдкой, горе — свое, а веселье — краденое! То отец кричит — не смей,

то жена — не моги, то, бывало, сам боишься целковому голову свернуть. Вот и прозевал жизнь, а на старости лет сыну своему лакеем служу. Что скрывать? Служу, брат, смирненько, а он на меня покрикивает барином этаким. Говорит — отец, а я слышу —лакей! Что же я, для этого родился, для этого мотался, чтобы сыну служить? Да хоть бы и не было этого,— зачем жил, много ли удовольствия получено мною?

Я слушал его невнимательно. Неохотно и не надеясь на ответ, все-таки сказал:

— Я вот тоже не знаю, как мне жить...

Он усмехнулся.

— Ну... Кто это знает? Не видал я таких, чтобы знали! Так, живут люди, кто к чему привык...

И снова заговорил обиженно и сердито:

— Был у меня, за насилие, один человек из Орла, дворянин, отличнейший плясун, так он, бывало, всех смешил, пел про Ваньку:

Ходит Ванька по погосту —
Это — очень просто!
Ах ты, Ванька, высунь нос-то
Подальше погоста!..

Так я думаю, что это вовсе не смешно, а — правда! Как ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда — мне всё равно: арестантом жить али смотрителем над арестантами...

Он устал говорить, выпил водку и заглянул поптичьи, одним глазом, в пустой графин, молча закурил еще папиросу, пуская дым в усы.

«Как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать»,— нередко говаривал каменщик Петр, совершенно непохожий на дядю Якова. Сколько уже знал я таких и подобных поговорок!

Больше ни о чем не хотелось спрашивать дядю. Грустно было с ним, и жалко было его; всё вспоминались бойкие песни и этот звон гитары, сочившийся радостью сквозь мягкую грусть. Не забыл я и веселого Цыгана, не забыл и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думал невольно: «Помнит ли он, как задавили Цыгана крестом?»

Не хотелось спросить об этом.

Я смотрел в овраг, до краев налитый сыроватой августовской тьмою. Из оврага поднимался запах яблок и дынь. По узкому въезду в город вспыхивали фонари, всё было насквозь знакомо. Вот сейчас загудит пароход на Рыбинск и другой — в Пермь...

— Однако надо идти,— сказал дядя.

У двери трактира встряхивая мою руку, он шутливо посоветовал:

— Ты не хандри; ты как будто хандришь, а? Плюнь! Ты молоденький еще. Главное, помни: «Судьба — веселью не помеха»! Ну, прощай, мне — к Успенью!

Веселый дядя ушел, оставив меня еще более запутанным его речами.

Я поднялся в город, вышел в поле. Было полнолуние, по небу плыли тяжелые облака, стирая с земли черными тенями мою тень. Обойдя город полем, я пришел к Волге, на Откос, лег там на пыльную траву и долго смотрел за реку, в луга, на эту неподвижную землю. Через Волгу медленно тащились тени облаков; перевалив в луга, они становятся светлее, точно омылись водою реки. Всё вокруг полуспит, всё так приглушено, всё движется как-то неохотно, по тяжкой необходимости, а не по пламенной любви к движению, к жизни.

И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё — и сам я — завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни — красивой, бодрой, честной...

Думалось:

«Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду...»

Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нем,— осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собьешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота — в конце концов всегда выйдешь на дорогу!

Так я и решил.

Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.

II

MUSICA

A dieci anni, ero già un uomo assai serio: fumavo tabacco, sapevo perfettamente sputare tra i denti, camminavo pel mondo tenendo il naso all'aria, e provavo a guadagnarmi il pane col mio proprio lavoro.

Il lavoro era facile e piacevole: al mattino per tempo mia nonna, dopo avermi dato del thè con pane ben nero, mi consegnava un gran sacco sporco e mi diceva carezzevolmente:

— Va con Dio! Che Iddio ti porti fortuna!..

Ed io me ne andavo, girovagando nelle strade, nelle piazze e nei cortili del sobborgo, per cercare i rottami, i cenci, la carta, i vecchi chiodi, le ossa, i frammenti dei ferri di cavallo e delle madreviti di carrozze.

Quest occupazione era vantaggiosa: le ossa si rivendevano a quindici centesimi al chilo, la carta e i cenci a venticinque centesimi, ed il ferro — secondo la qualità— dai venti ai quaranta centesimi.

Si sarebbe potuto fare un mucchio di quattrini, se non si fossero intrufolati in concorrenza parecchi altri ragazzi, e non pochi cenciaioli vecchi d'anni e di mestiere, che ci allungavano bastonate per cacciarci dai posti dov'era maggior mèsse di rifiuti.

Ma altre ragioni s'aggiungevano per impedirmi di diventar milionario. La popolazione del sobborgo mangiava poca carne, e — peggio ancora — non buttava le ossa, preferendo vendersele direttamente. Analogamente succedeva degli stracci. Quanto alla carta, questa faceva — nella vita del sobborgo — una parte assai sinistra. Essa veniva — in generale — dalla città; era portata dai poliziotti, e conteneva scritte delle parole severe che pre-

scrivevano di pagare le tasse o di presentarsi al tribunale. Una carta di quel genere non si butta in instrada: è piuttosto essa che... butta in strada la gente!

Non parliamo poi della difficoltà di trovare i vecchi chiodi, della straordinaria rarità dei ferri di cavallo. Si doveva girare tutta una settimana per raccogliere un chilogramma di materiale e ricavarne venti o trenta centesimi.

Si aggiunga che spesso mi capitava addosso un compagno più ai be e forte di me, oppure un vecchio cenciaiolo arruffato, col naso storto e gli occhi maligni, ed essi mi carpivano tutto il mio bottino, e cosi era perduto — con lacrime ed ire — il frutto di due o tre giorni di lavoro.

Una giornata assai calda mi addormentai sulla sabbia presso una siepe. Avevo un paio di calzoni quasi nuovi, ma quando mi svegliai perchè un vecchio cane curioso era venuto a leccarmi una guancia con la sua lingua ruvida, non avevo più il mio bel paio di calzoni. Mi colsi assai di tale perdita, non perchè sentissi gran bisogno di questa parte del mio abbigliamento, ma perchè se ne rattristò mia nonna.

Talora mi succedeva di soffrire gli assalti dei «cacciatori di cappelli». Era una bella compagnia di buontemponi: non si sapeva donde uscissero, quasi fossero caduti dal cielo; vi si mettevan davanti, vi strappavano il cappello dal capo e sparivano come il fumo cacciato dal vento.

Non bastava ancora: s'incontrava pure della gente alla quale la vita doveva sembrare si noiosa da dover distrarsi col tormentare un povero ragazzo tirandogli le orecchie, i capelli, e pizzicandolo. Il ragazzo strillava, porgendo cosi un piccolo divertimento agli uomini sfaccendati.

E v'erano pure non pochi altri dispiaceri, il primo dei quali consisteva nello stomaco, che pretendeva quasi sempre di ricevere pane. Ma in generale la vita passava bene: un uomo libero esce spesso vittorioso dalla lotta con la fame, ed io ero libero come un uccello.

Tutta la mattina camminavo scalzo per le strade polverose del sobborgo, scavando con un bastone tra i mucchi di rifiuti. Non raramente scoprivo degli oggetti misteriosi e interessantissimi.

Un frammento di porcellana con un fiore dipinto può presentare il resto di un pranzo di guerrieri; un pezzo di vetro colorato rammenta le pietre preziose delle immagini sante d'una chiesa. Tra quella mescolanza di cose d'ogni genere, molte ve ne sono che fanno pensare.

La massa dei rifiuti è composta di roba che una volta formava degli oggetti che la gente apprezzava. Per quello che oggi è immondezza, un di gli uomini si accapigliavano.

Io mi compiacevo di sedere, nelle giornate calde, all' ombra di una siepe, a contemplando una scarpa buttata od un cappello sdruscito, meditare sul loro destino. Chi mai portava quella roba quand'era nuova? Era gente buona o cattiva? Amava o no i suoi bambini?

Mia nonna mi raccontava delle bellissime fiabe. Ed altro io non avevo certo di bello, di magico e di meraviglioso nella mia vita. Ma le mie scoperte tra i rifiuti della strada mi davano un gran conforto.

Ecco che, per esempio, mi si presentava allo sguardo una scatoletta di latta, tutta pesta e arrugginita, che doveva aver prima contenuto le conserve di pesci o il lucido delle scarpe. Io però riflettendoci, mi convincevo che potesse trattarsi di un pezzo della corazza d'un eroe che difendeva gli innocenti oppressi ed era stato colpito a morte da un nemico malvagio...

Ecco un pezzo di vetro azzurro: una lampada rotta o forse — chi sa? — una boccetta di farmacia. Ma, rigirandolo con attenzione si poteva, riconoscervi un frammento di quel palazzo di cristallo, nel quale da molti anni giaceva come morta la principessina addormentata, e poi era sopraggiunto il valoroso guerriero che con un colpo della sua spada sgominava gli incanti maligni, ed allora tutto si destava, incominciava a rivivere, a giubilare, e la principessina sorrideva dolcemente, come il primo raggio del sole.

La vita era buona davvero!

* * *

Quando un ragazzo sogna troppo, può andar incontro a dei grossi guai. Ecco infatti quel che mi capitò un giorno.

Tutto rapito dalla rosea nube di ricordi meravigliosi delle fiabe di mia nonna, infilai non so come una strada a

me ignota. A un certo punto mi arrestai, sorpreso da suoni che non avevo mai udito.

Guardai attorno: la strada era selciata e scopata con molta pulizia. Era chiaro che nulla ci si sarebbe trovato d'interessante.

Ai lati di quella via elegante si scorgevano belle casette, seminascoste nei giardini come fossero nidi.

S'avanzava la sera: in fondo alla strada, dietro gli alberi di un gran parco scendeva il sole, mentre il cielo rosso brillava tra i rami. Sulle lastre delle finestre fiammeggiavano i caldi raggi del tramonto, e persino le pietre del selciato rosseggiavano.

D'ogni parte venivano i torrenti di luce e la strada pareva tutta fondersi nel giuoco di una fiamma magica; nell'aria rosea sonnecchiavano i rami soffusi di polvere d'oro, e tutto ricordava le fantastiche città degli eroi, delle fate e di altri esseri meravigliosi.

Nel silenzio pensieroso e dolce, ondeggiavano i suoni, carezzevoli e luminosi come il vespero. Una musica ch'io non avevo mai sentito.

Dietro la siepe dei rami sodi d'acacia e di lillà occhieggiava una casetta con le persiane verdi, e dalle finestre aperte venivano quei suoni, simili ai raggi del sole bacianti lo specchio di un lago tranquillo.

Compresi subito d'essere giunto al limitare di un regno magico, e mi proposi naturalmente di procedere all'esplorazione della regione misteriosa, di toccarne con mano e assaporarne col cuore le meraviglie infinite.

Buttai a terra il mio sacco, mi arrampicai per la ringhiera e la siepe che separavano la casetta dalla strada, e dopo essere passato tra gli arbusti del giardino mi avvicinai alle finestre.

Queste erano più alte della mia testa; io però mi aggrappai alla persiana d'una di esse e m'assisi sul davanzale tutto coperto di vasi di fiori. Allora scorsi una signora biancovestita, volta di fianco alla finestra, seduta dinanzi una grande cassa nera; quella cassa aveva una specie d'enorme mascella, ricca di denti bianchi e neri; la signora batteva con le dita sopra questi denti e la cassa... cantava! Stupefacente! Le mani di lei volavano come due grandi farfalle, ed ella stessa, con la sua ampia candida veste,

pareva avesse delle ali, pronta a sollevarsi nell'aria e volare verso il cielo rosso e azzurro.

Io ascoltavo la musica e pensavo: chi è questa signora?

Certo — dicevo fra me — dev'essere una principessina prigioniera, e non lontano da lei sarà lo stregone che la sorveglia. Ma già dal fondo infinito della strada polverosa balza a cavallo un guerriero cinto di lucente corazza, ed essa chiama il suo liberatore con la sua musica!

Preso dal desiderio di veder lo stregone, mi avanzai un pochino... e qui cominciò una bella storia.

Prima di tutto, urtai un vaso di fiori che precipitò sul pavimento. Allora la musica cessò improvvisamente; la signora fece un salto, agitò le ali della sua vesta e strillò acutamente. Impietrai di un pauroso attonimento: la signora aveva un viso largo e rosso; il suo occhio sinistro era velato da una cateratta che sembrava una pietra d'opale. Non aveva delle ali: erano le sue lunghe braccia ossute ch'essa volgeva ora verso di me, e la sua bocca — tonda come quella di un pesce e irta di denti giallastri — gettava continue strida: qualche cosa di crudele, di cattivo.

Mi sembrò allora evidente ch'essa fosse una strega, una cattiva fata che doveva attirare nella sua casa allettatrice i bambini, per cucinarli e mangiarseli.

Non avevo alcuna intenzione di offrirmi come pasto ai denti della strega, ma non potevo ormai più scappare, perchè essa mi aveva acciufato ai capelli e ad una spalla, accompagnando la stretta con urla deliziose:

— Ah, ladruncolo! Aspetta, aspetta ch'io t'insegnerò a entrare in casa mia!

Accorse il suo servo, un uomo vestito di nero coi capelli soffici e dei baffoni sotto un naso rubicondo.

Egli mi ghermì, mi sbattè qua e là pizzicandomi e gridando:

— Parla! Parla!

Ma che potevo dirgli? Sapevo benissimo che doveva essere inutile parlare con mostri di quel genere: mi avrebbero mangiato lo stesso!

Mi consolava soltanto il fatto che quel demonio nerovestito odorava fortemente di cipolle arrostite, onde argui-

vasi che doveva aver pranzato da poco e non si sarebbe messe subito a divorarmi.

Che mi volessero ingrassare prima di mangiarmi perchè fossi più gustoso? Cosi almeno usano fare le streghe...

Ma la storia andava facendosi abbastanza strana: il servo m'acchiappò una mano e mi trascinò fuori, sulla strada. All'angolo mi consegnò ad un poliziotto, dicendogli:

— Portalo al posto di guardia, è un ladruncolo: voleva rubare i fiori!

— Io ladruncolo? Io?!

L'offesa era insopportabile, ma che fare?

Capivo che la fiaba era finita perchè non c'è niente di magico in un poliziotto.

Io conoscevo molto bene, del resto, quel poliziotto. Si chiamava «Zio Michele». Egli amava impadronirsi dei ragazzini e soffregarne le guancie con la sua barba nella quale crescevano aghi d'argento. Zio Michele mi conosceva pure: mi calcò sulla testa il suo pugno (dieci chili di peso) e replicò con persuasione:

— Costui un ladruncolo? No, ciò non è possibile!

E chinandosi su di me, mi guardò severo negli occhi, chiedendomi:

— Perchè sei entrato dalla finestra?

Ed io dissi:

— Per sentire la musica.

— La musica?

— Ma si!

— Quale musica?

Ed io spiegai:

— La suonava la strega da un occhio solo...

Ma qui mi si rimproverò perchè non era permesso di chiamarla cosi, e per dare maggior forza alla loro osservazione, entrambi si diedero a stiracchiarmi ognuno da parte sua, onde io rimanevo nell'aria dondolando i piedi...

Appena calmatisi un po', zio Michele mi chiese di nuovo:

— Ma tu credi, bricconcello, che si possa penetrare per le finestre in una casa?

Mi spiegai senceramente:

— Quando non sono troppo alte, si!

Zio Michele ebbe un lampo di riso, chi sa perchè; ma tosto ridivenne severo.

— Va bene, figlio mio... te lo farò ben io capire, e ti mostrerò come fare... Andiamo!

E mi condusse lungo la strada, mentre l'uomo nerovestito ritornava verso la casa della strega, gridando al poliziotto:

— Dagli qualche bella bastonata a quel galeotto!

Zio Michele rispose:

— Io gli darò... ò... ò!..

Ma questo più non m'impauriva. Dopo essere sfuggito al pericolo d'essere divorato arrosto, mi sentivo molto meglio, aspettando con sommessione l'inevitabile: certamente Zio Michele m'avrebbe accarezzato il collo col suo mento ispido.

Girato l'angolo della strada, si accostò, sospirò e mi chiese:

— Hai dunque voluto sentir la musica?

— Si — dissi.

— È vero?

— È vero.

Sorrise.

— Sai, l'hai ben chiamata «la strega»! E tale davvero, una strega effettiva!

— Lo so! — dissi.

— Perchè lo sai?

— Ha un occhio solo.

— Oh... ma non tutti quelli che hanno un occhio solo son cattivi!

— Essa suona su qualche cosa...

— Già: quello è uno strumento e si chiama il pianoforte. É una specie di mobile — mi spiegava Zio Michele — Una enorme cassa, ma non è interessante... Non si può portare da un uomo solo... É troppo pesante!

Restò pensieroso, tacque e, dando un amichevole colpetto con la palma della mano sulla mia testa continuò:

— Ma che musica è mai quella, si è necessario sederle appresso, come un cane incatenato! Una vera musica ci dà l'armonica: uno strumento che si prende tra le mani, e passeggiando per la strada si può suonare. Cosi l'uomo procura il piacere a tutti, e non soltanto a sè stesso! Quelli

invece si chiudono in stanza e strimpellano... Vieni, vieni da me, nella mia casetta, domenica. Se ti piace sentire la musica, ascolterai la mia armonica. E questa sarà veramente bella!

Dopo aver un po' meditato, chiesi a Zio Michele:

— Ma tu non mi graffierai il collo con la tua barba?

— No — promise lui.

— Allora verrò! — consentii generosamente.

— Ecco, io sarò buono con te. Ma tu, per sentire la musica, non arrampicarti più per le finestre, sai! Hai visto? T'han preso per un ladruncolo... Ti potrebbero ancora bastonare!..

E spingendomi via leggermente, concluse:

— Che sia una strega, quest'è vero, figlio mio!

Ma io non gli credevo più...

— Che strega? Semplicemente una signora.

ПЕРЕВОД

МУЗЫКА

В десять лет я был уже вполне солидным мужчиной: курил табак, умел превосходно сплевывать сквозь зубы, держался независимо и пытался зарабатывать хлеб собственным трудом.

Работа была легкой и приятной. Рано утром, напоив меня чаем с вкусным черным хлебом, бабушка совала мне большой грязный мешок и ласково говорила:

— Ступай с богом! Дай тебе бог удачи!..

Я уходил и бродил по улицам, перекресткам и дворам слободы, собирая жестянки, тряпки, бумагу, старые гвозди, кости, сломанные подковы и гайки от телег.

Это было прибыльное занятие: за пуд костей мне давали пятиалтынный, за пуд бумаги и тряпок — четвертак, а за железо — в зависимости от его качества — я выручал от двугривенного до сорока копеек.

Я мог бы скопить уйму денег, если бы не конкуренция других мальчишек, а также старых, понаторевших в этом ремесле ветошников, которые палками отгоняли нас от тех мест, где было свалено больше всего всяких отбросов.

Были и другие причины, помешавшие мне стать миллионером. Жители слободы редко ели мясо и — что хуже всего — не выбрасывали кости, предпочитая продавать их сами. Так же дело обстояло и с тряпками. Что до бумаги, то в жизни слободы она играла роль довольно зловещую. Бумаги приходили обычно из города; их приносили с собой городовые; содержавшиеся в них грозные слова предписывали уплатить налог или предстать перед судом. Такого сорта бумагу на улицу не выбросишь; скорее уж такая бумага... выбросит тебя на улицу!

Нечего говорить, как трудно найти старые гвозди и какую необычайную редкость представляет подкова. Мне не меньше недели приходилось таскаться по улицам, прежде чем удавалось насобирать пуд всякого барахла, за которое потом я получал копеек двадцать — тридцать.

Кроме того, нередко случалось, что на меня нападал какой-нибудь из моих товарищей, более сильный и ловкий, чем я, либо один старый ветошник с всклокоченными волосами, кривым носом и злыми глазами. Они отнимали всю мою добычу и, несмотря на мои слезы и негодование, плоды двух-трех дней труда оказывались безвозвратно потерянными.

Однажды в жаркий день я уснул под каким-то забором. На мне были почти совсем новые штаны, но когда я проснулся от того, что старый любознательный пес облизал мне шершавым языком щеку, штанов на мне уже не было. Потеря штанов расстроила меня; не скажу, чтобы я испытывал большую необходимость в этой части моего обмундирования, но из-за этого очень огорчилась моя бабушка.

Иногда я становился жертвой налетов «охотников за шапками». Это была веселая компания лоботрясов; они появлялись неизвестно откуда,— сваливались словно снег на голову, срывали шапку и исчезали как дым, развеянный ветром.

Но это еще не всё: мне попадались люди, которым, видимо, жилось до того скучно, что им приходилось развлечения ради мучить несчастного мальчишку, таская его за волосы, трепля ему уши и награждая щипками. Мальчик визжал и доставлял этим некоторое удовольствие взрослым бездельникам.

Были у меня и кой-какие другие неприятности. Больше всего досаждал мне желудок, который, не переставая, требовал хлеба. Однако в общем и целом жилось мне неплохо: свободный человек чаще всего выходит победителем из борьбы с голодом, а я был свободен, как птица.

Целыми днями я ходил босиком по пыльным улицам, разгребая палкой мусорные кучи. Нередко я находил в них таинственные и чрезвычайно интересные вещи.

Обломок блюда, на котором нарисован цветок, напоминал о пиршестве витязей; осколок цветного стекла был похож на драгоценные камни в окладах икон. На свалке всякой всячины многое побуждало к раздумью.

Мусорную кучу образуют вещи, которые некогда были ценными. Из-за того, что теперь стало хламом, люди когда-то вцеплялись друг другу в горло.

Я любил в жаркий день усесться в тени плетня и, созерцая брошенный сапог или изодранную в клочья шапку, размышлять об их прошлой судьбе. Кто носил их, когда они были новыми? Были их владельцы добрыми или злыми? Любили ли они своих детей?

Бабушка рассказывала мне замечательные сказки. В моей жизни только они и были чем-то прекрасным, таинственным, чудесным. Но и находки на помойках весьма развлекали меня.

Вот, например, мне попалась на глаза жестяная банка, ржавая и искореженная. Вероятно, когда-то в ней были рыбные консервы или гуталин. Но, смотря на нее, я убеждал себя, что это обломок панциря героя, который защищал невинных и угнетенных и пал, пораженный насмерть коварным врагом...

Вот осколок голубого стекла: разбитая лампада или, возможно, аптечная склянка. Однако, если присмотреться повнимательнее, в этом осколке можно узнать обломок того самого хрустального за́мка, в котором

долгие годы, словно мертвая, покоилась спящая царевна, пока славный витязь одним ударом меча не развеял злые чары; и тогда всё пробудилось, всё вернулось к жизни и радости, и царевна весело улыбнулась, словно первый луч восходящего солнца.

Право, жизнь была прекрасна!

* * *

Когда мальчик слишком много мечтае , его ждут жестокие разочарования. Так со мной и случилось.

Погрузившись в розовое облако воспоминаний о чудесных бабушкиных сказках, я, сам уж не знаю как, забрел на незнакомую улицу. Вдруг я остановился, пораженный звуками, каких до этого никогда еще не слышал.

Я огляделся по сторонам: улица была вымощена и чисто подметена. Мне стало совершенно ясно, что ничего интересного здесь не найдешь.

По обеим сторонам этой чистенькой улицы выстроились красивые домики, прятавшиеся в зелени садов, как птичьи гнезда.

Вечерело. В глубине улицы, за деревьями большого парка, садилось солнце. Сквозь ветви сияло багровое небо. Горячие лучи заката пылали в стеклах окон, даже камни мостовой стали красными.

Со всех сторон лились потоки света, и, казалось, вся улица была охвачена игрой волшебного пламени; в розовом воздухе дремали ветви, окутанные золотой пылью; всё напоминало сказочные города героев, волшебниц и других чудесных существ.

В мягкой задумчивой тишине плыли звуки, ласковые и светлые, как вечер. Такой музыки я никогда еще не слышал.

Из-за живой изгороди акации и сирени выглядывал домик с зелеными ставнями, и из его открытых окон неслись звуки, похожие на солнечные лучи, целующие гладь спокойного озера.

Я сразу же догадался, что вступил в пределы волшебного царства, и, понятно, решил отправиться на разведку таинственной страны, чтобы своими руками потрогать ее бесчисленные чудеса и насладиться ими.

Бросив мешок на землю, я перелез через ограду, отделявшую домик от улицы, и, продравшись сквозь кусты, подошел к окнам.

Окна были выше моей головы; но я ухватился за одну из рам и уселся на подоконник, плотно заставленный цветочными горшками. Я увидел даму в белом платье, которая, повернувшись боком к окну, сидела перед большим черным ящиком. У ящика было что-то вроде огромных челюстей с множеством белых и черных зубов. Дама ударяла пальцами по этим зубам, и ящик... пел! Поразительно! Ее руки летали словно две большие бабочки; казалось, что и у самой дамы, одетой в широкое белое платье, есть крылья, что она вот-вот поднимется и улетит навстречу багрово-синему небу.

Я слушал музыку и думал: кто же эта дама?

«Несомненно,— говорил я себе,— она — пленная принцесса и где-то неподалеку притаился колдун, который ее сторожит. Но в конце длинной улицы уже скачет рыцарь в сверкающих латах; этой музыкой она зовет своего избавителя!»

Охваченный желанием увидеть колдуна, я подался немного вперед... и вот тут началась веселая история!

Прежде всего я опрокинул на пол цветочный горшок. Музыка сразу оборвалась. Дама вскочила, взмахнула крыльями своего платья и пронзительно завизжала. Я окаменел от ужаса: у дамы было широкое красное лицо; ее левый глаз закрывало бельмо, похожее на большой опал. У нее вовсе не было крыльев — она протягивала ко мне свои длинные костлявые руки, а из ее рта — круглого, как у рыбы, и ощерившегося пожелтевшими зубами — рвался истошный вопль. Это было нечто страшное и безобразное!

Теперь мне стало совершенно ясно, что она — ведьма, баба-яга, которая заманивает к себе в дом маленьких детей, чтобы их жарить и есть.

У меня не было никакого желания предлагать себя ведьме на жаркое, но убежать от нее я уже не мог. Крепко ухватив меня за волосы и за шиворот, она вопила:

— Ах ты, воришка! Ну погоди, погоди, я покажу тебе, как лазить ко мне в дом!

Прибежал ее слуга, лохматый мужчина в черной рубахе, с огромными усищами под огненно-красным носом.

Он вцепился в меня. Он тряс меня, дубасил и кричал:

— Говори! Говори!

Что мог я ему сказать? Я очень хорошо понимал, что разговаривать с такими чудовищами бесполезно: всё равно сожрут!

Утешало меня только то, что от одетого в черное дьявола сильно пахло жареным луком, из чего я заключил, что он только что пообедал и, следовательно, не станет глотать меня сразу.

А что если, прежде чем зажарить, они захотят меня как следует откормить, чтобы я стал еще вкуснее? Так, по крайней мере, обычно поступают все ведьмы...

Однако дело обернулось довольно странным образом. Слуга схватил меня за руку и выволок из дома на улицу. На углу он сдал меня городовому со словами:

— Отведи его в участок, это воришка, он хотел украсть цветы.

— Я воришка? Я?!

Оскорбление было непереносимым, но что я мог поделать?

Я понял, что сказка кончилась, ибо в личности городового нет ничего волшебного.

Кроме того, я очень хорошо знал этого городового. Его звали дядя Михаил. Он любил хватать ребятишек и щекотать их щеки своей бородой, в которой сверкали серебряные нити. Дядя Михаил меня тоже знал. Он опустил мне на голову свой кулак (с полпуда весом) и сказал уверенно:

— Это он-то воришка? Быть того не может!

Наклонившись, он строго посмотрел мне в глаза и спросил:

— Зачем ты залез в окно?

Я ответил:

— Чтобы послушать музыку.

— Музыку?

— Ну да!

— Какую музыку?

Я объяснил:

— Одноглазая ведьма играла..,

Мне тут же было растолковано, что ее не следует называть ведьмой; а для того, чтобы придать своим словам больше веса, оба принялись таскать меня за волосы, так что в конце концов я повис между ними, дрыгая в воздухе ногами...

Немного успокоившись, дядя Михаил снова спросил меня:

— Ты думаешь, мошенник, что в дом можно залезать через окна?

— Можно, если только они не высоко,— ответил я чистосердечно.

Дядя Михаил почему-то громко расхохотался, но тут же опять сделал строгое лицо.

— Ладно, сынок... Я тебя проучу... Я тебе покажу, как... Пошли!

Он повел меня по улице; мужчина в черной рубахе повернул к дому ведьмы и еще раз крикнул городовому:

— Выпори-ка этого мошенника!

— Уж я ему задам! — ответил дядя Михаил.

Но это меня больше не пугало. Избежав опасности быть зажаренным и съеденным, я почувствовал огромное облегчение и теперь покорно ждал неизбежного: несомненно, дядя Михаил исцарапает мне всю шею своим колючим подбородком.

Завернув за угол, он остановился, вздохнул и спросил:

— Значит, ты хотел послушать музыку?

— Да,— ответил я.

— Не врешь?

— Не вру.

Он улыбнулся.

— Это ты хорошо ее назвал — ведьма! Ведьма и есть!

— Я знаю!

— Откуда ты знаешь?

— У нее один глаз.

— Ну, не все одноглазые — злые люди.

— Она на чем-то играла...

— Инструмент такой, пианино называется, вроде мебели,— объяснил мне дядя Михаил.— Большой

ящик — вот и всё. Одному его не поднять... Больно уж он тяжелый!

Он задумался, помолчал и, дружелюбно шлепнув меня по затылку, продолжал:

— И что это за музыка, если надо сидеть подле нее, словно пес на цепи! Настоящая музыка — это гармонь. Берешь ее в руки, ходишь по улицам и играешь. Не одному тебе — всем удовольствие. А эти — запрутся у себя в комнате и бренчат... Приходи-ка ко мне домой в воскресенье. Коли любишь слушать музыку, послушаешь мою гармонь. Вот будет ладно!

Немного подумав, я спросил у дяди Михаила:

— А бородой мне шею царапать не будешь?

— Не буду,— пообещал он.

— Тогда приду,— согласился я великодушно.

— Ладно, я тебя не трону. Но знаешь что, не лазай ты больше в окна, чтобы слушать музыку. Видал? Тебя за воришку приняли... А могли бы еще и выпороть!..

И, легонько подтолкнув меня, добавил:

— А что она ведьма, так это верно, сынок!

Но я ему больше не верил...

— Какая там ведьма? Просто барыня.

МУЗЫКА

Я сижу в кабинете жандармского полковника, в маленькой комнате, сумрачной и тесной; широкий письменный стол, три кресла, обитые темной кожей, такой же диван и большой шкаф почти сплошь заполняют ее; тягостное впечатление тесноты особенно усилено обилием фотографий на стенах.

Их очень много: группы военных, дамы, дети, снимок с какого-то лагеря, незнакомый мне город на крутом берегу реки, белая лошадь, которую держит на поводу маленький кадет, и монах, снятый во весь рост,— он похож на каменную бабу в степи.

Полковник — высокий, в серой тужурке, немножко сутулый. Лицо у него прозрачное, худощавое. Его голубовато-серые глаза велики и красивы, но смотрят печально, устало. Ему, вероятно, немногим больше сорока лет, но борода у него седая, волнистые волосы редки, по левой щеке часто пробегает судорога, заставляя его мигать.

Сунув руки в карманы тужурки, он медленно шагает длинными ногами мимо стола и нездоровым голосом говорит:

— Как же вы это объясните, а? Это нужно объяснить...

В кабинете два окна, но они плотно закрыты темно-красными шторами; между мною и полковником — красноватая, душная мгла, насыщенная запахами кожи, лекарства и крепким дымом душистого табака.

Когда конвойные вели меня из тюрьмы по веселым улицам города, я чувствовал себя героем; воспоминания о несправедливостях жизни разжигали в сердце красивый гнев юности, и я шел на допрос, как на единоборство.

Сначала я отвечал на вопросы полковника задорно, грубовато, добиваясь от него криков и угроз, стремясь вступить в спор со злою вражьей душой, но, когда я присмотрелся к его восковому лицу и печальным глазам, прислушался к его надломленному голосу и равнодушным вопросам,— в сердце всё погасло, задор исчез, стало тягостно, скучно и неловко.

Врага — не было, и не было ничего злого в этом усталом человеке. Ему бы сегодня, в светлый день весны, уйти в поле, в лес и лечь там на молодой траве, лицом в небо, а он кружится по комнате, напрасно теряя время со мною, ставя мне всё один и тот же надоедный вопрос:

— Зачем вы ездили в Ярославль?

— Я же сказал.

— В это нельзя поверить,— говорит он, внимательно разглядывая пепел папиросы, и снова шаркает туфлями по паркету.

Он смотрит на всё вокруг странно пристальным взглядом, как будто вещи в кабинете незнакомы ему, не нравятся или он не находит среди них чего-то нужного. Иногда он молча кивает головою так сильно, что борода его, касаясь груди, расстилается по ней веером. Он похож на степную птицу, которая кружится над разоренным гнездом.

Впервые вижу я такого человека, и мне думается, что он только один на земле такой.

— Послушайте,— говорит он, остановясь и вынув часы,— что же у нас будет, а? Пора вам прекратить это соловецкое сиденье.

И, щелкнув крышкой, продолжает, глядя в угол, где в сумраке белеет бюст Александра II:

— Вы думаете, я желаю вам зла, хочу держать вас в тюрьме и прочее? Напрасно. Зачем? Зачем вам торчать в тюрьме?

— Выпустите.

Судорога перекосила его прозрачное лицо, глаз закрылся.

— Не могу,— сказал он, сухо кашляя, крепко поглаживая щеку. На указательном пальце правой руки надето толстое и, должно быть, тяжелое обручальное

кольцо.— Нужно иметь правдоподобное объяснение вашей поездки. Я уйду... на четверть часа, а вы — подумайте и напишите...

Он подошел к двери, остановился там и, держась за ручку ее, тихо сказал:

— У меня в Петербурге сын студент, ровесник вам... И, может быть, в этот момент его тоже вот допрашивает жандармский офицер... Понимаете? Вот как...

Я остался один в красноватой мгле; слова о сыне задели что-то во мне.

«Вот как»,— эхом звучало в памяти, и тихо сказанные слова принимали форму вопроса:

«Вот как?»

Обиженно надув щеки, со стены смотрел на меня монах, косила глазом лошадь; полная дама, улыбаясь, разглядывала свое голое левое плечо. Занавесы окон проточены молью,— если пристально смотреть на них, сквозь маленькие дырочки видно бирюзовое небо.

Полковник слишком часто произносит слово «зачем». Нехорошо чувствует себя его сын, если только он,— вот так же, как я,— сидит в кабинете жандарма.

Уходя, полковник притворил дверь неплотно, и теперь в кабинет вливается тревожными ручьями музыка,— где-то в доме играют на рояле.

Было нестерпимо скучно, музыка звала ближе к себе; я встал, подошел к двери и выглянул в светлую, полную солнца комнату.

За открытым окном празднично шумит весенний день; узорные тени деревьев лежат на подоконнике и на полу. Против меня — маленькая дверь; за нею слышны звон шпор, мужские голоса, треск разрываемой бумаги,— это мешает слушать музыку; играют в комнате налево; дверь в нее завешена пестрым, приятно слинявшим ковром; он тихонько колеблется. Музыка уводит от действительности. Я забыл, где нахожусь,— приподнял ковер и очутился в небольшой гостиной. Около двери стоял высокий трельяж с цветами. Я встал между ним и драпировкой,— здесь было очень хорошо слышно, и я видел сквозь листья цветов музыкантшу: она сидела спиною ко мне,— очень тонкая, с голой шеей, в каком-то восточном халате из шёлка, пестром и легком. Голова у нее

была маленькая, в кудрявых темных волосах. Она играла без нот, негромко, медленно, как бы вспоминая забытое. Ее тонкие пальцы перебирали клавиши басов неуверенно, правая рука суетливо бегала по среднему регистру, и я долго следил за трепетом ее рук, чувствуя в различности их движений что-то смятенное, робкое и печальное...

А клавиши точно смеются. Сначала мелодия пьесы была неуловима,— альты и тенора звучали бессвязно, тяжелые вздохи басов говорили о чем-то настойчиво и строго, а в общем это напоминало картину осени: по скошенным лугам, по жухлой траве течет сырой, холодный ветер, зябко трепещет лес под его натиском, роняя на землю последние золотые листья. Вдали уныло поет колокол невидимой церкви.

Потом среди поля явился человек с открытой головою: высоко подняв руки, он бежит, гонимый ветром, как «перекати-поле», — бежит и всё оглядывается назад. Глухой, темный гул сопровождает его, а дали полевые становятся всё шире, всё глубже, и, умаляясь пред ними, он исчезает с земли.

Женщина перестала играть и сидит неподвижно, опустив руки,— она сидит так очень долго.

Я смотрю на нее сквозь цветы, ни о чем не думая; в груди всё еще звучит красивое эхо; я помню только одно: не надо шевелиться.

Потом правая рука ее, медленно и как бы неохотно, снова легла на клавиши, и снова меня обнимают торжественные аккорды. Я слушаю их, закрыв глаза. Мне кажется, что большая толпа людей стройно и единодушно молит кого-то,— молит со слезами гнева и отчаяния. Это очень тяжелая, мощная пьеса, и странно, что такая маленькая женщина может так сильно играть.

И эта пьеса совершенно лишила меня сознания действительности...

— Да перестань ты барабанить, Наталья! — сердито крикнул рядом со мною полковник.

Она, не снимая рук с инструмента, повернула голову,— лицо у нее маленькое, птичье, очень сжатое с висков, нос — горбатый и большие синие глаза.

— Арестованный провалился куда-то, понимаешь?—

говорил полковник, входя в гостиную, с папироской в толстом янтарном мундштуке, и приглаживая дрожащей рукой волосы на голове.

— Убежал? — испуганно спросила женщина.

— Очевидно...

Я, конечно, сразу понял, что это обо мне идет речь, но я не мог тотчас же выйти из-за портьеры и трельяжа — было неловко и немножко смешно.

— Но как же он? — спрашивала дама.

— В окно вылез, видимо... Это — сумасшедший, чёрт его возьми! — сказал полковник, уходя.

Дама встала и пошла за ним, запахивая капот на груди. Тогда я выдвинулся встречу ему.

— Вы? — крикнул он, отступая.— Вы — что? Зачем вы здесь?

— Я слушал музыку...

Он мигнул, посмотрел на даму и, грозно нахмурив серые брови, приподнял плечи.

— Если это неприлично, вы меня извините,— сказал я и решил ничего не говорить более.

— Н-да...— отозвался полковник, зажигая папиросу.— Уж я не знаю — как это там — прилично или нет, но делать этого не следовало...

Он пристально уставился в лицо мне и замолчал, а дама, прислонясь к нему, спросила тихонько, но так, что я слышал:

— Его за это накажут?

— Пожалуйте! — сказал полковник, отстранив ее и указывая мне на дверь.

А когда я вышел в светлую комнату, он, усмехнувшись, проговорил:

— Вы меня напугали, батенька. Чудак же вы! Разве вы уж так сильно любите музыку, а?

— Редко слышу...

— А... да! Ну-с, сегодня я прекращаю допрос...

И, снова усмехаясь, дважды подмигнув глазом, он добавил:

— Этот случай не располагает... к строгостям... Вам, видимо, придется еще разок послушать музыку жены,— она всегда играет в это время... До свиданья! Салтыков, сдай конвойным...

Салтыков — толстый, потный жандарм — удивленно оглядел меня веселыми, как будто хмельными глазами и со вкусом откликнулся:

— Слушаю, господин полковник!

А когда вывел меня в канцелярию, то сказал укоризненно:

— Что ж вы гуляете по управлению, подобно как по базару? Довольно нехорошая дерзость ваша, и ничего вы не доказали. И что вы думали доказать?

— Просто — я музыку слушал...

— Музыку слушают в городском саду...

И строго скомандовал конвойным, подталкивая меня к ним:

— Принимай, земляки!

В ТЕАТРЕ И ЦИРКЕ

Я — статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чёртом в пьесе «Христофор Колумб».

С изнанки театр вызвал у меня сквернейшее впечатление: помню, как по просторной полутемной сцене, против черной дыры, наполненной сырым мраком, толстенький человечек, бешено ругаясь, гонял нас, кучу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

— Крокодилы дохлые,— убьете вы меня!

Мне казалось, что он притворяется,— нет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной тонкой палкой; мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

— Какие же вы индейцы? Вы — свиньи, а не индейцы. И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

Из-за кулис высунулась толстая дама и спросила его басом:

— А ты как знаешь, на кого похожи черти?

— На козлят, душечка моя, и на козлов, и не суйся не в свое дело!

Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии,— книжка Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн-Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя; он укоризненно кричал:

— Послушай, ты, длинный, окаянный сухарь, смычок, жердь вавилонская, что у тебя — пятки подре-

заны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьешь ты меня, бессовестная фигура!..

На спектакле я все-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец.

Несколько раз я смотрел, как актеры репетируют пьесы: среди сцены стоит человек в пальто и цилиндре, с папиросой в зубах, с большим перстнем на толстом пальце, и невнятно бормочет что-то, морщась от дыма, оттопыривая тяжелые губы. Нога у него выставлена вперед; он размахивает руками и кричит суфлеру очень красивым голосом:

— Что-о? Не слышу! Подавай громче! Не слы-шу! Откуда тут дует, дьявол?

— Отовсюду дует,— справедливо говорит ему высокая красивая дама вся в черном.

Другой человек, пьяный, испитой и отрепанный, сидит в сторонке на стуле, дремлет и время от времени, пугливо вздрагивая, спрашивает:

— Я? Как? О, господи помилуй...

Всё это было невыразимо нудно и не возбуждало интереса к театру, но первый же спектакль, на который я попал зрителем, заставил меня почувствовать страшную силу театра.

С минуты, когда на сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлева, я совершенно забыл о театре и обо всем, кроме маленького старичка в халате, со свечой в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на слюнявом лице.

— Анниньку, Анниньку,— сладострастно всхлипывал он перед измученной, умирающей женщиной.

Всё, что делал этот человек, было страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно. Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий, терпкий голосок и эти гнилые улыбочки,— весь он был до ужаса противен и казался непобедимым, точно Кощей Бессмертный.

Я пережил нечто неописуемое: хотелось бежать на сцену и убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства, а кругом меня люди смеялись, орали, возбуждая страх и тяжкое недоумение. Это был очень тяже-

лый и дурной кошмар, тем более тяжелый, что я чувствовал в нем много знакомого мне, того, чем так богата темная, запутанная, болезненно жестокая душа русской жизни. Много лет спустя я снова пережил такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Федоре Карамазове.

После спектакля, отравленный, я всю ночь шлялся в лугах за Ярмаркой; меня остановил какой-то пьяный и больно ударил кулаком по голове; помню, это не обидело меня.

Мне вспоминались все старики, которых видел я: два Петра — извозчик и начетчик, дед, Осип, и во всех я чувствовал начало, враждебное мне,— могучее начало, спокойно отрицавшее меня.

Я перестал ходить в театр, может быть, потому, что боялся еще раз пережить такое же подавляющее впечатление, а может — хотелось сохранить его нерушимо.

Вскоре я увлекся цирком; я бывал в нем и раньше, но теперь вдруг первое же представление приятно поразило меня. Всё, что я видел на арене, слилось в некое торжество, где ловкость и сила уверенно праздновали свою победу над опасностями для жизни. Я стал посещать цирк часто, познакомился с конюхами, с наездником Масловым, акробатом Красильниковым. Все артисты казались мне такими же интересными, как братья Земганно, и я воодушевленно рассказывал им этот печальный роман.

— Бывает,— говорил Маслов, очень простой и милый солдат-кавалерист, но Красильников возражал ему:

— Ну, что ты знаешь? Просто, это — злой случай! Нет, мы, цирковые, живем, слава богу, дружно, хорошо! У нас такая работа опасная, что нужно беречь друг друга...

Мне страшно хотелось взяться за эту опасную работу, но артисты говорили:

— Опоздал ты, не годишься, стар! У тебя уж кости отвердели...

Я начал всячески ломать и выгибать кости, но это мало помогло мне.

Большинство артистов были иностранцы; я особенно жадно следил за ними, расспрашивал о них, и всё, что я видел, слышал, высоко поднимало этих людей в моих глазах. Русские относились к ним снисходительно, с добродушными усмешками. Маслов рассказывал мне о своем товарище Нони Бедини, с которым он ездил, изображая «двух гладиаторов».

— Это — чудак; ему около тридцати годов, а он как парнишка живет! Ты поглядел бы, как он свою жену любит,— умора, видеть нельзя без смеха! Провожает ее на арену — ручку целует, ей-богу! А то и ножку! Она работает, ездит, а он глядит на нее бледный, трясется даже, боится: не упала бы! А она у него ловкая, сильная — бояться-то вовсе нечего! Едет она с арены — он ее опять чмок в ручку и рад,— просто смотреть нельзя! А уж лет пять женаты, ребят двое у них. Хороший он товарищ, внимательный, с ним не пропадешь, но — смешной очень!

А мне нравилось, как Бедини смотрит черными глазами на свою жену,— много было радости в этих глазах. Она отвечала ему тоже радостным, праздничным взглядом, и оба они были похожи на детей из хорошего семейства, когда, бывало, шли по пестрым улицам Ярмарки, прижавшись друг к другу.

Иноземцы считались русскими не настоящими людьми, а как бы ошибкой природы,— ошибкой, в которой, однако, было немало приятного, но больше всего смешного:

— Чистяки: всё моются да обтираются. Деньги копят,— дескать, работа наша скоро силу вымотает, так чтоб на старости было чем жить. Нищими, дескать, не желаем быть. А между собою дружно живут, ничего; только вот смешные очень! Оттого у них и клоуны лучше наших...

Я не видел ничего смешного в этих людях, но мне казалось, что они веселее, живей русских, не так часто позевывают, потягиваются.

Меня особенно интересовал англичанин-клоун, гладко выбритый, широколобый, человек средних лет, с темными глазами, ловкий и сильный; было нестерпимо досадно, что я не мог говорить с ним, а он гово-

рил по-русски весьма охотно, хотя никто не понимал его.

Он гораздо больше нравился мне за ареной, чем на глазах публики, посреди черной, жуткой воронки цирка, где он кувыркался и метался, играя, точно большой котенок. Я видел однажды, как он, проходя в буфет, увидал свое изображение в зеркале и, сняв цилиндр, с улыбкой кивнул сам себе головою,— это меня поразило. В антрактах я вертелся около двери его уборной, наблюдая, как он мажет себе лицо и всё время оживленно разговаривает со своим отражением в зеркале,— несомненно, что он забавлял этим самого себя. Гулял он всегда один, а я ходил за ним, как сыщик, и мне казалось, что этот человек живет особенной, таинственной жизнью и смотрит на всё так, как я никогда не сумею. Иногда я пробовал представить себя в Англии; никем не понимаемый, страшно чужой всему, оглушенный могучим шумом незнакомой жизни, сумел ли бы я жить, так же спокойно улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живет этот крепкий, стройный щеголь?

Как-то днем, проходя по мосту через Оку, я увидал, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу; я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловли. Вытаскивая на крючке ерша или окуня, он брал его в руку, подносил к своему лицу и свистел тихонько в нос рыбе, а потом, осторожно сняв ее с крючка, бросал в воду. Надевая червяка, он что-то говорил ему; когда из-под моста выплывала лодка, он снимал шапочку без козырька и любезно кланялся незнакомым людям, а когда ему отвечали, делал страшно удивленное лицо.

Другой раз я встретил его на горе, около церкви Успения. Он смотрел на ярмарку, клином врезанную между двух рек, держал трость в руках, перебирая по ней пальцами, и тихонько посвистывал, как бы играя на флейте. Издали через реку доносился глухой, чуждый шум; по воде ползли пароходы, точно большие жуки; где-то далеко горели леса; в дымном небе неподвижно стояло тускло-красное солнце. Мне было очень жалко этого человека.

Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, уснащал его всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром.

Когда этот человек уехал из цирка, я был очень опечален, как будто потерял хорошего друга.

Не знаю, что именно дал мне цирк, кроме того, что в нем я увидел людей, которые красиво рискуют жизнью ради удовольствия ближних,— но я думаю, что и этого достаточно. Я смотрел на них сквозь книгу Гонкура, мемуары Файмали и чувствовал к ним почтительную зависть, ясно понимая, что эти люди нужнее меня на земле...

ТЕАТРАЛЬНОЕ

...Лет пятнадцати я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, всё подо мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь всеми голосами своими внушала:

«Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно».

Но жульничать мешала органическая брезгливость, неизвестно как и откуда запавшая в сердце.

Искал я и жаждал какой-то особенной правды, твердой и прямой, как шпага; хотелось вооружиться ею и уверенно идти сквозь хаос скользких жабьих слов,— сквозь противоречия поступков, мыслей и чувств.

— Правда? — восклицал тихо и насмешливо мой друг и учитель плотник Осип.— Правда — есть! От, ежели тебя взять за волосья да часок повозить по земле, ты и учуешь ее, правду...

Я понимал, что он шутит от «нечего сказать»; я знал, что этот хитрый старичок, способный обо всем наговорить тысячу слов, одинаково ловких и умных, сам не ведает, где правда, не ведает и, кажется, давно уже отчаялся найти ее.

Жилось трудно.

В это время трактирный певец Клещов, человечек невзрачный и неприятный, внушил мне беспокойную мечту. Он, несомненно, обладал таинственной и редкой силой заставлять людей слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приглядной, чистой, человечьей. Тогда я вспомнил, что ведь и мне, в иконо-

писной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им, удовлетворявшее меня.

Может быть, мне действительно надо идти в цирк, в театр,— там я найду прочное место для себя?

Я решил попробовать, и — вот я статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чёртом в пьесе «Христофор Колумб».

Красное кирпичное здание театра снаружи неприятно похоже на амбар,— внутри оно вызывало чувства темные, гнетущие.

Помню, как по просторной полуосвещенной сцене, против черной дыры, наполненной сырым мраком, толстенький человечек, бешено ругаясь, гонял нас, кучу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

— Крокодилы дохлые,— убьете вы меня!

Мне казалось, что он притворяется,— нет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

— Какие же вы индейцы? Вы — свиньи, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

Из-за кулисы высунулась толстая дама и спросила его басом:

— А ты как знаешь, на кого похожи черти?

— На козлят, душечка моя, и на козлов, и не суйся не в свое дело!

Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии,— книжка Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн-Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя, он укоризненно кричал:

— Послушай, ты, длинный, окаянный сухарь, смычок, жердь вавилонская, что у тебя — пятки подрезаны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьешь ты меня, бессовестная фигура!..

На спектакле я все-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец, и усердно тыкал деревянным острием копья в животы неуклюжих испанцев. Это очень веселило людей за кулисами, но помощник режиссера все-таки был недоволен мною.

— Послушай, диван с пружинами,— сказал он мне в антракте,— если ты будешь качаться во все стороны, я тебя швырну в омут!

А тут еще подошел пышно одетый испанец, человек, близкий самому Колумбу, и пожаловался на меня:

— Я этого верблюда проткнул насквозь шпагой, а он — хоть бы что, даже не пошатнулся! Чудесно вы обучили их, милый мой...

Среди испанцев, чертей и краснокожих спокойно расхаживают обыкновенные русские люди, обыкновенные женщины; одна из них, маленькая и вся в черном, точно монахиня, сказала испанцу:

— Егор, ты помнишь Тулу?

Я чувствовал себя нелепо, где-то между сном и явью. Расширяясь во все стороны, передо мною плавал огромный черный мешок, тесно набитый головами людей, точно дынями. Эти бесчисленные головы казались слепыми, лишь кое-где, на круглых пятнах лиц тускло светились ненужные глаза. Из мешка на сцену вливался запах теплой сырости; иногда, среди жуткого молчания, был слышен кашель, шарканье, какой-то скрип.

Зал театра будил у меня странное сравнение с огромнейшей глубокой могилой, куда правильными рядами положили множество людей.

Жуткое чувство еще более усиливалось во время репетиции, когда черная пустота зала таращилась на полутемную сцену пустым, бездонным зевом. Смотрит пустота, молчит,— и так странно, что пред нею люди шутят, смеются, кричат. Голоса кажутся неестественно громкими, все люди говорят нарочито не те слова, двигаются необычно и машут руками, точно испуганные слепые в поисках за что бы схватиться.

Этот кошмар еще более углублялся бредовыми речами артистов; ходит по сцене длинный человек с лицом красивого мертвеца, с погасшей трубкой в зубах

и, разводя руками, точно плавая в полумраке, бормочет:

— Маркиза, вы поставили меня на край пропасти — чего? Ага — стихи! Я знаю — мне спасенья нет...

Красивая чернобровая женщина, сидя на стуле у кулисы, сердито кричит:

— Послушай, я здесь бросаюсь к твоим ногам, а ты уходишь от меня! Где же Кин?

— Он кинулся в уборную зачем-то.

А около суфлерской будки стоит маленький человечек без глаз и бровей, с круглым ртом окуня, стоит и тихонько, грустно, приятным голосом напевает:

Я — страдала,
Страданула,
С моста в речку
Сиганула.

Чернобровая женщина сердито кричит ему:

— Перестаньте выть! Дальше, дальше, господа!

Из-за кулис высовываются чьи-то головы, выходят люди, исчезают, за кулисами стучат молотки, вбивая гвозди в сухое дерево, и что-то противно скрипит.

Стоит среди сцены человек в пальто, в цилиндре, морщится, оттопыривая толстые губы, и кричит суфлеру очень красивым голосом:

— Чьто? Не слышу. Подавай громче! Чьто? Не рассуждать! Откуда тут дует, дьявол?

— Отовсюду дует,— справедливо говорит ему высокая красивая дама.

— Дудует,— презрительно повторил актер.

Другой человек, пьяный, испитой и отрепанный, сидит в сторонке на стуле, дремлет и, время от времени пугливо вздрагивая, спрашивает:

— Я? Как? О, господи помилуй... О-о-фу...

Всё это было малопонятно, порою нудно, но хотя всё выдумывалось и создавалось при мне, на моих глазах, однако иногда эта нарочитая, фальшивая жизнь охватывала меня до того сильно, что и я тоже начинал ходить по земле, выпячивая грудь, нелепыми шагами петуха, говорил басом, отчеканивая слова, и всё потирал лоб, как это делал один из артистов.

Влюбленные виконты и маркизы, несчастный актер Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, купцы и Квазимодо,— все эти плохо сшитые кошели, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений.

Если хочешь спокойно наслаждаться,— не заглядывай за кулисы!

Но моя роль неизбежно заставляла меня торчать за кулисами, и я слышал, как герой, только что валявшийся у ног возлюбленной своей в судорогах пламенной страсти, кричал на нее за кулисами:

— Какого дьявола у тебя булавки натыканы где не надо!

А благороднейший отец, только что оплакав на сцене свою несчастную дочь, шипел на нее, грозя пальцем:

— Ты опять роль не знаешь, дурында?

Улыбаясь, она говорит:

— Ой, ты так хорошо играл, что я всё забыла...

— Не твое дело, как я играл!

Дурында — маленькая, стройная женщина, синеглазая, молчаливая. Она смотрит на всё прищурясь и недоверчиво, как будто люди и вещи непонятны, чужды ей. И ходит она осторожно, точно кошка. Как-то раз я застал ее в темном углу за сценой; прижавшись к стене, закрыв лицо руками, она тихонько плакала. Дня за два до этих слез она так трогательно изобразила Эсмеральду, что я навеки влюбился в нее и теперь, видя ее слезы, сам готов был гневно плакать или, если она прикажет, избить обидевших ее.

Но я не смею подойти к ней, смотрю издали и думаю: хорошо, если бы театр загорелся! Когда все побегут вон из него,— я схватил бы ее на руки и вынес сквозь огонь. Только бы вынести, а потом поклониться ей молча и так же великолепно, как это делал актер Киселевский, поклониться и уйти куда-нибудь, унося в сердце великую радость на всю жизнь.

В Успеньев день играли дважды — утром какую-то феерию, вечером шла «Каширская старина». Усталые артисты были пьяны, играли весело — точно для самих себя, забыв о публике, а публика, невидимая в черном мешке, рычала и хохотала тоже как бы вне зависимости от сцены.

В антракте пьяненький Андреев-Бурлак, тощий и жалобно смешной в костюме дьяка, потешал плотников шутками и анекдотами и всех без разбора звал после спектакля на Пески, в трактир, есть пельмени. Дама моего сердца, наряженная в яркий сарафан и тоже пьяненькая, сидела на связке каких-то веревок, смеясь, напевая.

Я не заметил, кто дернул веревки, видел только, как она, испуганно взмахнув руками, опрокинулась на спину, видел высоко вскинутые ноги и огромные от испуга глаза. В следующий момент она, ловко повернувшись на бок, вскочила и гневно выругалась грязными словами улиц и площадей.

Дикий хохот гремел вокруг нее, люди выли зверьем от удовольствия,— она оглянулась и, подскочив к маленькому актеру в костюме каширского парня, ударила его по щеке. Ее схватили, смяли, унесли в уборную.

А у меня угрюмо заныло сердце, всё вокруг стало противно мне, я решил уйти из театра и тотчас ушел.

Зрителем в театре я за это время был только однажды, и первый же спектакль заставил меня почувствовать страшную силу театральной жизни.

С минуты, когда на сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлева, я совершенно забыл о театре и обо всем, кроме маленького старичка в халате, со свечой в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на слюнявом лице.

— Аннинька, Аннинька,— сладострастно всхлипывал он пред измученной, умирающей женщиной.

Всё, что делал этот человек, было страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно. Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий, терпкий голосок и эти гнилые улыбочки, весь он был до ужаса противен и казался непобедимым, точно Кощей Бессмертный.

Я пережил нечто неописуемое, хотелось бежать на сцену и убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства, а кругом люди смеялись, орали, возбуждая у меня страх и тяжкое недоумение. Разве можно смеяться, видя гнусного человека?

Это был очень тяжелый и дурной кошмар, тем более тяжелый, что я чувствовал в нем много знакомого мне, чем так богата темная, запутанная, болезненно жестокая душа русской жизни. Много лет спустя я снова пережил такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Федоре Карамазове.

После спектакля, отравленный, я всю ночь шлялся в лугах, за ярмаркой; меня остановил какой-то пьяный и больно ударил кулаком по голове,— помню, это не обидело меня.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Андреева — «М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы». Изд. 3. М., «Искусство», 1961.

*Архив Г*IV — Архив А. М. Горького, т. IV. Письма к К. П. Пятницкому. М., Гослитиздат, 1954.

*Архив Г*VII–XIII — Архив А. М. Горького, т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. М., Гослитиздат, 1959; т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. М. Горький и сын. Письма. Воспоминания. 1970.

ВН — М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 1968.

ВС — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

Г и его время — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

Г и революция 1905 г.— М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953 гг.

Г Чтения, 1961—1968 — Горьковские чтения, 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961; Горьковские чтения. М., «Наука», 1968.

ЖЗ — Сочинения М. Горького, «Жизнь и знание», т. XX. СПб., 1915.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

*ЛЖТ*I–IV — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I — IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

ЛБГ — Личная библиотека М. Горького.

Лит Насл — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963; М. Горький и Л. Андреев. «Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965.

Путеводитель — Всероссийская выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Путеводитель. Город.— Ярмарка.— Выставка. СПб.

Сигорский — А. В. Сигорский. По горьковским местам, изд. 2. Горький, 1953.

Травушкин — Н. Травушкин. Горький у Каспия. Астрахань, 1963.

Хитровский — Ф. П. Хитровский. Страницы из прошлого. По документам и воспоминаниям об А. М. Горьком и Каширинском роде, изд. 2. Горький, 1960.

В пятнадцатый том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период с 1910 г. по 1915 г.

«Детство» и «В людях» после первой публикации в периодике издавались отдельными книгами и включались автором в собрания сочинений *ЖЗ* («Детство») и *К*.

Остальные произведения настоящего тома, также опубликованные при жизни автора, в собрания сочинений Горьким не включались.

Основные принципы распределения произведений в томах изложены в предисловии от Института (см. т. 1, стр. 5—10).

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *И. А. Бочарова* («Детство», «В людях»); *Т. Б. Дмитриева* («Musica», «Музыка», «В театре и цирке», «Театральное»).

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

Ряд биографических сведений о Горьком получен от *Н. А. Забурдаева*. В реально-историческом комментарии использованы отдельные материалы Словаря собственных имен автобиографической трилогии М. Горького, подготовленного к печати *А. В. Федоровым* и *О. И. Фоняковой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*; в технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, участвовала *И. И. Соколова*.

I

ДЕТСТВО

(Стр. 7)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913, №№ 196, 208, 213, 219, 224, 230, 236, 260, 266, 271, 277, 283, 289, 295, 299— с 25 августа по 29 декабря; 1914, №№ 4, 12, 18, 24 — с 5 по 30 января.

Первое отдельное издание: М а к с и м Г о р ь к и й. Детство. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag — *Л* ⟨1914⟩[1].

Рукопись не сохранилась. На вопрос И. А. Груздева о ее судьбе Горький отвечал 28 марта 1929 г.: «Рукопись „Детства", кажется, сожжена, а м. б. в Финляндии, в Мустамяках» (*Архив ГХ*I, стр. 198).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись — главы VII — XIII; главы IX — XIII — наборный экземпляр для *Л*. На обороте последнего листа надпись «Rest von Gorki Kindheit» (ХПГ-10-4-1).

2. Печатный текст *Л* (1914 г.), с правкой автора — *Пр Л*,— оригинал набора для *ЖЗ*. Приложение: автограф-посвящение и примечания, написанные В. Д. Бонч-Бруевичем 24 июня 1946 г. для Архива А. М. Горького (18 лл. на машинке) (ХПГ-10-4-4).

3. Записка Н. О. Лернера от 23 июня 1921 г.— одиннадцать вопросов с ответами-поправками Горького (ХПГ-10-4-2) — *ЗЛ*.

4. Печатный текст: М. Г о р ь к и й. Детство. Берлин — Петербург — Москва, изд. З. И. Гржебина, 1922,— наборный экземпляр для *К* (ХПГ-10-4-3).

Печатается по тексту *Пр Л* со следующими исправлениями по *ЗЛ*:

Стр. 47, строка 15: «комлем» вместо «комелем».

Стр. 99, строка 1: «Одна любить — не рада» вместо «Одна любишь — не рада».

Стр. 121, строка 17: «среди него» вместо «среди его».

---

[1] В Архиве А. М. Горького хранится экземпляр этого издания с дарственной надписью Горького В. В. Шайкевич, датированной 6 апреля (по ст. ст.) 1914 г. (ДнГ-кн-7-36-1).

«Детство» — первая часть автобиографической трилогии Горького, создававшейся на протяжении более десяти лет,— трилогии, в которой писатель рассказывает о своих детских и юношеских годах (1871—1888). Повести «Детство», «В людях» и «Мои университеты», написанные в разное время, сам автор рассматривал как части единого повествования. Так, например, 27 марта 1929 г. он писал М. Галчонкову: «Из Москвы Вам вышлют „Детство", „В людях" и „Мои университеты". В этих книжках изображена моя жизнь» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-10-6).

Для творчества Горького в целом его личный жизненный опыт имел исключительное значение. В 1930 г., отвечая на вопрос писательской анкеты «Каким материалом преимущественно пользуетесь...?», он свидетельствовал: «Пользовался преимущественно материалом автобиографическим...» (*Г-30*, т. 26, стр. 223 и 445).

Первые опыты автобиографического повествования возникли в самом начале творческого пути писателя. Сохранилось свидетельство И. П. Ладыжникова о том, что «Алексей Максимович, приступая к написанию „Детства", просил разыскать ему тетрадку „давних лет" с первым опытом своей автобиографии». Речь шла об «Изложении фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца» (см. т. I наст. изд., стр. 451), датированном 5 апреля 1893 г. К 1893 г. относится и продолжение работы над автобиографией (см. там же, стр. 468 и 576). Два года спустя Горький опубликовал автобиографический рассказ «Бабушка Акулина», а в следующем году — «Гривенник» и «Красота», тоже автобиографические. Некоторые эпизоды этих фрагментов соответствуют эпизодам повестей «Детство» и «В людях»; однако трактовка и стилистическая разработка их в ранних набросках совершенно иные.

В 1897 г., по предложению известного литературоведа и библиографа С. А. Венгерова, Горький написал короткую автобиографическую заметку, опубликованную впоследствии в книге «Русская литература XX века», т. I. М., 1914; см. также *Г-30*, т. 23, стр. 269—272. Другой автобиографический набросок был напечатан в извлечениях Д. Городецким в журнале «Семья», 1899, № 36, 5 сентября (*Г-30*, т. 23, стр. 437—438).

На раннем этапе творчества писателю не удалось создать целостную художественную автобиографию, и он возвращается к ней в зрелые годы. В 1906 г. Горький сообщал Ладыжникову из Америки: «Очень много разных литературных планов, и кстати уж думаю взяться за свою автобиографию...» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 145). Летом 1908 г., по свидетельству М. Ф. Андреевой, писатель много рассказывал гостившему у него на Капри В. И. Ленину о «Нижнем Новгороде, о Волге, о своем детстве [1], о бабушке Акулине Ивановне, о своей юности и своих скитаниях ⟨...⟩ Ле-

---

[1] Такие рассказы слышал от Горького и Л. Толстой. См. в очерке «Лев Толстой»: «— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя» (*Г-30*, т. 14, стр. 299).

пин слушал его с огромным вниманием, блестя прищуренными по привычке глазами, и раз как-то сказал Горькому:

— Написать бы вам всё это, батенька, надо! Замечательно поучительно всё это, замечательно...

Горький сразу осекся, замолчал, покашлял смущенно и невесело сказал:

— Напишу... когда-нибудь...» (*Андреева*, стр. 123).

Но приступить к осуществлению замысла он смог только в 1910 г., живя на Капри. 7 (20) января 1910 г. он снова заговорил — на этот раз с К. П. Пятницким — о намерении написать автобиографию (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1910, л. 107).

Началом попытки Горького художественно разработать автобиографию явился рассказ «Musica», написанный в ноябре 1910 г. и через два месяца опубликованный в итальянском журнале «Primavera», 1911, № 1, январь. За ним последовали: «Писатель» (раннее название очерка «Н. Е. Каронин-Петропавловский», 1911), «Случай из жизни Макара» (1912), «Хозяин» (1912), первые одиннадцать произведений из цикла «По Руси» (1912—1913), «Страсти-мордасти», второй рассказ «Музыка» (1913), повести «Детство» и «В людях», продолжение цикла «По Руси» и ряд других автобиографических произведений. «Италия,— замечает в своих мемуарах А. А. Золотарев,— приблизила или, лучше сказать, вернула Алексея Максимовича к его далекому детству и окрасила даже тяжелые дни ласковым солнечным светом. Созданием „Детства" каприйский период Горького вырастает в один из самых значительных этапов его литературного творческого пути» (Архив А. М. Горького, МоГ-4-16-2, стр. 70). В мае 1914 г. сам Горький писал своему товарищу детства Н. Н. Сигалеву: «Странное дело: чем больше живешь, тем более лучше и чаще вспоминаешь далекое детское...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-39-30-1).

Позднее Горький не раз указывал на документальность своих автобиографических произведений (письма И. А. Груздеву, А. А. Белозерову и другим). Белозерову он, например, советовал в письме от 24 апреля 1927 г.: «Вам следует сверить факты Вашей статьи с моими книгами „В людях" и „Мои университеты", а также прочитать рассказ „Хозяин"» (*Г-30*, т. 30, стр. 21).

Начало работы над «Детством» не поддается точному хронологическому приурочиванию. 29 января (11 февраля) 1913 г. Горький писал издателю газеты «Русское слово» И. Д. Сытину в ответ на его предложение о сотрудничестве: «...могу предложить Вам ряд маленьких очерков из воспоминаний детства моего,— уверен, что они могут быть интересны» (*Г-30*, т. 13, стр. 642). Это письмо позволяет предположить, что Горький работал над «Детством» в 1912 г. на Капри; возможно, работа началась даже раньше (ср. в письме А. В. Амфитеатрову, относящемся к сентябрю 1913 г.: «„Детство" — писано давно, продаю по нужде и, конечно, преждевременно, что я весьма понимаю».— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-166).

4 (17) апреля 1913 г. Горький сообщил Ладыжникову: «Я

предлагал Ситину печатать у него нечто вроде автобиографии моей — очерки детской жизни,— но не получил от него толкового ответа» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 217). В апреле того же года Ладыжников уведомлял редактора «Русского слова» Ф. И. Благова, что Горький пишет «в настоящее время автобиографические очерки» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-2-1).

Публикация «Детства» началась 25 августа (7 сентября) 1913 г. в «Русском слове». Повесть переправлялась автором по главам с Капри в Москву, Благову. Одновременно начались переговоры с Ладыжниковым об отдельном издании в Берлине. 27 августа (9 сентября) Горький писал Ладыжникову: «Я начинаю печатать у Ситина „Детство“ и не знаю, как быть с Берлином? Хотелось бы продать эту вещь за границей 〈...〉 Может быть, „Детство“ заинтересовало бы иностранцев?» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 228).

По предложению Ладыжникова, сделанному 11 (24) сентября, Горький высылал ему очередные главы рукописи, начиная с главы VII, в двух экземплярах, чтобы один из них Ладыжников передавал в «Русское слово», а второй мог использовать для отдельного издания. 27 октября (9 ноября) Ладыжников извещал Горького: «...получил сегодня же VII главу „Детства“ и сегодня же отправлю ее в Москву 〈...〉 Главы „Детства“ высылайте через меня — по соображениям, кои у нас здесь имеются на этот счет» (Архив А. М. Горького, КГ-п-42-1-28). 28 октября (10 ноября) Горький выслал VIII главу и обещал скоро прислать IX и X, добавляя: «Отправьте рукопись возможно скорее, дабы не делать особенно длинных перерывов» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 232).

Переписка этого периода с Благовым и Ладыжниковым показывает, что завершение работы над «Детством», публикация его глав в «Русском слове» и подготовка отдельного издания почти совпадали во времени. Уже после начала публикации у Горького появились колебания относительно заглавия. В середине сентября он писал Благову: «Посылаю IV главу очерков; их следовало озаглавить „Бабушка“, а не—„Детство“. Не согласитесь ли Вы изменить заголовок?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-18). О том же он писал и Ладыжникову 13 (26) сентября: «...высылать ли Вам 〈...〉 5 глав „Детства“, которые следовало озаглавить „Бабушка“» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 229). Но 19 сентября (2 октября) он сообщил Благову: «Подумав, нахожу, что напрасно обеспокоил Вас и что заголовок не следует изменять. Так и оставим: „Детство“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-14).

Начиная печатать повесть, Горький еще не определил для себя окончательно ее объем. Ладыжникову 27 августа (9 сентября) он писал, что глав будет, «вероятно, 10 и столько же листов, приблизительно» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 228). А Благову на следующий день сообщал, что глав «будет восемь или девять» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-11). Однако в письме Ладыжникову из Неаполя от 18 сентября (1 октября) говорилось: «„Детство“—большая вещь, листов 20—25, Ситину дано 5 глав. Когда я допишу это? Не представляю. Сейчас мне запрещено работать» (*Архив*

Г$_{VII}$, стр. 230). По всей вероятности, к «Детству» здесь отнесен более обширный замысел, реализованный позже в двух повестях: «Детство» и «В людях».

В ноябре 1913 г. Ладыжников приехал на Капри, откуда он 17 (30) ноября 1913 г., пересылая Благову главы XII и XIII, сообщил, что «ими заканчивается „Детство“» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-2-3).

Тогда же, в ноябре — декабре, видимо, набиралось отдельное издание *Л*. Текст первых восьми глав повести в *Л* ничем не отличается от текста «Русского слова». В главах IX — XIII имеются различия между текстом отдельного издания и газеты исключительно пунктуационного характера. Очевидно, для набора первых восьми глав издательство использовало газетные вырезки. Главы же IX — XIII набирались с машинописного экземпляра, полученного Ладыжниковым.

В 1913 году, в период интенсивной работы над «Детством», Горький договорился с Бонч-Бруевичем, редактором издательства «Жизнь и знание», что это издательство продолжит выпуск его собрания сочинений, первые девять томов которого были напечатаны в «Знании». Работая над текстами новых томов, он писал Ладыжникову в октябре 1913 г.:

«Благов телеграммами просит „Детство“, а мне некогда писать, ибо нужно готовить книги.

Завтра вышлю вам XV-й том» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 231).

2 (15) декабря был подписан договор с *ЖЗ* об издании 11 томов сочинений Горького в течение 5 лет (*ЛЖТ*$_{II}$, стр. 389). 4 (17) декабря 1913 г., пересылая Бонч-Бруевичу с Капри подписанный Горьким договор, Ладыжников в сопроводительном письме излагал просьбу автора продолжить нумерацию томов «Знания», т. е. начинать с тома десятого, и добавлял: «„Детство“ Алексей Максимович предполагает печатать в конце томов, так как для отдельного издания он думает переработать эти очерки, на что у него сейчас нет времени» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-4-1). Получив «Детство» в издании *Л*, Горький принялся — по-видимому, весной 1914 г.— за редактуру.

Экземпляр *Л*, отредактированный Горьким и послуживший оригиналом набора для *ЖЗ*, первого издания отдельной книгой в России, хранится в Архиве А. М. Горького. Автор провел по всему тексту стилистическую правку (вычерки лишних эпитетов, замена отдельных слов и кусков текста, исправления пунктуации). Главы V и VI он поменял местами; в последнюю главу вложил новую страницу машинописного текста («Когда гроб матери засыпали ∞ мы пошли в поле» — стр. 209—210 наст. тома).

К этому экземпляру (*Пр Л*) приложен рукописный текст посвящения: «Сыну моему посвящаю».

Еще весной 1913 г. в беседе с киевским журналистом В. А. Чаговцем Горький высказал намерение посвятить «Детство» своему сыну (*ЛЖТ*$_{II}$, стр. 351). Однако и публикация повести в газете и первое отдельное издание появились без посвящения. При подготовке нового издания Горький выполнил свое намерение.

«Детство» в *ЖЗ* (т. XX) вышло в конце 1914 г., хотя на ти-

туле обозначен 1915 г. Первая рецензия на этот том помещена в журнале «Современный мир», 1914, № 12.

Редакция издания *ЖЗ* — последняя. Больше к тексту «Детства» Горький не возвращался. 25 ноября 1919 г. он подписал договор с З. И. Гржебиным на издание своих произведений, в числе которых было и «Детство». Вышедшая в 1921 г. книга (*Гржᵢ*) набиралась с текста *ЖЗ*. В связи с повторным изданием (*Гржᵢ*), в 1922 г., у члена редакции Н. О. Лернера возникло одиннадцать вопросов по тексту. Перечислив их на отдельном листке, Лернер приписал: «Решить эти вопросы и, если нужно, внести поправки может только сам Алексей Максимович». Горький на этом же листе дал ответы, которые были учтены изданием *Гржᵢ*. Этим участие автора в издании *Гржᵢ* ограничилось. Текст *Гржᵢ* послужил оригиналом набора для *К* (1923).

Следует, однако, иметь в виду, что текст «Детства» в *ЖЗ* вышел с опечатками и искажениями. Кроме того, в нем есть вычерки, произведенные царской цензурой. Так, в главе IV три строки заменены отточием. Эти строки не были восстановлены ни в одном издании «Детства» до 1929 г., пока на это не обратил внимания сам автор. 15 февраля 1929 г. он писал Груздеву: «Кстати: в „Детстве“ на 49 стр. кто-то посеял три строчки многоточий. В чем дело?» (*Архив Г*ᵡᵢ, стр. 195). 22 марта Груздев ответил: «Эти многоточия идут с издания 1915 г. (первого издания) и посеяны они никем иным, конечно, как цензором; очевидно, усмотрел в чем-нибудь кощунство. И вычеркнуто, может быть, 3 строчки, а м. б.— 3 страницы: количество точек при больших выкидках ставилось — условно» (там же, стр. 197). 26 декабря 1929 г. Груздев сообщил Горькому:

«...разыскал то, что покрыли точки:

„Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы“.

Я восстанавливаю это, но если нужно сделать как-либо иначе, сообщите мне — во второй корректуре сделаю по Вашему указанию» (там же, стр. 206).

Груздев восстановил указанное место по тексту газеты «Русское слово», ибо не располагал экземпляром *Пр Л*, авторизованным и потому более авторитетным.

Сопоставление текстов *Пр Л* с *ЖЗ* позволило обнаружить еще два цензорских вычерка (вычеркнутые слова набраны курсивом):

Стр. 187, строки 37—39: «...приехал епископ Хрисанф, *похожий на колдуна и*, помнится, горбатый».

Стр. 188, строки 1—2: «Когда он, маленький, в широкой черной одежде *и смешном ведерке на голове*, сел за стол...»

Еще до завершения первой публикации «Детства» в газете «Русское слово» автор стал получать письма с восторженной оценкой его нового произведения. 29 сентября (12 октября) 1913 г. М. Ф. Андреева писала Горькому из Москвы: «...прочла только что „Детство“ — последнее, что напечатано, про пожар где,— и вот сижу и плачу, как-то и от радости, что так хорошо,

и от любви, и от жалости, ото всего, что даже и не расскажешь! ⟨...⟩ Очень я люблю бабушку, и мне почему-то чувствуется, что и она меня бы любила. Это не от самонадеянности, не оттого, что воображаю о себе слишком много, поверь, а родная она мне почему-то, и не только потому, что она твоя бабушка и любила тебя. Если тебе захочется подумать об этом, ты, может быть, со мной согласишься» (*Андреева*, стр. 258) [1].

15 (28) сентября издатель «Русского слова» И. Д. Сытин телеграфировал Горькому: «...с наслаждением читаю „Детство“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-74-11-3). «Ваше „Детство“,— восторгался Дм. Семеновский в письме от сентября (октября),— прекрасно, я благоговею пред ним. Как рельефны и выпуклы лица, сколько поэзии, бабушка — прелесть» (там же, КГ-п-70-1-6). П. Х. Максимов, будущий литератор, 22 сентября (5 октября) 1913 г. писал Горькому: «„Детство“ — очень хорошо, замечательно искусно. Просто, замечательно картинно и выразительно, искренне» (там же, КГ-п-49-2-23). В письме Ладыжникову от 15 (28) ноября 1913 г. врач И. И. Манухин просил передать Горькому, что «Детство» очень нравится И. И. Мечникову (там же, ПТЛ-10-45-4).

Получив в 1915 г. от Горького отдельное издание повести с дарственной надписью, М. М. Пришвин писал автору 4 (17) июня того же года: «„Детство“ — очень хорошая книга, но это все-таки половина того, что нужно: не хватает в ней самого мальчика Пешкова. Посоветую Вам, когда будете хорошо издавать свои книги, дайте каждой главе свое название. Моими любимыми тогда будут „Два бога“ (бабушкин и дедушкин) и еще „Хорошее дело“. В этих главах, мне так показалось, хотя и пишете о других, но ближе подходите к Пешкову ⟨...⟩ книга Ваша хорошая, совестливая» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 323—324).

К августу 1915 г. относится запись в дневнике Д. А. Фурманова, сделанная после прочтения «Детства». Молодого Фурманова поразил образ бабушки, которую он воспринял как «олицетворение круглого начала» («вспомнился Каратаев»). «А когда я думал о ее милом, добром боге,— писал он,— мне всё вспоминался неумолимо суровый и грозный Иегова Бранда, и я видел, насколько приемлемей и ценней светлый бог земной бабушки. Это бог жизни и земли, а бог Бранда — владыка мысли, теории и неба». Но больше всего Фурманова захватила картина закалки и воспитания жизнью характера маленького героя книги. «Есть в нем инстинкт живой жизни, есть ⟨...⟩ стремления цепляться за корень и не дорожить тем, что прилипает, приклеивается по сторонам» (Дм. Фурманов. Дневник. (1914—1915, 1916). М., 1929, стр. 93—94).

[1] В 1926 г. О. Форш писала Горькому: «К Вам храню давнюю благодарность за нежное и рыцарское отношение к женщине. „Бабушка“ Ваша и „Мальва“ — дорогой русский вклад в мировую сокровищницу под гётевским знаком „das ewig Weibliche“» ⟨«Das Ewig-Weibliche», Вечно-Женственное.— «Фауст», предпоследняя строка⟩ (*Лит Насл*, т. 70, стр. 592).

В печати первым откликнулся на появление «Детства» Федор Сологуб. Его отзыв написан в раздраженном тоне: «Каким Горький уехал, таким и вернулся. Талант — топор, как было сказано о Некрасове. Рубит фигуры из слов, как Ерьзя из мрамора». Признав, однако, автора «превосходным рассказчиком», он писал: «Читаешь и досадуешь. Невольно вспоминаешь благоуханное детство Льва Толстого. По контрасту. Такое злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне. Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный. Не видим, какая душевная сила движет людей к совершению неистовств. Но ткань рассказа всё же так добротна, что невольно следишь за нею. Всё ждешь, что в темные, узкие души этих людей прольется свет творящего искусства, и мы поймем, почему» («Дневники писателей», 1914, № 1, март, стр. 17).

В дальнейшем только А. Гвоздев из «Северных записок» отчасти следовал Сологубу, когда писал, что в «Детстве» «кошмарные сцены людской жестокости давят и теснят воображение автора». Гвоздев оценивал «Детство» двойственно, находя там два противоречащие друг другу настроения, воплощенные одно — в светлом образе бабушки, другое — «в ряде жестоких, тупых сцен» («Северные записки», 1916, № 2, стр. 149—154).

Большинство критических отзывов о «Детстве» относится к 1915—1916 годам, что связано с выходом в России отдельного издания повести (*ЖЗ*).

Критика довольно единодушно, если не считать нескольких отрицательных отзывов, оценила новую повесть Горького как произведение большого искусства. Даже противники писателя, как Д. В. Философов, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, вынуждены были заговорить о несомненном художественном достижении Горького. И когда историк литературы и педагог В. Сперанский, отвечая на анкету «Что мы читаем?», заявил, что Горький представляет собой «живой труп и гальванизировать его бесполезно» («Биржевые ведомости», утр. вып., 1916, № 15326, 16 января), это заявление вызвало бурю возмущения. На следующий же день на страницах той же газеты Поликсена Соловьева (Allegro), З. Гиппиус, Д. Философов и Александр Блок писали: «Не желая оспаривать по существу более чем странное, с нашей точки зрения, мнение проф. Сперанского об авторе недавно написанной книги „Детство“, мы хотим, однако, подчеркнуть, что выражения, в которые это мнение облечено, неприличны с точки зрения литературной и оскорбительны с точки зрения человеческой» («Биржевые ведомости», утр. вып., 1916, № 15328, 17 января). «Забавнее всего,— сообщал Горький Е. П. Пешковой,— что против Сперанского и в той же „Бир⟨жев⟩ке“ в защиту мою выступили З. Гиппиус, Философов, Поликсена Соловьева и Блок!» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 178).

Признавая несомненность творческого достижения Горького, представители различных направлений в литературной критике принимали и истолковывали «Детство» по-разному, в соответствии со своими идеологическими позициями.

Реакционная газета «Новое время», дважды писавшая о

«Детстве» (1915, № 14212, 3 октября; 1916, № 14304, 4 января), пыталась использовать эту повесть (особенно образ бабушки) для реабилитации всего темного, «окуровского», против чего боролся Горький.

В выступлениях либерально-буржуазной и меньшевистской критики особенно большое внимание уделялось проблеме соотношения жизнеутверждающих и критических элементов, «автобиографических» и «объективных» впечатлений бытия в «Детстве». Не назвавший себя рецензент писал на страницах «Вестника Европы»: «...книга будет читаться долго и как автобиография и как бытовые правдивые картины широкой полосы простонародной жизни» («Вестник Европы», 1915, № 1, стр. 436).

Развивая аналогичную мысль, меньшевистский критик М. Неведомский (М. Н. Миклашевский) констатировал, что «Детство» представляет двоякий интерес — как автобиография большого писателя и как высокохудожественный «социальный документ».

Затрагивая проблему соотношения «темного» и «светлого» начал в повести, М. Неведомский утверждал: «Автор в своем *добром* по тону повествовании 〈...〉 не упускает из виду этих крупиц „положительных человеческих влияний“: он тщательно, как цветной бисер, подбирает их и нанизывает на черную нить своего рассказа» («Голос минувшего», 1916, № 3, стр. 256).

Многие из писавших о «Детстве» Горького сопоставляли эту повесть с «Детством» Толстого, но, вопреки Сологубу, они видели новизну и ценность автобиографии Горького именно в том, что отличало ее от Толстого. Вл. Кранихфельд в статье «Утро жизни» писал о герое толстовского «Детства»: «...чем беднее были его впечатления от внешнего мира, тем богаче становилась его внутренняя, моральная жизнь» («Современный мир», 1914, № 12, стр. 121). У Горького, напротив, на первом плане внешний мир и богатство воспринимаемых от него впечатлений. Критик ссылался на отзыв одного из читателей «Детства»: «...а ведь сам-то Горький в автобиографии отсутствует». Но Вл. Кранихфельд в этом видел не недостаток, а особенность настроения повести, обусловленного содержанием (там же, стр. 117—118). «Итак,— заключал он,— богатство незнакомым, новым было единственным мерилом, с которым мальчик подходил к жизни и к людям» (там же, стр. 127).

«Рассказ Горького о своем детстве,— писала Е. Колтоновская,— окончательно разрушает легенды о его „босяцком“ происхождении и вместе с тем побуждает еще больше удивляться судьбе и таланту Горького... Среда, из которой вышел наш писатель, отнюдь не босяцкая 〈...〉 Дело тут не в том или ином сословном укладе, а в общерусской темной, зоологически некультурной жизни — в том быте, в котором, по словам Горького, до сих пор живет всякий „простой русский человек“» («Речь», 1915, № 141, 25 мая). В художественном строе «Детства» Е. Колтоновская увидела «нового Горького», непохожего на прежнего: «„Детство“ написано в необычном для Горького, сдержанном, местами как будто суховатом тоне, без всякой „приподнятости“

и романтической экзальтации 〈...〉 Вместо прежнего претенциозного: „Человек, это звучит гордо“ — здесь безыскусственный, но зато убедительный „бабкин“ оптимизм — любовь к жизни и вера в человека...» (там же).

С большой статьей, характерно озаглавленной «Утешеньишко людишкам», выступил на страницах той же газеты К. И. Чуковский [1]. Он писал о новой повести Горького: «Не только как произведение искусства, но и как биография Горького, как комментарий ко всему его творчеству — она драгоценна для нас» («Речь», 1915, № 189, 12 июля). Чуковский тоже противопоставлял «Детство» Толстого и «Детство» Горького, именуя картину жизни, изображенную Горьким, «чумазой педагогикой». «Но в том-то и чудо», что от этой страшной повести о страшном «словно сияние идет, вся она воплощенное „радуйтесь“, и хотя в ней столько проклятий и ран, это — самая веселая, мажорно-счастливая книга изо всех за десятки лет 〈...〉 Горький еще никогда не писал такой воздушно-очаровательной повести. Это лучшее изо всего, что им создано» («Речь», 1915, № 182, 5 июля). Средоточие «света» в повести — бабушка Акулина Ивановна, «самый изумительный горьковский образ». Маленького героя повести К. Чуковский характеризовал как прирожденного бунтаря, «соколенка»: «С колыбели его стихия — мятеж!» В эпизодах сопротивления мальчика окружающему укладу он видел истоки горьковской «романтики бури и бунта». Но у писателя, рассказывающего об этом прошлом, преобладает, по Чуковскому, иное настроение — жалость, «утешеньишко людишкам», хотя эта жалость «активная, деятельная». Чуковский утверждал, что с Горьким произошло «перерождение, перевоплощение души», что в «Детстве» явился «новый, неожиданный Горький...» (там же).

По вопросу о соотношении «темного» и «светлого» начал в «Детстве» критические мнения наиболее сильно расходились. Если в некоторых отзывах односторонне подчеркнуто «злое и грубое» в изображенной Горьким картине, то в других выступлениях столь же односторонне акцентировалась «радость жить» (так названа заметка в «Журнале журналов», 1915, № 12).

В связи с этим Горький 23 декабря 1916 г. (5 января 1917 г.) писал М. А. Малых: «Как вы видите и из „Детства“ — я крепко помню все хорошие минуты жизни. Не так уж много было их, и — тем ценнее они» (*Г-30*, т. 29, стр. 372). А позднее, в очерке «Время Короленко» он так сформулировал принцип своего автобиографического повествования: «Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным — добрым, бескорыстным, красивым...» (*Г-30*, т. 15, стр. 27).

Появление противоречивой статьи Горького «Две души» в «Летописи» (1915, № 1, декабрь) оказало заметное влияние на обсуждение «Детства» в критике. Не обошлось, в частности, без попыток весьма тенденциозно интерпретировать повесть. «...по-

---

[1] В переработанном виде статья вошла в книгу: К. Чуковский. Две души М. Горького. Л., 1924.

следнее произведение Горького 〈...〉 представляет огромный интерес для религиозной мысли», — писал В. Германов в статье «Вечное в художественной литературе наших дней», посвященной «Детству» («Христианская мысль», 1916, № 1, стр. 160). Автор статьи рассматривал «Детство» как отказ писателя от якобы ранее соблазнявшего его ницшеанства, а позднее — позитивизма. Если слова о красоте, яркости и многоцветности жизни часто связаны в современной литературе с имморализмом, то совсем иначе звучат они у Горького в «Детстве», особенно в рассказе о бабушке. Религию бабушки характеризует «ощущение бога как любви»; ей противостоит «сухая, черствая религиозность деда» (там же, стр. 166—169).

В этом же аспекте пытался истолковать «Детство» Мережковский, выступивший с большой статьей «Не святая Русь» («Русское слово», 1916, № 210, 11 сентября). «Не только в смысле художественном это одна из лучших, одна из вечных русских книг (не потому ли так мало сейчас оцененная, что слишком вечная?), но и в смысле религиозном одна из самых значительных. На вопрос, как ищут бога простые русские люди, „Детство“ отвечает как ни одна из русских книг, не исключая Толстого и Достоевского». «Откуда идет Россия,— можно судить по ним, а куда,— по Горькому. Сознание, идущее к стихии народной, воплотилось в тех, великих. Обратное движение,— народная стихия, идущая к сознанию,—воплотилось в Горьком». В понимании Мережковского «Детство»—«наиболее правдивое, сильное, вечное из всего, что написано Горьким,—наиболее религиозное». На первом плане у Мережковского, конечно, бабушка, религию которой, отождествляя ее с убеждениями самого Горького, критик характеризует как «любовь к миру». Но бабушка — «не святая, а грешная», ее религия, «может быть, и не христианская, но Христова воистину»; это религия Земли-матери, с которой сливается, в представлениях бабушки, образ божьей матери. «Вот к чему она прикасается, „старая дура“, „безумная“, „безграмотная“. Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Вл. Соловьев, Достоевский 〈...〉 прикасались к тому же». Перенося на «Детство» ошибочные категории, предложенные Горьким в статье «Две души», Мережковский видел олицетворение другой души России в образе деда. Даже маленький Алеша чувствует, что чего-то не хватает бабушке. «Чем сама она святее, тем грешнее всё вокруг 〈...〉 Бабушка беспредельная и безличная. Узок дедушкин предел, но зато у него есть лицо — правда, полузвериное, но всё же лицо — зародыш личности». И «если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке». «Детство», по Мережковскому, означает разрыв с традиционным представлением о «святой Руси». «Нет, не святая, а грешная — сказал Горький так, как еще никто никогда не говорил 〈...〉 Но вот для Алеши „отеческий гроб“ — „тухлый Дюков пруд, куда дядья зимою бросили отца его в прорубь“. Вот какое „отечество“ надо любить Горькому 〈...〉 Горький не умиляется. Да будь она проклята, эта „святость“, если от нее все наши мерзости 〈...〉 Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны,

извне, а он — изнутри. По-нашему, по Толстому и Достоевскому — „смирение“, „терпение“, „неделание“, а по Горькому — возмущение, делание, „страшно верное, страшно русское“». Итог статьи Мережковского: «И если Россия не только откуда-то пришла, но и куда-то идет, то в этом Горький правее Толстого и Достоевского. В этом Россия грешная святее „святой“ ⟨...⟩ Да, не в „святую“, смиренную, рабскую, а в грешную, возмущающуюся, освобождающуюся Россию верит Горький, знает, что „святой“ Руси нет, верит, что „святая“ Россия будет».

Горький обратил внимание на статью Мережковского. 23 декабря 1927 г. в письме Груздеву, возражая против некоторых изданий, задуманных к юбилею, он предложил свой план создания «сборника статей о Горьком». Сборник, по мнению Горького, был бы интересен и нужен в том случае, если бы в него были включены статьи критиков, относящихся к самым разным направлениям: «марксистов», «народников», «модернистов». В числе предлагаемых авторов Горький назвал и Мережковского. «Такая книга дала бы читателю весьма широкую „картину мнений“, отразила бы суматоху эпохи, да и, вероятно, помогла бы ему в оценке Горького как „художника“ и как типичного — я смею думать это — русского литератора XX-го века» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 158). А в письме литературоведу А. Я. Цинговатову, отвечая на вопрос, какие критические статьи его удовлетворяют более других, он отвечал, что всегда читал о себе невнимательно. И добавил:

«Но могу сказать Вам, что дважды был очень сильно удивлен статьями обо мне людей, далеких душе моей; один из них даже враждебно относился и относится ко мне.

Это Д. С. Мережковский, статья его называлась „Не святая Русь“, была напечатана в „Русском слове“ в 14-м, кажется, году ⟨в 1916⟩; заключительная строка ее гласила: „Мы не с Толстым, мы — с Горьким“. Вероятно, Мережковский очень ругал себя за эту статью...» (*Лит. Насл.*, т. 70, стр. 627—628).

Другой отзыв о «Детстве», заинтересовавший автора,— это мнение А. Блока. 22 февраля 1916 г. Блок писал П. С. Сухотину: «Прочтите „Детство“ Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего. Какая у него бабушка!» (А. Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. VIII. М., 1963, стр. 456). Много лет спустя, 4 декабря 1927 г., Горький обратился к Сухотину с просьбой прислать ему копию письма Блока, в котором тот отзывался о «Детстве» (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 556). По свидетельству Н. С. Ашукина, Сухотин передал это письмо Горькому (см.: Письма Александра Блока к П. С. Сухотину. Публикация Н. С. Ашукина.— «Блоковский сборник» Тарту, 1964, стр. 546).

Отзыв Блока о «Детстве» входит в контекст его суждений о Горьком, имя которого было всегда связано для Блока с волновавшей его самого темой Родины, национальной судьбы. Еще в 1907 г., в противовес заявлению Д. Философова о «конце Горького», Блок писал: «...если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять

под именем *Руси*, то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького» (А. Блок, т. V, стр. 103).

Диалектическую связь национального и интернационального начал в повести «Детство» уловил армянский писатель А. Ширванзаде. Он писал автору 26 января (8 февраля) 1916 г.:

«На мой взгляд, вся книга есть символ русской народной жизни, ее угнетенности, и не только одного русского народа, но и всех народов вообще. Посмотрите, ведь я не русский, а армянин, родившийся и живший вдали от русской жизни, а между тем всё описанное Вами так родственно, как жизнь того народа, от которого я происхожу. И, поверьте, то же самое скажет Вам и французский, и английский, и иной другой писатель, вышедший из народа или знающий жизнь своего народа.

В этой общечеловечности главное достоинство Вашей великой книги» («Коммунист». Ереван, 1940, № 185, 10 августа).

Взволнованный этим отзывом, Горький писал А. Ширванзаде 1 (14) февраля 1916 г.: «Ваша похвала глубоко тронула меня своею искренностью,— сердечно благодарю Вас! 〈...〉 Вы, писатель, человек, живущий всеми скорбями и радостями мира, Вы сами знаете, как ценно, как радостно знать, что Ваше слово понято на Кавказе и в Англии, на Скандинавском полуострове и в Италии. Спасибо, что откликнулись, сердечное спасибо!» (*Г-30*, т. 29, стр. 350).

Марксистская критика, высоко оценивая повесть «Детство», подчеркивала ее громадное воспитательное значение. В статье «Горькое детство» большевистский журнал «Вопросы страхования» особое внимание обращал на условия жизни, в которых рос будущий писатель: «И действительно, кто сколько-нибудь знаком с мелкой мещанской ремесленной или пролетарской средой, того не удивишь такими кошмарами жизни» (1915, № 8, стр. 8). На примере повести Горького рассматривалась судьба таланта в пролетарской среде и предсказывалось «нарождение нового искусства — бодрого, свежего и, главное, идейного»: «Прошли годы, и из маленького Алеши Пешкова вырос большой писатель-художник, как вырастают из темной рабочей среды новые пролетарские писатели и поэты 〈...〉 Только при новых, лучших условиях существования, когда пролетарские дети, эти „цветы жизни“ и надежда будущего, будут не гибнуть, а всесторонне развиваться, пролетарское искусство даст богатые всходы и расцветет пышным цветом» (там же).

Роза Люксембург в статье об «Истории моего современника» В. Г. Короленко, написанной ею в июле 1918 г. в тюрьме, много внимания уделила сопоставлению этого произведения с «Детством» Горького, к тому времени появившимся в немецком переводе (см. русский перевод статьи в журнале «Красная новь», 1921, № 2). Если Короленко следует тургеневской традиции,— «чистый лирик», то Горького, «человека определенно драматического миросозерцания», Р. Люксембург связывает с традицией Достоевского. Р. Люксембург дает социологический анализ художественного миросозерцания двух писателей. «Короленко, выросший в уютной буржуазной обстановке, знал в детстве нормальное

чувство непоколебимости, устойчивости мира...» Горький «вырос в атмосфере затаенных ужасов в духе Достоевского, в атмосфере преступлений и стихийных взрывов человеческих страстей, и уже ребенком отбивался, как затравленный волчонок, и показывал судьбе свои острые зубы ⟨...⟩ И только тот, кто прочел „Детство“ Горького, может оценить всю поразительность его подъема из таких общественных низов на солнечную вершину современного образования, гениального художественного творчества и научно обоснованного миросозерцания. И в этом отношении личная судьба Горького символична для русского пролетариата как класса ⟨...⟩ Это явление совершенно, конечно, непостижимое для культурных мещан, принимающих хорошее освещение улиц, аккуратное железнодорожное движение и опрятные стоячие воротнички за культуру, а неумолчный стук парламентских мельниц за политическую свободу». Связывая содержание «Детства» с вопросами международного социалистического движения, Р. Люксембург заключала: «Той России, которую изображает Короленко, уже нет; это Россия вчерашнего дня. Нежное, поэтически задумчивое настроение, обвевающее ее жизнь и людей, прошло. Оно уже десять — пятнадцать лет как сменилось трагическим, удушливо грозовым настроением Горького и его товарищей, звонких буревестников революции» («Красная новь», 1921, № 2, стр. 201—202).

В Архиве А. М. Горького хранится немало писем зарубежных писателей с восторженными отзывами о повести «Детство».

Жена К. Гамсуна сообщала Горькому 26 января 1923 г.: «Мой муж ни одной книги так не любит, как Вашу великую книгу,— не знаю, как она озаглавлена по-немецки,— „Детство“» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 286).

«Вчера,— говорится в письме Р. Роллана Горькому от 3 августа 1923 г.,— мы как раз говорили о Вас с Цвейгом, оба сошлись на том, что никогда не читали в русской литературе ничего прекраснее Вашего „Детства“ и очерков о Толстом, Чехове и др.» (там же, стр. 336). Итальянский критик и писатель М. Пуччини 30 ноября 1927 г. писал Горькому: «...эпопея „Дело Артамоновых“ и эпическое „Детство“ кажутся мне не менее чудесными, чем „Карамазовы“ и „Воскресение“» (там же, стр. 262).

В 1928 г. Андре Жид писал, откликаясь на 60-летие Горького: «Мое восхищение могло только возрастать по мере чтения трех книг его воспоминаний. Портреты каждого действующего лица, в особенности деда и бабки, тон диалогов, передача малейших подробностей, точность жестов, какой-то неподражаемый тон правдивости наполняют эти грустные трепещущие страницы незабываемой жизненной полнотой и дают нам возможность побрататься с людьми, до крайности нам противоположными. Какая-то дикая поэзия и безнадежный лиризм проникают всё произведение и поднимают его над уровнем простого реализма, не выводя его в то же время из рамок действительности» (цит. по кн.: И. Г р у з д е в. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 186).

К тому же году относится высказывание Сельмы Лагерлёф: «В дни шестидесятилетия Максима Горького я хочу поблагодарить его больше всего за образ бабушки, старой женщины с кротким сердцем и прекрасными легендами, женщины, самой восхитительной из многих чудесных русских женщин, встреченных мною в мировой литературе» (там же, стр. 192).

Заслуживают внимания также страницы, посвященные «Детству» Горького в романе известного французского писателя Жоржа Бернаноса «Дневник деревенского священника» (1936). «Благословен будь тот, кто предохранил от отчаяния сердце ребенка!» — говорит, прочитав «Детство», герой романа, идеалист-священник. «Детство» становится в его жизни событием: «...и вот эта книга, пришедшая из такого далека, из этих баснословных земель, дала мне целый народ в товарищи» (G e o r g e s B e r n a n o s. Oeuvres romanesques, Bibliothèque de la Pleiade, 1961, p. 1070).

В «Слове о Горьком», произнесенном в дни 100-летнего юбилея писателя в 1968 г., Л. М. Леонов говорил: «...классическая по форме и блеску обобщения его трилогия, так целостно вписавшаяся в самосознанье тогдашней России и сама зеркально вместившая в себя всю ее кипучую уже забродившую низовую действительность, подводит читателя к истокам Октября, определившего впоследствии будущность его страны. Мы повторили бы сказанное ему наедине однажды, что запевная фраза „Детства“ по образной структуре рисунка годится стать манифестом реалистической школы высшей точности...» («Литературная газета», 1968, № 14, 3 апреля).

С т р. 9. *...помер он со не в срок, не в свой час... Я был тяжко болен...*— Алеша Пешков болел холерой в Астрахани летом 1871 г., когда ему было три года. Его отец, Максим Савватиевич Пешков, ухаживая за сыном, заразился и умер. В метрической книге Казанской церкви г. Астрахани за 1871 г. записано, что М. С. Пешков умер 29 июля 1871 г. в возрасте 31 года и похоронен 30 июля «на общем кладбище» (см. «Новые материалы об отце А. М. Горького».— «Литературная газета», 1951, № 106, 6 сентября).

С т р. 9. *С верху, из Нижнего...*— Акулина Ивановна Каширина, бабушка Горького, летом 1871 г. приехала из Нижнего Новгорода пароходом в Астрахань, где в то время жила ее дочь Варвара с семьей.

С т р. 10. *...роды пришли...*— В. В. Пешкова в день смерти мужа, 29 июля (10 августа) 1871 г., родила сына Максима (запись в метрической книге Казанской церкви Астрахани за 1871 г.).

С т р. 12. *...Максим умер...*— Метрическая запись о смерти Максима пока не обнаружена биографами Горького, что затрудняет установление точной даты отъезда Пешковых из Астрахани и прибытия их в Нижний.

С т р. 18. *...едет человек, который запрещает есть фрукты...*— Запрет был связан с эпидемией холеры, которая нача-

лась в Рыбинске и постепенно охватила всю Волгу. Бедствие постигло Астрахань в 1871 г. и продолжалось с июля до сентября (см.: *Травушкин*, стр. 12).

С т р. 19. *...дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья оба Саши, сестра Катерина...*— М. В. Каширин (1832—1909) и Я. В. Каширин (1839—1903) — родные братья матери А. Пешкова (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 301—309). Е. М. Каширина (в замужестве — Весовщикова; 1863—1938) — дочь М. В. Каширина от первого брака. Об остальных см. примеч. ниже.

С т р. 19. *...приземистый одноэтажный дом...*— Дом на Успенском съезде, 2 (ныне Почтовый съезд, 21), в старой части бывшего Нижнего Новгорода. Успенский съезд соединял верхнюю часть города с Нижним базаром (ныне на ул. Маяковского) и пароходными пристанями. По нему поднимались Каширины. Дом построен в XVIII — начале XIX в. и принадлежал ранее родной сестре В. В. Каширина. В 1852 г. В. В. Каширин купил этот дом со всеми пристройками за 428 рублей (см. купчую в ст.: Н. З а б у р д а е в. Из Сибири в Нижний Новгород.— «Сибирские огни», 1968, № 3, стр. 148). В 1936—37 годах дом реставрирован; несохранившиеся пристройки (красильня и каретник) отстроены заново. В 1938 г. в этом доме открыт мемориальный бытовой музей детства М. Горького, известный под названием «Домик Каширина» (см.: Ф. П. Х и т р о в с к и й. Домик Каширина. Горький, 1948).

С т р. 20. *Сандал — фуксин...*— *Сандал* — краситель, который извлекают из древесины сандалового и некоторых других тропических деревьев. *Фуксин* — красная анилиновая краска.

С т р. 20. *...вышла замуж «самокруткой»...*— Об этом, т. е. о тайном венчании против воли родителей, подробно рассказывает бабушка (гл. XI, стр. 160—163). Однако документы версию о «самокрутке» не подтверждают. Родители Алеши Пешкова венчались 27 октября 1863 г. в Успенской церкви Нижнего Новгорода. В. В. Каширин согласие на брак дал (см.: *Г Чтения*, 1968, стр. 352—353).

С т р. 21. *...за Окой, в слободе Кунавине.*— Старинная слобода, расположенная на левом, отлогом берегу Оки. После перевода ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород (1817 г.) значение Кунавина сильно возросло. «Эта часть Нижнего Новгорода, в течение целых девяти месяцев тихая, делается с половины июня до половины сентября самой многолюдной, оживленной, веселой: тогда в домах ее появляются приезжие не только из разных концов России, но и из разных государств Европы и Азии. Это приносит кунавинским домохозяевам значительные доходы» («Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода в двух частях», составленные Н. Храмцовским, ч. II, 1859, стр. 187; см. там же, стр. 185—191). В Кунавинской слободе прошла часть детства Горького.

С т р. 21. *...нянька Евгенья...* — В статье «О сказках» Горький писал, что с фольклором его в детстве знакомили «две старухи» — бабушка и нянька Евгения. «Нянька жила в семье деда лет двадцать пять, если не больше, „нянчила" многочисленных

детей бабушки, хоронила их, оплакивала вместе с хозяйкой. Она же воспитала и второе поколение — внуков бабушки, и я помню старух не как хозяйку и работницу, а как подруг» (*Г-30*, т. 27, стр. 392).

Стр. 22. *А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! — Езуит* — искаж. «иезуит». *Фармазон* — искаж. франц. franc-maçon (франкмасон, букв.— вольный каменщик). Франкмасонство, или масонство — философско-религиозное течение в буржуазно-аристократической среде, возникшее в начале XVIII в. в Англии и распространившееся во многих странах. В народной среде франкмасонские организации («ложи»), окружавшие себя ореолом таинственности, вызывали недоверие и неприязнь. Поэтому и слово «франкмасон» — в его простонародной трансформации — стало обозначением подозрительного лица, нечестивца, злоумышленника. В одном из писем советского периода Горький вспоминал, что еще в конце 80-х годов ничего не знал о масонах, «кроме того, что были когда-то темные люди „фармазоны“» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 99).

Стр. 23. *...у дьячка Успенской церкви...*— церковь Успения богородицы на Успенском (ныне — Почтовом) съезде в Нижнем Новгороде. Дьячком Успенской церкви в то время был Дмитрий Богородицын (сообщено Н. А. Забурдаевым).

Стр. 23. «*Отче наш, иже еси...*» — начало «Молитвы господней» (Евангелие от Матфея, гл. 6, стихи 9—13).

Стр. 23. *...«яко же»...*— из этой же молитвы («И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим»).

Стр. 25. *Сашка Яковов* — А. Я. Каширин (1865—1910) — двоюродный брат Горького. См. письмо Горького к И. А. Груздеву от 4 февраля 1933 г. (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 301—302).

Стр. 26. *Саша Михаилов* — А. М. Каширин (ум. 1909 г.), двоюродный брат Горького. О нем Горький писал И. А. Груздеву: «удивительно милый человек, но по природе своей —лентяй, бродяга, профессиональный босяк. Об этом Александре можно бы написать не хуже, чем Лоти написал книгу „Мой брат Ив“» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 302, 309).

Стр. 27. *Семишник* — монета в две копейки.

Стр. 30—31. *Сирота, нищей матери сын ∽ старшиной цеховым сделан ∽ баржи тянул ∽ и водоливом пошел...*— В. В. Каширин родился в г. Балахне 17 (29) января 1807 г., в семье бедной солдатки У. М. Кашириной. Его отец, В. Д. Каширин, задержанный в 1804 г. в Астрахани как «беглый» и «беспашпортный», был доставлен в Балахну и здесь за долги купцу Заеву был сдан в 1806 г. в рекруты «в зачет будущих наборов». Жена осталась с двумя дочками, беременной (*Травушкин*, стр. 6—8). В 1813 г. В. В. Каширин поступил в единственную в Балахне школу, проучился в ней два года; 14 лет пошел в бурлаки, а через несколько лет получил почетное звание водолива на расшиве — старшего на судне над бурлацкой артелью. В 1841 г. Каширин переехал в Нижний уже кустарем-красильщиком. Избирался старшиной красильного цеха в течение трех лет (1855—1857), а в 1861—1863 гг.— гласным городской думы, в которой он был

единственным представителем всего ремесленного сословия города (*Г и его время*, стр. 550—551).

С т р. 31. *...до Макарьева, до ярмарки...*— Всероссийская ежегодная ярмарка в Макарьеве (город, получивший название по Макарьевскому монастырю, в 84 верстах от Нижнего, на левом берегу Волги, близ устья реки Керженец). В 1817 г. ярмарка была перенесена в заокскую часть Нижнего Новгорода на Стрелку.

С т р. 34. *...рекрутскую квитанцию...*— Покупка рекрутских квитанций, выпускавшихся правительством, освобождала от военной службы.

С т р. 35. *Запон* — кожаный передник у мастеровых.

С т р. 35. *...брал ребятишек моих в ангелы.*— По опубликованным метрическим записям, у А. И. Каширина было семнадцать детей. Из них двенадцать, кроме первых Михаила и Екатерины, Натальи (четвертой), Якова (шестого) и Варвары (десятой), умерли во младенчестве, т. е., по христианским понятиям, в безгрешном, «ангельском» возрасте (см.: *Г Чтения*, 1968, стр. 345, 347, 348).

С т р. 35. *...похожа на медведицу, которую недавно приводил ∞ мужик из Сергача.— Сергач* — город на р. Сергачке (б. Нижегородская губерния). В 11 верстах от Сергача находилось село Ключевос, жители которого славились умением дрессировать медведей; крестьяне возили их и показывали по Нижегородской и соседним губерниям.

С т р. 41. *Балахна* — город на Волге (б. Нижегородской губернии).

С т р. 41. *...про царя Давида...*— *Давид* — легендарный царь древнего Израиля (XI—X вв. до н. э.), одно из главных действующих лиц Ветхого завета. Библия изображает Давида искусным музыкантом и сочинителем религиозных песнопений — псалмов, «сладким певцом Израилевым» (Вторая книга Царств, гл. 23, стих 1). Библейскому Давиду принадлежат слова: «пред господом играть и плясать буду» (Вторая книга Царств, гл. 6, стих 21).

С т р. 43. *...жену насмерть забил...*— Первая жена Якова, О. А. Каширина (в девичестве Митрофанова) умерла 26 декабря 1869 г.

С т р. 51. *Шёлковая головка* — головная повязка у замужних женщин. О своей бабушке Горький вспоминал в статье «О сказках» (1930): она была «богата волосами» и «натягивала на них „головку“ — шёлковую шапочку вроде чепчика» (*Г-30*, т. 27, стр. 392).

С т р. 55. *...Двенадцать праздников, в середине же божия матерь Феодоровская...*— икона Феодоровской божией матери (одна из русских икон, считавшихся чудотворными; подлинник с XIV века хранится в Костромском Ипатьевском монастыре) с клеймами, изображавшими события, которым посвящены двенадцать важнейших праздников православной церкви (двунадесятые праздники).

С т р. 55. *...Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...*— Икона

с изображением богоматери у гроба Иисуса Христа. Название иконы — начало девятой песни канона «В великую субботу» (Молитвослов. СПб., 1907, стр. 128).

С т р. 55. «*Да воскреснет бог и расточатся врази его*» — Псалтырь, псалом 67, стих 2.

С т р. 56. ...*стихи о том, как богородица ходила по мукам земным*...— Сюжет этих стихов, очевидно, навеян апокрифом «Хождение богородицы по мукам», в котором повествуется о том, как богородица в сопровождении архангела Михаила посещает ад и затем умоляет бога облегчить муки грешников (см.: «Хождение богородицы по мукам». Опыт истории христианской легенды Н. Бокадорова. Киев, 1904).

С т р. 56. ...*разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву*...— Об этом сюжете см. также на стр. 81 «Детства». В письме к С. Н. Сергееву-Ценскому от 7 сентября 1927 г. Горький вспоминал «одного мужичка в Муроме», который некогда прочитал ему «изумительную чепуху о романе Ильи Муромца с „князь-барыней" Енгалычевой» (*Г-30*, т. 30, стр. 33).

С т р. 56. ...*стихи про Алексея божия человека*...— См. в наст. изд. т. XIV, стр. 599.

С т р. 56. *Иван-воин* — христианин эпохи Юлиана Отступника (IV в.), канонизированный православной церковью.

С т р. 57. ...*О Марфе Посаднице*...— См. в наст. изд. т. XIV, стр. 616.

С т р. 57. ...*о Бабе Усте, атамане разбойников*...— Героиня поволжской легенды, девушка, ставшая атаманом разбойничьей шайки. На этот сюжет написан роман Е. А. Салиаса «Атаман Устя (Поволжская быль)».

С т р. 57. ...*о Марии, грешнице египетской*...— Речь идет о Марии Египетской, раскаявшейся блуднице, жившей, согласно легенде, в VI веке и позже канонизированной православной церковью.

С т р. 60. ...*верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь*...— Ф. П. Хитровский пишет:

«Традиции пожарной обстановки строго соблюдались нижегородцами даже в мелочах. Каждая пожарная часть, например, имела лошадей строго определенной масти.

В первой, Кремлевской части лошади были рыжие, во второй — гнедые, в третьей — вороные, в Макарьевской (Заречной) — темно-гнедые 〈...〉 С точной правдивостью и знанием нижегородских порядков Горький отметил, что верховой в медной шапке с гребнем, ворвавшись на каширинский двор, где горела красильня, был на рыжей лошади. Это означает, что первыми на пожар в „домик" прибыли пожарные первой, Кремлевской части, самой ближайшей» (*Хитровский*, стр. 15).

С т р. 62. *Царские двери отворить надо*...— По поверью, для облегчения трудных родов надо было просить священника открыть «царские врата», т. е. двери, ведущие в алтарь православного храма.

С т р. 63. *Умерла тетка-то Наталья*...— Наталья в повести — жена дяди Михаила. На самом деле первую жену М. В. Ка-

ширина звали не Наталья, а Мария Кирилловна (в девичестве — Харламова). Она умерла от родов в том же 1869 г., что и первая жена Якова (сообщено Н. А. Забурдаевым), оставив после себя двоих детей: Александра и Катерину.

Стр. 64. *К весне дядья разделились ∽ дед купил себе ∽ дом на Полевой улице...*— Как следует из хранящихся в архивах Нижнего Новгорода документов, Михаил Каширин уже в 1867 г. начал оформление капавинского наследства, которое досталось ему через жену М. К. Харламову, после смерти ее отца. Яков Каширин в том же 1867 г. получил права хозяина дома и красильни на Успенском съезде и владел ими почти десять лет: в начале 1876 г. он продал всё это хозяйство за долги винторговцу Д. Иванову (сообщено Н. А. Забурдаевым). Что касается дома на Полевой (ныне — ул. Горького), то в нем Каширин действительно жил, но уже в 1872 г. он был продан дедом. В Музее А. М. Горького в Горьком хранится копия «домашнего условия» на покупку Н. В. Васильевым дома на Полевой улице у В. В. Каширина. Купля-продажа состоялась «12 июля 1872 г. В. В. Каширин взял 1500 рублей серебром с условием бесплатно занимать в доме до 1 сентября „две квартиры — одну внизу ⟨...⟩ а другую вверху, в мезонине“» (*Г Чтения*, 1968, стр. 396, 398).

Стр. 65. *...в Печёры, к Асафу-схимнику...*— *Печёры* — Печерский монастырь, основанный в 1328—1330 гг. на окраине Нижнего Новгорода на высоком берегу Волги. «В 1597 г. Печерский монастырь был разрушен обвалом горы...». Новый монастырь был отстроен ближе к городу. На месте же прежнего монастыря в 1794 г. воздвигнута Преображенская церковь, в склепе которой помещена гробница схимника Иоасафа (см.: «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода в двух частях», составленные Н. Храмцовским, ч. II, 1859, стр. 105 и др.).

Стр. 65. *«Сон богородицы»* — духовный стих, в котором рассказывается, как богородица узнала из пророческого сна о будущих страданиях и крестной смерти своего сына. К этому стиху прибегали при заговорах от различных несчастий (см.: «Калеки перехожие». Сборник стихов и исследование П. Бессонова, ч. II, вып. 6. М., 1864, стр. 175—235).

Стр. 66. *...сиротой росла...*— В одном из писем Груздеву Горький вспоминал: «Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротою, возможно — внебрачной, на это указывает „бобыльство“ ее матери и раннее нищенство самой бабушки» (*Г и его время*, стр. 552). Акулина Ивановна, до замужества Муратова, родилась в 1813 г. В церковной записи о бракосочетании с В. В. Каширины Акулина Ивановна названа «нижегородской мещанкой» (*Хитровский*, стр. 21). Подробнее о предках Горького см.: *Г Чтения*, 1968, стр. 337—339 и 343.

Стр. 66. *...пошла по миру, за милостью...*— После смерти Я. И. Муратова (деда Акулины Ивановны) «не осталось никакого имущества. Его жена Елена Ивановна сразу же пошла с детьми по миру», жила в приюте для вдов в том месте Нижнего, «где позднее

была „Миллионка", известная ночлежка, построенная купцом-миллионером Бугровым» (*Г Чтения*, 1968, стр. 337—338). Так же бедно жила и семья Акулины Ивановны (см. там же, стр. 345).

В указанной выше статье опубликованы и другие документы, комментирующие рассказ бабушки (см. там же, стр. 347).

С т р. 66. *...Гаврило архангел мечом взмахнет, зиму отгонит...*— День архангела Гавриила — 26 марта ст. ст.— считался концом зимы.

С т р. 66. *Юрьевец* — город в б. Костромской губернии, при впадении Унжи в Волгу.

С т р. 67. *Высмотрела меня мать его...*— Мать Василия Каширина, деда Горького — Ульяна Максимовна Каширина (в девичестве Бебенина, р. в 1778 г.), солдатка. 18 января 1831 г. состоялась свадьба Акулины и Василия в Балахне, где жила У. М. Каширина; в Балахне, в доме свекрови, прожила Акулина Ивановна первое десятилетие своего замужества (см.: *Г Чтения*, 1968, стр. 344).

С т р. 68. *Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, Земля, Люди* — названия букв церковнославянского алфавита.

С т р. 69. *Быръ* — индюк (от возгласа «быръ-быръ», которым подзывают индюка.— См. «Словарь автобиографической трилогии М. Горького», вып. 1. Л., 1972).

С т р. 70. *Блажен муж...*— Псалтырь, псалом 1, стих 1.

С т р. 70. *...Авессалом ядовит!* — Авессалом — сын библейского царя Давида, восставший против своего отца и погибший в борьбе с ним (Вторая книга Царств, гл. 13—18). В статье «О том, как я учился писать» Горький рассказывал: «Когда 〈...〉 мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалома. и мне казалось, что старшки говорят неправду...» (*Г-30*, т. 24, стр. 484).

С т р. 70. «*Скакаше, играя веселыми ногами*»...— Эти слова встречаются в песне, которую исполняли сектанты-хлысты. На радениях, по идее хлыстов, как бы воспроизводилась пляска царя Давида перед «ковчегом завета» (Библия, Вторая книга царств, гл. 6, стихи 14—21); исполняемая при этом песня была составлена, с искажением, из стихов пасхального песнопения: «Люди божии святые пред сенным ковчегом скакали, играя веселыми ногами...» («Люди божии. Русская секта так называемых духовных христиан». Исследование И. Добротворского. Казань, 1869. Приложение, стр. 8).

С т р. 71. *...кафизму ∽ часослов.* — *Кафизма* — чтение из псалмов. *Часослов* — книга, содержащая псалмы, молитвы и прочие тексты для ежедневных церковных служб (вечерни, утрени, обедни, всенощной).

С т р. 72. *...в деяниях...*— «Деяния святых апостолов», одна из библейских книг; входит в Новый завет.

С т р. 73. *...в день Николы вешнего* — 9 мая (ст. ст.).

С т р. 74. *Был он лихой человек ∽ живи без сословия!* — Во время войны 1812 г. в России Наполеон, надеясь использовать в своих целях недовольство крепостного крестьянства, обду-

мывал план отмены крепостного права на завоеванных им русских территориях. Находясь в Москве в сентябре — октябре 1812 г., он интересовался историей пугачевского движения. В некоторых губерниях в то время происходили крестьянские волнения против помещиков. Однако Наполеон не решился издать декрет об освобождении крестьян, а в занятых областях французские войска даже подавляли вспышки крестьянских восстаний против помещиков.

С т р. 74. *...до холеры...*— Холера свирепствовала в Нижнем Новгороде в 1848 г.

С т р. 74. *...олончан ловили по лесам.*— Олонецкая губерния была местом поселений старообрядцев и одним из центров «беспоповщины». Олонецких крестьян насильно приписывали к заводам, откуда они бежали, скрываясь по лесам.

С т р. 75. *...в 48-м году, в самый венгерский поход...*— Имеется в виду организованный Николаем I поход против венгерской революции в 1849 г.

С т р. 76. *Томаша* — суета, суматоха.

С т р. 82. *Отбойные* — отбившиеся от дела, непутевые.

С т р. 85. *...лицо Казанской божией матери...*— Одна из «чудотворных» икон, поясное изображение богоматери с младенцем на левой руке, простирающим свою правую руку для благословения.

С т р. 86. *Акафист* — хвалебное церковное песнопение, в котором прославляются Христос, богоматерь и святые.

С т р. 89. «*Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...*» — Начало одной из утренних молитв. «Напрасно» здесь в значении «внезапно» (Молитвослов, стр. 6).

С т р. 89. «*Тебе единому согреших,— отврати лице твое от грех моих...*» — Здесь приведены слова из разных мест молитвы «Помилуй мя, боже» (Псалтырь, псалом 50, стихи 6 и 11).

С т р. 89. «*Верую*» — православная молитва, воспроизводящая символ веры, выработанный и утвержденный на первом (325 г.) и втором (381 г.) Вселенских соборах: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя...» (Молитвослов, стр. 84).

С т р. 89. «*Врача родшая, уврачуй...*» — Из утренней молитвы богородице.

С т р. 90. «*Погаси пламень страстей моих...*»; «*Но та вера моя да довлеет вместо всех дел*».— Из утренних молитв (Канонник, СПб., 1906, стр. 17—18 и 15).

С т р. 90. *...согрешили люди и — потоплены, еще согрешили и — сожжены...*— Библейские рассказы о наказаниях богом людей за грехи (всемирный потоп, разрушение Содома и Гоморры).

С т р. 91. *...сколько есть чинов ангельских?* — В христианской догматике ангелы разделялись на 9 чинов (серафимы, херувимы, архангелы и др.).

С т р. 92. *...кулугурские шутки...*— Кулугурами называли в народе раскольников — старообрядцев.

С т р. 92. *...святцы* — календарь святых и их праздников.

С т р. 92. *...против дня Иоакима и Анны...*— День этих

святых — 9 сентября (ст. ст.). Об Иоакиме и Анне см. примеч. к стр. 254.

С т р. 93. *Ефрем Сирин* — один из отцов церкви (IV в.), сочинитель молитв и священных песнопений. Поэзия Ефрема Сирина мрачна и проникнута духом аскетизма.

С т р. 93. «*Что ти принесу...*» — Вечерняя молитва св. Макария Великого (Канонник, стр. 131). «*И соблюди нас от всякого мечтания...*» — Вечерняя молитва (там же, стр. 134). «*Господи, покрый мя ∽ Даждь ми слезы...*» — Вечерняя молитва Иоанна Златоуста (там же, стр. 137).

С т р. 94. *Анника-воин* — герой легенд и духовных стихов о «прении живота со смертью» (см.: «Сборник русских духовных стихов», составленный В. Варенцовым. СПб., 1860, стр. 26—28, 110—127).

С т р. 94. *...блаженным Игошей Смерть в Кармане.* — Об Игоше Смерть в Кармане Горький вспоминал и позднее, в статьях. «Было что-то страшноватое в неподвижности его глаз и особенно в руках его,— они так настойчиво щупали всё, как будто Игоша хотел убедиться: есть оно или только кажется. Меня очень занимало это ощупывание мира Игошей»,— писал Горький в статье «Беседы о ремесле». Там же Горький объяснял причину своего интереса к Игоше и подобным ему представителям людей «ненормальных» (*Г-30*, т. 25, стр. 294).

С т р. 96. *...бабушка уже успокоилась навсегда...*— Последние месяцы перед смертью А. И. Каширина жила отдельно от деда, на Яриле, в приходе Воскресенской церкви. «Запись о ее смерти гласит: „1887 года, февраля 16, умерла, а 18 похоронена нижегородская мещанская вдова Акулина Ивановна Каширина, 70 лет, от старости“» (*Г Чтения*, 1968, стр. 348).

Петропавловское кладбище, где была похоронена Акулина Ивановна, в 1930 г. снесено (ныне на его месте Парк культуры и отдыха им. Кулибина). Старые нижегородцы успели в 1928 г. сфотографировать могилу А. И. Кашириной и точно запомнили место ее расположения. Сейчас на этом месте поставлен памятник — барельеф (по проекту скульптора Л. Ф. Кулаковой): Акулина Ивановна за пряжей рассказывает сказки внуку Алеше (История могилы А. И. Кашириной записана со слов нижегородского краеведа А. А. Крылова).

С т р. 96. *...дед сам ходил ∽ нищий...*— С конца 1886 г. В. В. Каширин жил в заокской части города (Вокзальная, 4). В старости впал в слабоумие. Умер через два с половиной месяца после смерти Акулины Ивановны — 1 (13) мая 1887 г., 80 лет, «от дряхлости». Погребен 8 мая на приходском кладбище Владимирской церкви в Кунавине (метрическая запись его смерти найдена Ф. П. Хитровским; см.: *Г и его время*, стр. 551).

С т р. 98. *...купив другой, по Канатной улице...*— В доме на Канатной ул. (ныне ул. Короленко) Каширины жили в 1875—1876 годах. Дом был оценен в 306 рублей (см.: *Г и его время*, стр. 557).

С т р. 98. *Слева ∽ стена конюшен полковника Овсянникова, справа — постройки Бетленга...*— Из опубликованных Груздо-

вым документов известно, что рядом с домом Кашириных на Капатной улице действительно находились: «дом и флигель цеховых Елизаветы и Варвары Петровых Овсянниковых» и «деревянный на каменном полуэтаже дом и деревянный флигель коллежского регистратора Петра Николаевича Бетленга» (см. *Г и его время*, стр. 557—558).

Стр. 103. *...про Ивана-Воина и Мирона-отшельника...*— Горький писал 15 февраля 1929 г. И. Груздеву: «Мною в 90-х годах были записаны десятки песен, несомненно, подлинно народных. Они погибли в жандар⟨мском⟩ упр⟨авлении⟩, а раньше — я утопил целую тетрадь записей в Керченском проливе. По сей день жалко: песен этих нет нигде у собирателей. Кстати: в „Детстве“ есть „Сказание про Мирона-отшельника“. Это — от бабушки. Ни текста такого, ни вариантов его я тоже нигде еще не встречал, хотя фольклором занимался усердно» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 193). В *ЛБГ* хранится книга Н. К. Пиксанова «Горький и фольклор» (Л., 1935) с пометами Горького. На стр. 13—15 полностью приведен текст сказания о Мироне-отшельнике из повести «Детство»; рукою Горького зачеркнуты последние три строки:

А молитва старца за нас, грешников,
И по сей добрый час течет ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!

Стр. 109. *О, роза Сарона...*— переложение библейской «Песни песней» Соломона («Я нарцисс Саронский, лилия долин!» — гл. 2, стих 1). Среди многих переложений в русской поэзии наиболее близко цитированному стихотворение П. Д. Бутурлина «Суламита»: «Я — роза Сарона, я — ландыш долин!» (см. «Песнь песней» Соломона. СПб., 1910, стр. 195, имеется в *ЛБГ*). Сарон — плодородная долина в Палестине.

Стр. 115. *...«согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом»...*— В старославянском языке «согрешихом» — первое лицо множ. числа аориста («мы согрешили»), «согрешиша» — третье лицо множ. числа («они согрешили»). «Беззаконновахом» — от «беззаконновати» (нарушать закон), «неправдовахом» — от «неправдовати» (неправедно поступать). «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою...» — начало одного из богослужебных песнопений (Молитвослов, стр. 106).

Стр. 118. *Маковая сбойна* — маковый жмых (избоина, макуха).

Стр. 129. *...нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца...*— Георгий Победоносец (Егорий Храбрый) — христианский святой, согласно легенде живший при императоре Диоклетиане (конец III в.). Изображался на коне, поражающим дракона. Такое изображение было и на старинных русских монетах.

Стр. 131. *Елатьма* — город на Оке, в б. Тамбовской губернии.

Стр. 132. *Мать приехала...*— После раздела имущества В. В. Пешкова уезжала гостить к родственникам.

С т р. 138. «*Родное слово*» — учебная книга для детей младшего возраста. Год второй (для детей от 7 до 9 лет). Составитель К. Д. Ушинский, изд. 20. СПб., 1874.

С т р. 138. *Большая дорога, прямая дорога...*— Не совсем точная цитата из стихов И. С. Аксакова, помещенных в «Родном слове» указанного выше издания, на стр. 77, под заглавием «Шоссе и проселок» (отрывок из поэмы И. С. Аксакова «Бродяга», 1847—1850). См. иллюстрацию на стр. 139.

С т р. 141. *И вечерней и ранней порою...*— Стихотворение И. С. Никитина «Нищий» (1857).

С т р. 145. *Кирик и Улита, Пантелеймон* — святые-великомученики (см. т. XIV наст. изд., стр. 622). О Варваре Великомученице см. в примеч. к стр. 269.

С т р. 147. *Матрена Ивановна* — М. И. Муратова (р. 1832), в замужестве Сергеева, мать В. С. Сергеева.

С т р. 147. *...привозил ∽ часовых дел мастера...*— См. примеч. к пьесе «Фальшивая монета» — т. XIII наст. изд., стр. 530.

С т р. 148. *...креслом князя Грузинского...*— Князь Г. А. Грузинский, потомок грузинского царя Вахтанга, в начале XIX века владел имением Лысково близ Макарьевского монастыря.

С т р. 152. *...говорил ∽ о нечестивом Ахаве...*— Ахав — библейский персонаж, израильский царь — идолопоклонник, отступивший от веры своих отцов и ставший служить языческому Ваалу (Библия, Третья книга Царств, гл. 16—22).

С т р. 152. «*Записки моего отца*» — очевидно, «Записки моего отца. Картины Сибири, 1804—1809 годы» Вас. В. Пассека, вошедшие в книгу «Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком», кн. I. СПб., 1838 (см.: письмо Горького к Н. К. Кольцову от 31 августа 1926 г.—Архив А. М. Горького, ПГ-рл-19-15-1; Т. П. Пассек. Из дальних лет. М., 1963, т. II, стр. 204).

С т р. 154. *...прошли святки...*— Святки — в православном быту 12 дней от праздника Рождества до Крещения.

С т р. 154. *Отец Саши женился, мачеха ∽ невзлюбила пасынка...*— М. В. Каширин женился второй раз на дочери трактирщика Чиркова, Надежде Дмитриевне. Сохранилась заметка Горького о ней: «...огромная, грудастая, необъятные бедра и толстейшие ножищи. Рожа большая, круглая, туго обтянута рыжеватой сафьяновой кожей, в середине рожи — маленькие синеватые глазки, синеватые того цвета огоньков, которые бывают на углях, очень ядовитые глазки, а под ними едва заметный, расплывшийся нос и тонкогубый рот, длинный, полный мелких зубов. Голос у нее был пронзительно высокий, и я еще теперь слышу ее куриное квохтанье: ко-ко-ко-го...» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 68).

С т р. 154. *В школу мы ходили с месяц времени...*— «В „Детстве“,— писал Горький Груздеву в апреле 1933 г.,— указано, что до Канавинской школы я учился месяца два в Нижнем, в „ямской приходской школе“, „учение“ прервалось,— заболел оспой» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 318). Пешков «учился не более 5—6 месяцев: в феврале 1876 г. он заболел оспой и отстал от школы» («Домик Каширина», Музей А. М. Горького. Волго-Вятское книжное издательство, 1968, стр. 30).

С т р. 160. *...с домами деда, на Ковалихе.*— Ковалихинская, старинная нижегородская улица во 2-й Кремлевской части города, начинается с середины бывшей Варва́рской. Когда-то вдоль Ковалихи протекала река Ракма, упрятанная теперь в трубы глубоко под землю. «Вдоль оврага, покрытого зарослями орешника, шиповника, ивняка, по дну которого протекала Ракма, стояли избушки и мастерские ковалей (кузнецов): отсюда и название улицы — Ковалиха» (*Хитровский*, стр. 11). В 64-м г. В. В. Каширин купил на этой улице два дома: один, выходивший фасадом на улицу, и другой — флигель — во дворе. Это были самые богатые дома из тех, которыми владел дед Алеши.

С т р. 161. *...о ту пору богач был ∽ дома у него, у него и деньги ∽ дали шляпу с позументом да мундир...*— Период наибольшего достатка, почета и известности в жизни В. В. Каширина падает на вторую половину 50-х и 60-е годы. «В дни Севастопольской кампании, в 1855 г.», старшина красильного цеха В. В. Каширин организовал среди ремесленников города подписку «в помощь ратникам государственного ополчения» и собрал 16 рублей серебром. За эти заслуги он получил «от царя почетный, обшитый галуном, парадный кафтан и шляпу с пером» (*Хитровский*, стр. 23).

С т р. 164. *Жили они далеко, на Суетинском съезде...*— «Это был побочный, окраинный съезд. Начинаясь с Телячьего переулка (теперь переулок Гоголя), он круто спускался к Рождественской улице (теперь ул. Маяковского) и выходил на нее около Строгановской церкви» (*Сигорский*, стр. 7). В одном из домов на этом съезде родители Алеши Пешкова жили с 1863 до 1866 г. Подробное описание Суетинской улицы см. в рассказе Горького «Пожар».

С т р. 165. *...в прощеное воскресенье...*— Канун великого поста. Известен обычай просить в этот день друг у друга прощения во взаимных обидах. В прощеное воскресенье, 11 (23) февраля 1868 г.,— по рассказу Акулины Ивановны — состоялось примирение Варвары и Максима Пешковых с В. В. Каширным.

С т р. 166. *Поселились они с матерью во флигеле...*— Имеется в виду флигель дома В. В. Каширина на Ковалихинской улице. 16 (28) марта 1868 г. здесь родился Алексей Максимович Пешков (см.: Н. А. З а б у р д а е в. Муратовы, Каширины и Пешковы по документам.— «Волжский альманах», 1952, № 9, и его же статью «Дом, где родился А. М. Горький».— «Горьковская правда», 1952, № 271, 16 ноября).

С т р. 167. *...с Ямской улицы...*— Большая Ямская улица (ныне — верхняя часть ул. Краснофлотской).

С т р. 167. *Дюков пруд* — один из прудов на Новой площади (ныне — площадь имени Горького); назывался по фамилии домовладельца.

С т р. 168. *...до Покровки...*— Большая Покровская улица, главная в Нижнем Новгороде (ныне — ул. Я. Свердлова).

С т р. 168. *Прядильный проулок* — ныне ул. Маслякова.

С т р. 169. *...вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя ∽ поручено триумфальные ворота строить.*— Весной

1871 г. пароходство И. Колчина направило М. С. Пешкова управляющим конторой в Астрахань. Вероятно, одновременно ему поручалось принять участие в строительстве ворот. В 1927 г. Горький писал И. А. Груздеву: «Я думаю, что отец мой должен был принимать то или иное участие в построении триумфальной арки, ибо строилась она, конечно, пароходчиками, а Пешков был управляющим Колчина — впоследствии пароходством Курбатова, Карповой — крупным пароходством того времени» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 118). Триумфальная арка воздвигалась недалеко от пристани пароходства «Кавказ и Меркурий (где ныне Речной вокзал) в честь приезда в Астрахань летом 1871 г. Александра II (*Травушкин*, стр. 10).

С т р. 170. *Пырин* — индюк.

С т р. 170. *Сирин* — мифологическая птица с женским лицом и грудью.

С т р. 172. *Евгений Максимов.*— Е. В. Максимов, отчим А. М. Пешкова; был студентом Константиновского межевого института. Летом на каникулы приезжал к своему брату в Нижний Новгород. «Женившись, Максимов учиться в Москву не поехал, а поступил помощником бухгалтера в пароходную контору бр⟨атьев⟩ Каменских в Канавине, прослужил там недолго, за что-то его уволили, и он поступил кассиром на нижегородскую железнодорожную станцию в Канавине же» (Из воспоминаний С. В. Сергеева.— Архив А. М. Горького, МоГ-12-48-1).

С т р. 172. *Альмандин* — гранат (камень) красного цвета с синеватым оттенком.

С т р. 178. *...на войну пойдете?..*— Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

С т р. 181. *...две темные комнатки в подвале старого дома...*— В маленьком флигельке в Гусином переулке; здесь Каширины жили недолго, до переезда в Кунавино.

С т р. 183. *...я очутился в Сормове...*— В конце 1876 — начале 1878 года Алеша Пешков жил в Сормове с матерью, бабушкой и отчимом, Е. В. Максимовым, который служил на Сормовском заводе.

С т р. 187. *...в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф...*— *Хрисанф* (В. Н. Ретивцев, 1832—1883), духовный писатель; преподавал в Казанской духовной академии; был епископом Астраханским и Нижегородским. В своих трудах стремился ввести в богословие философско-исторический метод исследования. Труды, названные Горьким: «Религия древнего мира в его отношении к христианству» (3 тома. СПб., 1872—1878); «Египетский метампсихоз» («Православное обозрение», 1875, № 1). Название статьи о браке и женщине Горький, действительно, привел неточно. Статья называется: «Христианские воззрения на брак и современные толки о семействе и общественном положении женщины» («Христианское чтение», 1867, № 2). Горький и в других своих произведениях не раз говорил о Хрисанфе. В «Беседах о ремесле» он вспоминал, что в нелегальной библиотеке А. Деренкова в Казани была и статья Хрисанфа о положении женщины (*Г-30*, т. 25, стр. 332). См. также в рассказе «О первой любви»: «Внима-

тельно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа „Религия Востока“, я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании,— совершенно неприемлемы для меня» (*Г-30*, т. 15, стр. 114).

Стр. 190. «*Записки врача*» («Жозеф Бальзамо») — роман А. Дюма-отца. *Книга о Робинзоне* — «Робинзон Крузо» Д. Дефо.

Стр. 190. ...*у ограды Владимирской церкви*...— В заокской части Нижнего Новгорода, в слободе Кунавино.

Стр. 191. «*Соловей*» — сказка Г.-Х. Андерсена.

Стр. 196. ...*Язь, сын кладбищенского сторожа*...— Сохранились воспоминания старого кунавинского жителя М. А. Лукина, где он пишет: «При чтении „Детства“ я особенно обращал внимание на „Язя“, сына кладбищенского сторожа. Кладбищенским сторожем Напольной церкви был мой дедушка Лукин Иван Иванович, а Язь — его сын — это мой отец Александр Иванович Лукин. Отец рассказывал мне, как он в детстве играл в козны, собирал кости, тряпье, бумагу на свалках и где придется с друзьями, указанными выше, в том числе и с Алешей Пешковым». «Мой дедушка был „николаевский солдат“, т. е. служил 25 лет. Проходил сквозь строй шпицрутенов за отказ идти на подавление Польского восстания 〈...〉 а затем служил церковным сторожем. Таков был мой дедушка, тот „дрянной мужик“, с поговоркой „не дай господь бессонницы“». Лукин здесь же сообщает, что его дед умер в 1906 г. в возрасте 86 лет, а отец — «Язь», «Санька» — в 1937 г., 63-х лет (Рукописный журнал Государственного музея А. М. Горького в г. Горьком «Памятные записки», 1967, кн. 7—8, стр. 17). Следовательно, в 1879 г., к которому относится рассказ Горького «о дружной ватаге», Язю было 5 лет. У Горького Язь — «мальчик лет восьми». Но при этом — самый младший из всей «ватаги».

Стр. 196. *Полтора месяца ярмарки*...— Днем открытия Нижегородской ярмарки считалось 15 июня, на самом же деле она открывалась 25 июня и продолжалась для оптовой торговли до 25 августа, для розничной — до 10 сентября.

Стр. 197. ...*на Пески через затон*...— «В летнее время Ока образует очень мелкий затон, по которому могут плавать только небольшие винтовые пароходики. Затон этот образуется с одной стороны берегом Оки, а с другой — обширными песками, простирающимися вверх по реке на длину всей ярмарки и Макарьевской части. „Пески“ эти, нося официально то же название, а также именуясь и „Гребновской пристанью“, составляют часть ярмарочной территории» («Нижний в кармане». Изд. Л. А. Мукосеева. Нижний Новгород, 1904, стр. 129). «Все постройки на Песках воздвигаются и разбираются ежегодно, так как затопляются водою» (*Путеводитель*, стр. 65).

Стр. 201. ...*Сибирской пристани ∽ ватаги крючников-татар*...— Сибирская пристань — часть территории Нижегородской ярмарки; расположена на Стрелке по берегу Волги. Обычно в Нижнем железо выгружали татары; при помощи специального крюка они на спине выносили железо из трюма и бросали на палубу, где его уже брали «ягудки» (артели русских

рабочих грузчиков) и на тачках свозили на склады. Отсюда выражение «крючники-татары» (см.: *Путеводитель*, стр. 67).

С т р. 204. *...похвальный лист испортил какими-то надписями...*— Осенью 1877 г. Алеша Пешков поступил в первый класс слободского Кунавинского училища на бывшей Елизаветинской ул. (ныне ул. Коммунистическая; дом сохранился). При переходе в 1879 г. в третий класс он получил за успехи в учении похвальный лист и награду — книги. Похвальный лист сохранился в укладке деда и сейчас находится в Музее А. М. Горького в г. Горьком. Его текст: «П о х в а л ь н ы й л и с т. Н. С. Кунавинское начальное училище, одобряя отличные перед прочими успехи в науках и благонравие ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом в пример другим. Июнь 18 дня 1879 года». В тексте листа, действительно, сделаны исправления. Так, вместо «благонравие» Алеша написал «шалости», а в своей фамилии «Алеша Пешков» добавил — «Башлык». (Подробнее об этом см.: *Хитровский*, стр. 61—62, а также: *Сигорский*, стр. 32—35.)

С т р. 205. *...вышивая покров на плащаницу.*— Плащаница — полотнище с изображением Христа в гробу. Один раз в году — в пятницу страстной недели — плащаницу выносят из алтаря для поклонения верующих.

С т р. 207. *Умерла она в августе, в воскресенье...*— Мать Горького умерла от чахотки 5 (17) августа 1879 г., 35 лет от роду. Похоронена на бывшем Напольном кладбище, где ныне — Детский парк им. А. М. Горького.

В ЛЮДЯХ

(Стр. 211)

Впервые, в отрывках, напечатано в газете «Русское слово» (*РС*), 1915; № 251, 1 ноября (глава I, кончая фразой: «Наревевшись до утомления, мы заснули» — стр. 224); № 257, 8 ноября (глава V, кончая словами: «...они были похожи на солдат» — стр. 301); № 253, 15 ноября (гл. VII); № 274, 29 ноября (глава IX); № 280, 6 декабря (гл. XX). Полностью — в журнале «Летопись» (*Лет*), 1916, №№ 1—12, январь — декабрь. Отрывки из нескольких глав печатались в газете «Нижегородский листок» (*НЛ*) перед выходом соответствующих номеров «Летописи».

Первые отдельные издания: М а к с и м Г о р ь к и й. В людях. Berlin, I. Ladyschnikow Verlag ⟨1916—1917⟩ — *Л* и М. Г о р ь к и й. В людях. Пг., «Парус», 1918 (*Пар*)[1].

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись с рукописными страницами и большой правкой, отразившей несколько этапов авторской работы в течение 1914—1915 годов (ХПГ-3-1-1) — $АМ_1$.

2. Авторизованная машинопись, представляющая собой пе-

---

[1] Книга вышла в конце 1917 г.

репечатку верхнего слоя исправленного текста $АМ_1$; в Архиве — второй экземпляр машинной закладки, на который перенесена рукой Ладыжникова правка автора с не дошедшего до нас экземпляра, послужившего оригиналом набора для *Лет* (ХПГ-3-1-2) — $АМ_2$.

3. Печатный текст $Грж_2$ с корректорскими пометами — оригинал набора для *К* (ХПГ-3-1-3).

4. Отрывок из главы XX — лист автографа (ХПГ-3-1-4).

5. Лист машинописного текста из главы XX с авторской правкой — вариант части главы (ХПГ-3-1-5).

6. Лист с вопросами Н. О. Лернера и ответами Горького (ХПГ-3-1-6) — *ЗЛ*.

Печатается по тексту *Пар* со следующими исправлениями [1]:

Стр. 214, строка 2: «А вот если» вместо «А если» (по $АМ_1$).

Стр. 228, строки 16—17: «разогревая на керосине» вместо «разогревая на керосинке» и «гасить огонь лампы» вместо «гасить огонь» (по $АМ_1$).

Стр. 241, строка 1: «сквозь сон» вместо «сквозь слезы» (по $АМ_{1,2}$).

Стр. 241, строка 24: «басовитое пение гармоники» вместо «пенье басовитой гармоники» (по $АМ_1$).

Стр. 244, строка 23: «я подошел к черному гробу» вместо «я дошел до черного гроба» (по $АМ_{1,2}$).

Стр. 248, строки 40—41: «тяжкий запах» вместо «тяжелый запах» (по $АМ_1$).

Стр. 254, строки 16—19: «от Иоакима и Анны.— Марья Якимовна, значит? Бабушка уже сердится» вместо «от Иоакима и Анны. Бабушка уже сердится» (по $АМ_{1,2}$).

Стр. 254, строка 27: «закрыв глаза, и бормочет» вместо «закрыв глаза» (по $АМ_1$).

Стр. 260, строки 12—13: «его серые глаза» вместо «серые глаза» (по $АМ_1$).

Стр. 271, строка 2: «неустанно» вместо «постоянно» (по $АМ_1$).

Стр. 277, строка 5: «А взмолился христианский люд» (восстановлено по $АМ_1$).

Стр. 279, строка 9: «тихой лунною ночью» вместо «лунною ночью» (по $АМ_1$).

Стр. 279, строка 17: «на какой-то невыносимой скрипке» вместо «на какой-то скрипке» (по $АМ_{1,2}$, *Л*).

Стр. 282, строки 4—6: «заслужил в ближних улицах славу доброго игрока в бабки, в шар и в городки» вместо «заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах» (по $АМ_1$).

Стр. 285, строки 19—20: «землекопы, грубые, пьяные солдаты» вместо «землекопы» (по $АМ_{1,2}$).

Стр. 285, строка 26: «где меньше едят» вместо «где меньше спят» (по $АМ_1$).

Стр. 287, строка 25: «пришел сам хозяин» вместо «пришел хозяин» (по $АМ_1$).

---

[1] Исправления мелких разночтений не оговариваются.

Стр. 291, строки 1—2: «Толстенький, лысый Яков Иваныч» вместо «Толстый, лысенький Яков Иваныч» (по AM_1).

Стр. 295, строка 3: «устоявшаяся жизнь» вместо «уставшая жизнь» (по AM_1 и *РС*).

Стр. 300, строка 5: «спали Яков, Максим и Сергей» вместо «спал Яков Иванович и Сергей» (по AM_1).

Стр. 300, строки 23—24: «дверь каюты на нос ему» вместо «дверь на нос ему» (по AM_1).

Стр. 305, строка 6: «кололи поленья» вместо «кололи дрова» (по AM_1).

Стр. 322, строка 16: «в ее ловких пальцах» вместо «в ее ловких руках» (по AM_1).

Стр. 323, строка 40: «и словно спрашивает, торжествуя» вместо «и словно живой спрашивает» (по AM_1 и *РС*).

Стр. 324, строки 18—19: «переставал быть человеком, становился трубою» вместо «перестал быть человеком, стал трубою» (по AM_1).

Стр. 329, строки 15—16: «особливо—в молодых летах» вместо «особенно в молодых годах» (по AM_1).

Стр. 332, строка 37: «мутными, маслеными глазами» вместо «мутными глазами» (по AM_1).

Стр. 335, строка 15: «по неловкости его редко» вместо «по неловкости редко» (по AM_1).

Стр. 336, строка 2: «приятно новая, чистая, в черных перчатках» вместо «приятная, новая, чистая, в перчатках» (по AM_1).

Стр. 336, строка 36: «снова составляют письмо» вместо «составляют письмо» (по AM_1).

Стр. 339, строка 32: «сожженную свечу» вместо «зажженную свечу» (по $AM_{1,2}$).

Стр. 340, строки 26—30: «Почему-то я не мог ∽ сказал хозяин» (восстановлено по AM_1).

Стр. 341, строка 30: «Книжки-то» вместо «Книжники-то» (по AM_1).

Стр. 349, строка 5: «эта унылая пустота» вместо «унылая пустота» (по AM_1).

Стр. 354, строка 38: «об одном и том же» вместо «об одном» (по AM_1).

Стр. 355, строка 23: «он тоже лучше» вместо «он также лучше» (по AM_1).

Стр. 359, строки 17—18: «по утоптанной глине» вместо «по утоптанной земле» (по AM_1).

Стр. 365, строка 25: «Червь зловредный» вместо «Червь бездомный» (по *ЗЛ*).

Стр. 365, строка 29: «дикой силе» вместо «моей силе» (по *ЗЛ*).

Стр. 368, строка 2: «а победив, взял бы выкуп» вместо «взял бы выкуп» (по AM_2).

Стр. 369, строка 10: «всё более тяжкое» вместо «всё более тяжелое» (по AM_1).

Стр. 370, строка 33: «войдя в гостиную» вместо «придя в гостиную» (по AM_1).

Стр. 371, строки 18—19: «и ушел как во спс» вместо «и ушел» (по AM_1).

Стр. 372, строки 13—14: «не умеет — над ним пасмехаются, его презирают» вместо «не умеет — его презирают» (по AM_1).

Стр. 372, строка 14: «обняв» вместо «подняв» (по AM_1).

Стр. 373, строка 37: «Веселый день Троицы; я» вместо «В веселый день Троицы я» (по AM_1).

Стр. 380, строки 39—40: «у этого — купишь, тому — продашь» вместо «у того купишь, этому — продашь» (по AM_1).

Стр. 381, строки 11—12: «просить за меня начальство: отпустите его, — это меня, значит, а то-де он» вместо «просить начальство: отпустите его — это меня, значит,— отпустите его, а то-де он» (по AM_1).

Стр. 386, строка 1: «Народишку, браток, везде» вместо «Народишку везде, браток, везде» (по AM_1).

Стр. 390, строка 15: «прошибли» вместо «пришибли» (по AM_1).

Стр. 392, строка 41: «Он соглашается» (восстановлено по AM_1).

Стр. 394, строки 24—25: «Ля Моля и Аннибала Коконна» вместо «Ля Моля, Аннибала Кокопна» (по AM_1).

Стр. 396, строки 8—10: «Послезавтрея прибудем ∽ а оттолева — засядем в трактирс» вместо «Послезавтра прибудем, а оттелева — зарядим в трактпр» (по AM_1).

Стр. 398, строка 23: «Мстёрской работы» вместо «Мастерской работы» (по $AM_{1,2}$).

Стр. 398, строка 30: «Казанская, Дейсус, Покрова» вместо «Казанская, Покрова» (по AM_1 и *НЛ*).

Стр. 402, строки 39—40: «Симон Ушаков» вместо «Пимен Ушаков» (по *ЗЛ*).

Стр. 406, строка 5: «мять» вместо «марать» (по AM_1).

Стр. 410, строка 40: «у него одпи» вместо «у них одни» (по AM_1).

Стр. 411, строки 20—21: «становились именитыми» вместо «становились знаменитыми» (по AM_1).

Стр. 420, строка 10: «Связки-те, веревки-те порви» вместо «Связки-те, порви» (по AM_1).

Стр. 427, строка 10: «Жеманно улыбаясь» вместо «Женщина улыбаясь» (по AM_1).

Стр. 429, строка 2: «не может съесть!» вместо «не может есть!» (по AM_1).

Стр. 431, строки 8—9: «пахнет плохо дубленной кожей» вместо «пахнет дубленой кожей» (по AM_1).

Стр. 440, строка 37: «в жестокую драку» вместо «в жестокую драму» (по AM_1).

Стр. 442, строка 12: «казак упрямо твердил» вместо «казак говорил» (по AM_1).

Стр. 450, строки 30—31: «серебряные монеты; подметая пол» вместо «монеты, подметая» (по AM_1).

Стр. 461, строки 20—21: «во-он, прочь!» вместо «вон-вон, прочь!» (по AM_1).

Стр. 467, строка 8: «эти рассказы» вместо «их рассказы» (по AM_1).

Стр. 476, строка 39: «а и жуликом ты родился!» вместо «жуликом ты родился!» (по AM_1).

Стр. 478, строка 29: «абы свое» вместо «а свое бы» (по $AM_{1,2}$).

Стр. 478, строки 40—41: «своим умом пощи» вместо «умом пощи» (по AM_1).

Стр. 482, строка 25: «а скушнее Нижнего-то» вместо «а скушный; скушнее Нижнего» (по AM_1).

Стр. 484, строка 8: «года с два срока» вместо «два года срока» (по AM_1).

Стр. 484, строка 9: «волосья» вместо «волосы» (по AM_1).

Стр. 485, строка 3: «он бегает от греха» вместо «бегает от греха» (по AM_1).

Стр. 485, строка 22: «белый день?» вместо «белый свет?» (по AM_1).

Стр. 487, строки 30—31: «иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю, чаще — потому, что за день» вместо «иногда потому, что за день» (по AM_1).

Стр. 489, строка 41: «спокойно, сытые» вместо «сытно, спокойные» (по AM_1).

Стр. 490, строка 10: «ногой мою ногу» вместо «рукою мою ногу» (по AM_1).

Стр. 491, строки 19—20: «в таком же напряжении» вместо «в таком же настроении» (по AM_1).

Стр. 492, строка 26: «покатывались» вместо «закатывались» (по AM_1).

Стр. 520, строка 29: «говорить-то?» вместо «говорить?» (по AM_1).

Стр. 520, строка 39: «их речи — умные речи,— покрывают» вместо «их — умные речи — покрывают» (по $AM_{1,2}$).

Стр. 524, строка 5: «Ты сам дурак» вместо «Ты — дурак» (по AM_1).

«В людях» — вторая часть художественной автобиографии Горького. Возникновение замысла повести «В людях» невозможно отделить от замысла автобиографии в целом. История первых публикаций «Детства» показывает, что грань между двумя повестями определилась для автора не сразу (см. стр. 577—578 и на стр. 579 письмо Горького П. П. Ладыжникову от 18 сентября/1 октября 1913 г.). 30 ноября (13 декабря) 1913 г., незадолго до отъезда Горького из Италии в Россию, Ладыжников писал Ф. И. Благову с Капри, пересылая в «Русское слово» последние главы «Детства»: «Очерки из жизни „Отрочества“ Алексей Максимович отодвигает на будущее. Но я предполагаю, что он засядет за работу над „Отрочеством“ в недалеком будущем, как только избавится от текущей работы, накопившейся за период его болезни» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-2-3).

Из письма видно, что Ладыжников к этому времени был знаком с замыслом второй части автобиографического цикла, которую называет здесь «Отрочеством». Сам Горький обычно в

письмах именовал свою новую повесть продолжением «Детства», второй и третьей частями «Детства» [1].

Основная работа над повестью относится к 1914 г. Рассказывая о приезде Горького в Петербург в декабре 1913 г., Е. Г. Кякшт писал в своих воспоминаниях: «В Питере А. М. пробыл недолго: хилая петербургская весна прогнала его в деревню в середине апреля. Там он заканчивал повесть „Детство“» (Архив А. М. Горького, МоГ-17-17-3). Сам писатель 15 (28) мая 1914 г. сообщал Ладыжникову: «Я работаю немного над продолжением „Детства“...» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 233). 2 (15) июля того же года — сыну: «Много работаю, написал вторую часть „Детства“ [2], пишу большой рассказ и статью „Две души“» (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 139). 9 (22) сентября Горький сообщал Е. П. Пешковой: «Сейчас я заканчиваю работу, над которой сидел всё лето, кончу через неделю, десять дней» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 160). Позже — сыну: «Написал еще два тома „Детства“, а первый скоро выйдет отдельным изданием» (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 142). 26 сентября (9 октября) он писал Е. П. Пешковой: «Собираюсь к вам, но прежде мне необходимо переписать третий том „Детства“, 50 моих листов 〈...〉 Когда же я приеду? В день, когда кончу с рукописью — выеду отсюда 〈...〉 А когда кончу? Недели через две. Я уже кончил было эту работу, но вдруг начал, с половины, переделывать и вот — задержался» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 162). 16 (29) октября ей же: «Я буду в Москве в конце месяца, не раньше, очень медленно печатается рукопись» (там же, стр. 162).

Следовательно, повесть «В людях» была закончена в октябре 1914 г. и отдана на машинку. Это была первая законченная редакция всего произведения.

В ноябре 1914 г., встретившись с И. Д. Сытиным, писатель говорил с ним по поводу публикации повести «В людях» в «Русском слове». «Напишите мне как-нибудь, чем кончились переговоры с Сытиным, решено ли печатать „Юность“, где и когда?» — спрашивала Ладыжникова М. Ф. Андреева 21 ноября (4 декабря) 1914 г. (Архив А. М. Горького, ПТЛ-2-1-88). Очевидно, тогда же Горький передал Сытину экземпляр машинописного текста «В людях». Это подтверждается их перепиской по поводу эскиза «В театре и цирке» (см. ниже, стр. 639). Испрашивая у Горького

---

[1] Это породило ошибки, иногда встречающиеся в книгах о Горьком. Смешиваются названия двух повестей, и работа над повестью «В людях» комментируется как работа над «Детством». См., например: *Архив Г*$_{IX}$, стр. 359, комментарий к письмам 210, 211 или *ЛЖТ*$_{II}$, стр. 520 — сообщение о том, что 8 ноября 1915 г. в Петрограде Горький прочел на вечере, посвященном памяти Л. Н. Толстого, отрывок из «Детства». В отчете об этом вечере писалось, что «Горький прочел отрывок из 2-й части своего „Детства“» («Биржевые ведомости», утр. вып., 1915, № 15199, 9 ноября), т. е. отрывок из повести «В людях».

[2] Под второй частью «Детства» первоначально подразумевалась первая половина повести «В людях».

телеграммой разрешения напечатать в газете XIX главу повести, Сытин указывал страницы машинописи, сохранившейся в Архиве А. М. Горького (с 286 по 291). Именно эти страницы изъяты из текста при создании окончательной редакции «В людях» (Архив А. М. Горького, «В людях» — ХПГ-3-1-1). В газетной же публикации оговаривалось, что печатается «глава из нового произведения М. Горького „В людях“» («Русское слово», 1914, № 297, 25 декабря). Сообщалось также, что повесть полностью будет напечатана в газете в 1915 г.

Однако обещанная публикация повести не состоялась. Весной 1915 г. «Биржевые ведомости» в заметке «Писатели на летнем отдыхе» сообщили, что Горький всё лето безвыездно проживает в Мустамяках, подготавливая к печати свою новую повесть (см.: «Биржевые ведомости», 1915, № 14851, 19 мая). В ноябре — декабре того же года отдельные главы и части глав «В людях» появились в «Русском слове» с новым уведомлением о том, что «полностью повесть будет печататься в журнале „Летопись“, в течение 1916 года» (см.: «Русское слово», 1915, № 251, 1 ноября). Газетный текст этих отрывков соответствовал первой редакции повести.

В первой половине 1915 г. Горький совместно с И.П. Ладыжниковым и А. Н. Тихоновым основывает издательство «Парус», к концу года создает новый журнал «Летопись», надеясь с его помощью «организовать общественное самосознание широким обобщающим идеалом, прежде всего идеей интернационализма» (письмо И. М. Касаткину, май 1915 г.— *Архив Г*$_{IX}$, стр. 363). 11 (24) октября Горький писал К. А. Треневу: «Налажено издание ежемесячного литературного журнала „Летопись“. Я принимаю в этом журнале ближайшее участие, печатаю в нем вторую часть „Детства“...» (*Г-30*, т. 29, стр. 340—341). На следующий день он сообщал о том же И. А. Бунину: «С январской книги я начну печатать в „Летописи“ вторую часть „Детства“» (*Г Чтения*, 1961, стр. 81).

Для «Летописи» автор отредактировал повесть, внеся в текст существенные изменения и дополнения. Заново было написано много фрагментов, например, целиком вторая часть главы IV (начиная словами: «Гулять меня не пускали...» — стр. 276). Большая часть добавлений имела прямое отношение к характеристике центрального героя. Слова: «Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий» (стр. 456) — были вписаны на полях. Появились: разговор Алеши со Смурым о запрещенных книгах (стр. 297), рассуждение плотника Осипа: «Парнишко ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит. Украдь — я смолчу, к девкам ходи — тоже смолчу, и выпьешь — не скажу! А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай...» (стр. 520). Особое значение автор придавал последней, XX главе, которую переписывал несколько раз; в нее были введены рассказ о дворнике Петре и лирико-публицистические «отступления» автора: «Во мне жило двое ∽ становился в боевую позицию» (стр. 522) и «Зачем я рассказываю эти мерзости? ∽ К жизни, к жизни! Надо растворить в ней всё,

что есть хорошего, человечьего в наших сердцах и мозгах» (стр. 524). Вся эта работа запечатлена в правке автора на экземпляре AM_1.

Доработка произведения для «Летописи» шла в направлении, которое писатель стремился придать журналу. Это было замечено царской цензурой. «Журнал „Летопись", существующий главным образом на средства писателя „Максима Горького", как уже доносилось раньше, большевистского, а значит и пораженческого направления»,— докладывало Петроградское охранное отделение в Департамент полиции 7 августа 1916 г. (*Рев путь Г*, стр. 121).

Не обошла цензура и повесть «В людях». 18 ноября 1916 г. в Главное управление по делам печати было направлено донесение: газета «Поволжский вестник» напечатала «в марте месяце текущего года» отрывок из рассказа М. Горького «В людях», «в каковом содержалось кощунственное, оскорбляющее религиозное чувство, суждение о божьей матери», ввиду чего редактор был подвергнут взысканию в административном порядке (Архив А. М. Горького, ЦД-6-27).

Сравнительный анализ отрывка, напечатанного в газетах «Поволжский вестник» и «Нижегородский листок», с текстом «Летописи» помогает выявить в журнальном тексте следующий вычерк, вероятно, цензурного происхождения (вычеркнутое набрано курсивом):

«Поп говорил, что божья матерь родилась от Иоакима и Анны.

— *Марья Якимовна, значит?*

Бабушка уже сердится...» (стр. 254).

В гл. IV, стр. 285 — в журнальном тексте исчезли слова, набранные курсивом: «... на дворе сердитые, усталые землекопы, *грубые, пьяные солдаты*, растрепанные кухарки»...

Издание *Л* полностью повторило журнальный текст *Лет*, за исключением незначительных разночтений в четырех последних главах.

Текст журнала был положен в основу и для издания «Паруса» (книга вышла из печати в 1917 г. с обозначением на титуле 1918 г.). Характер обнаруживающихся при сопоставлении текстов *Лет* и *Пар* разночтений в разных случаях неодинаков; отсутствие оригинала набора (не сохранился) не позволяет с точностью определить степень участия автора в редактировании. Большинство мелких разночтений позволяет предположить, что это скорее редакторская, чем авторская правка: было снято, например, «оканье» в речи персонажей. В таких случаях восстановлено написание *Лет* на том основании, что подвергшиеся правке особенности языка и стиля являются характерно горьковскими и продолжают встречаться в произведениях Горького, написанных после повести «В людях». В других случаях *Пар* исправляет ошибки и искажения, попавшие в текст *Лет*.

Общий характер различий между текстами *Пар* и *Лет* дает возможность прийти к заключению, что повесть в целом автор заново к изданию не готовил; в то же время он, имея в эти годы

постоянный контакт с работниками издательства *Пар*, мог давать устные консультации или санкцию на исправление отдельных мест (см. разночтения окончательного текста с журнальным в томе вариантов). Текст *Пар* лег в основу всех последующих изданий.

В 1921 г. при подготовке *Гржз* Н. О. Лернер обратился к Горькому с вопросами относительно ряда неясных написаний в тексте повести «В людях». Отвечая Лернеру, Горький в девяти случаях из 12 подтвердил написания $АМ_1$, исправив тем самым опечатки, допущенные в $АМ_2$, *Лет*, *Пар* и $Гржз_1$. В остальных трех случаях он исправил свои ошибки. Все указания Горького учтены и в настоящем издании [1]. Участие Горького в $Гржз_2$ этим ограничилось. Не редактировал Горький текст «В людях» и для *К*. В этом издании был повторен без всяких изменений текст $Гржз_2$.

В письме С. П. Подъячева Горькому от 12 (25) декабря 1915 г. содержится первый из известных нам откликов на публикацию повести «В людях» в газете «Русское слово»: «Читаю Ваше „В людях“. Вчера жена читала вслух своим, как Вы хотели украсть сорок копеек, а я лежал на печке и слушал, и удивительно мне было слушать, и страшно как-то, и не могу выразить словами, что волновало мою душу» (Архив А. М. Горького, КГ-п-57-16-1).

«Сейчас с увлечением читаю Вашу повесть „В людях“,— писал Горькому известный историк Р. Ю. Виппер 3(16) июня 1916 г.— Что там особенно трогает, это изображение женщин (Людмилы, бабушки). Ведь в наш злой век мы едва не забыли, что если еще держимся, если не обратились в технических зверей, так благодаря жизнесохраняющему чутью наших женщин. У Вас это так хорошо, так нежно и глубоко сказано» (там же, КГ-уч-3-20-1).

Газетных и журнальных откликов на повесть «В людях» немного.

Первый из них принадлежит «Нижегородскому листку». Публикация отрывков из повести в газете сопровождалась редакционной заметкой: «Написанная удивительно просто, с какой-то особенною, только М. Горькому свойственной интимностью, новая вещь знаменитого писателя читается с захватывающим интересом» («Нижегородский листок», 1916, № 18, 19 января).

В 1916—1917 годы Горький-публицист, издатель «Летописи» и автор статьи «Две души», как бы заслонил в глазах критиков автора повести «В людях». Представители либерально-буржуазной критики, как правило, рассматривали повесть сквозь призму статьи «Две души». Так, критик «Русских ведомостей» И. Н. Игнатов, трижды в литературных обозрениях обращавшийся к по-

[1] Кроме одного: согласие на исправление слова «шапку» на «палку» (стр. 420) было дано автором в записке к Н. О. Лернеру механически, без учета контекста главы в целом. Фраза со словом «шапку» печатается по *Пар* и всем предшествующим источникам.

вести по ходу ее публикации в журнале, видел в новом произведении Горького иллюстрацию отрицательного отношения писателя к «восточной» душе русского человека; поэтому в персонажах повести он находил лишь «внутреннее томление, прорывающееся непременно в форме отчуждения и злобы» («Русские ведомости», 1916, № 38, 17 февраля). «Всё сильно, всё по-горьковски напряженно-талантливо»,— писал И. Игнатов,— но «над всем витает деспотический дух автора и нивелирует индивидуальности, заставляя их служить одному впечатлению, сложившемуся у автора из наблюдений над миром 〈...〉 и вместе с невольным подчинением ярко талантливому произведению читатель испытывает чувство протеста, как против всякого деспотизма» («Русские ведомости», 1916, № 229, 5 октября). Впрочем, отзываясь о заключительной части повести, критик вынужден был признать: «Сам автор, однако, не приходит в отчаяние от своих наблюдений» («Русские ведомости», 1917, № 8, 11 января).

Критик А. А. Измайлов, напротив, рассматривал «В людях» как опровержение схемы, выдвинутой в статье «Две души»: «Публицист он несравнимо меньший, чем художник. И доказательство этому — „В людях“». Тяжелые сцены, с «зуботычинами и драками до крови», не оставляют безотрадного чувства; «от всей этой панорамы в итоге остается не мысль: „как жутко живется меньшему брату“, а совсем другое: „какая большая надежда брезжит над этим миром, если среди них даже в такой атмосфере не переводятся Смурые“» («Биржевые ведомости», 1916, № 15509, 20 апреля).

«В людях» свидетельствует о том, писал на страницах «Журнала журналов» Л. Фортунатов, что писателя Горького создало «воистину небывалое богатство впечатлений 〈...〉 Может быть, это и называется счастьем писателя» («Журнал журналов», 1916, № 36, стр. 4).

Восторженную статью «Максим Горький — гордость „маленьких людей“», за подписью «Седой», опубликовала «Новая маленькая газета» [1]. «Прошло уже добрых десять лет,— писал Седой,— как некоторые наши критики торжественно объявили о „конце Горького“ 〈...〉 Но Горький не кончился. Продолжают выходить одна за другой его вещи, и многие из них, как и последняя повесть „В людях“, говорят о глубоком, по-прежнему сильном даровании 〈...〉 Нужда, горе, людская несправедливость, — всё это он познал на самом себе, и оттого так ярки и увлекательно красочны рисуемые им картины. Какая в них превосходная речь со множеством верно подмеченных, прямо из жизни выхватываемых оборотов! Как верны характеристики людей и как красочны

[1] Газета ориентировалась на демократического читателя. В ней был заведен «Почтовый ящик», на который обратил внимание Горький (см. письмо к Е. П. Пешковой от 5/18 марта 1916 г.— *Архив Г*$_{IX}$, стр. 180). Многие письма, поступавшие в «Почтовый ящик», издатель газеты И. В. Лебедев («дядя Ваня») передавал для ознакомления Горькому; в Архиве А. М. Горького хранится около 320 таких писем.

описания природы!» («Новая маленькая газета», 1916, № 5, 29 февраля). Противопоставив Горького писателям, вышедшим из другой, привилегированной среды, автор заявлял: «В Горьком живет не только писатель, это в то же время и общий заступник, готовый ополчиться за каждого обиженного человека» (там же).

В сентябре 1916 г. в армянской социал-демократической газете «Пайкар» («Борьба») появилась рецензия Степана Шаумяна, посвященная пюльскому номеру журнала «Летопись». Выдающийся революционер-большевик писал о «Летописи» как о «самом серьезном и последовательном демократическом журнале», а о повести «В людях» — как об «украшении художественного отдела». «Это произведение,— писал он,— носит автобиографический характер и касается юности Горького. Это произведение вместе с его „Детством", вышедшим отдельной книгой, безусловно займет видное место наряду с наилучшими произведениями русской художественной литературы. Каждая строчка Горького читается с большим эстетическим наслаждением и интересом» (С. Шаумян. Литературно-критические статьи. М., 1955, стр. 79—80).

Стр. 213. *...служу «мальчиком» при магазине «модной обуви»*...— Осенью 1879 г. 11-летний Алеша Пешков служил в магазине «модной обуви» Л. М. Порхунова. Магазин помещался на одной из центральных улиц города — Большой Покровке, в трехэтажном каменном доме (*Хитровский*, стр. 62—64). В период службы в магазине Алеша Пешков жил в доме Порхунова на Посадской улице (ныне ул. Горького), около «арестантских рот»,— этот дом сохранился до наших дней.

Стр. 223. *Царю небесный...*— начало «молитвы святому духу»: «Царю небесный, утешителю, душе истины...» (Молитвослов, стр. 4).

Стр. 223. *...«Сонник и оракул»...*— В потоке лубочных изданий, выпускавшихся со второй половины XVIII века, существенное место занимали «сонники» и «оракулы», в которых давались толкования снов и всевозможные правила «житейской мудрости».

Стр. 228. *...опрокинул судок ∞ и меня отправили в больницу.*— См. в «Воспоминаниях о М. Горьком и его родных» М. Т. Мигунова, родственника Кашириных: «Дочь Порхунова Варя, учившаяся вместе с одной из моих сестер, однажды сообщила ей, что мальчик Пешков сильно обварил щами свои руки и отправлен в больницу» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-33-1). Было это весной 1880 г., «великим постом»; в больнице Алеша пробыл до «вербного воскресенья» (*Хитровский*, стр. 64).

Стр. 230. *Я с венграми воевал, с черкесом, поляком...*— Имеется в виду участие в завоевании Кавказа, которое длилось с 20-х по 50-е годы XIX века, в подавлении русским царизмом венгерской революции в 1849 г. и польского восстания 1863 г.

Стр. 234. *Напольная церковь* — Спасо-Преображенская церковь в Кунавине, при Напольном кладбище.

С т р. 234. *Богатому о господе не думается ∽ А быть тому злату в аду угольями!* — Стихи бабушки представляют собой вариацию нескольких русских пословиц: «Богатый бедному не брат», «Богатому и умирать не хочется. Зачем?», «Богатый никого не помнит — только себя помнит», «В аду не быть — богатства не нажить», «Копил, копил, да чёрта и купил».

С т р. 235. *«Шар-мазло»* — игра, похожая на крокет: шарик надо загнать в лунку, выкопанную в земле; во времена детства Горького — любимая уличная игра нижегородских мальчишек.

С т р. 237. *Леденцы «ячменного сахара»* — леденцы, производимые кустарными мастерами; продавались в лавочках на нижегородских ярмарках.

С т р. 237. *«Камчадалка»* — сентиментальный роман И. Калашникова, ч. 1—4. СПб., 1833. Это издание с пометками Горького хранится в *ЛБГ*.

С т р. 239. *Река Медведица* — левый приток Дона.

С т р. 240. *Назола* — назойливый человек.

С т р. 242. *...золотой медалью за «спасение погибавших»...* — Медаль называлась «За спасение погибающих на пожаре».

С т р. 244. *...читай богородицу дево радуйся...* — «Богородице дево, радуйся, благодатная Марие...» — Песнь пресвятой богородице (Молитвослов, стр. 15).

С т р. 245. *Катызовка* — бывшая деревня Катызы в Макарьевской части Нижнего Новгорода, на окраине Канавина, где жили в то время Каширины (впоследствии: Старые Катызы и Новый Катызовский поселок).

С т р. 247. *...погас брат Коля.* — Последний сын В. В. Кашириной, от второго брака, умер летом 1880 г. и похоронен в одной могиле с матерью на Напольном кладбище. Имя мальчика было не Николай, а Вениамин (сообщено Н. А. Забурдаевым).

С т р. 251. *...сосновая чаща ∽ графу Шувалову...* — На месте теперешних Ленинского и Автозаводского районов,— вспоминает один из старых нижегородцев, М. А. Лукин,— «были песчаные бугры, а за ними, где теперь Дворец культуры им. Ленина, начинался густой лес, так называемая „шуваловская дача“...» (см. Рукописный журнал Государственного музея А. М. Горького в г. Горьком — «Памятные записки», 1967, кн. 7—8, стр. 17).

С т р. 251. *...над рыжими боками Дятловых гор...* — Высокие холмы, тянущиеся по правому берегу Волги и Оки. Нижний Новгород возник на Дятловых горах (см. старинную легенду о Скворце и Дятле.— «История города Горького. Краткий очерк». Горький, 1971, стр. 15—16).

С т р. 254. *...божья матерь родилась от Иоакима и Анны.* — По христианскому преданию, родителями богоматери были благочестивые Иоаким из Назарета и Анна из Вифлеема. Их имена сообщаются в неканоническом евангелии Иакова.

С т р. 255. *...Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...* — Согласно евангельской легенде, двенадцатилетний Иисус разговаривал в храме с учителями (знатоками священных книг), и «дивились разуму и ответам Его» (Евангелие от Луки, гл. 2, стих 47). Алеше Пешкову во

время описываемых событий было тоже 12 лет; однако Горький долгое время считал годом своего рождения 1869 (вместо 1868).

С т р. 258. *Я снова в городе, в двухэтажном белом доме...*— Осенью Алеша Пешков поселился в семье чертежника В. С. Сергеева, в старой части города, на Звездинской улице, в доме Гогина (теперь ул. Звездинская, дом 11; фотография дома — в кн.: *Сигорский*, стр. 43). По свидетельству самого Горького, В. С. Сергеев был «домовладелец, подрядчик по строительным работам, человек весьма зажиточный» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 62) и жил с семьей в доме «подрядчика землекопных и мостовых работ» Г. Д. Гогина (см. замечания Горького на рукописи М. Т. Мигунова «Воспоминания о М. Горьком и его родных».— Архив А. М. Горького, МоГ-9-33-1).

В заметках, относящихся к 1921 г., Горький, вспоминая о Сергееве, писал, что «с 80-го» года «не жил у него, как у родственника, а служил, как у хозяина». «Сергеев,— сообщал он,— был племянником моей бабушки. См. мою книгу „В людях“» («Былое», 1921, № 16, стр. 184), см. также письмо к А. А. Белозерову от 24 апреля 1927 г. (*Г-30*, т. 30, стр. 21—22).

С т р. 261. *Дворянка с Гребешка...*— Из района в центре города на высоком берегу Оки; Гребешок — гребень горы, возвышается над набережной Благовещенской слободы. Отсюда названия: Гребешковская улица, Гребешковский съезд.

С т р. 262. *Кольцо души девицы...*— Романс на слова В. А. Жуковского («Песня», 1816), где третий из приведенных стихов читается: «С моим кольцом я счастье...».

С т р. 269. *Великомученица Варвара... сохрани нечаянныя смерти...*— Варвара Великомученица — особо почитаемая на православном Востоке и в России героиня житий и духовных стихов. Храм Варвары в Константинополе служил местом убежища, поэтому существовало поверье, что св. Варвара спасает от «нечаянныя смерти».

С т р. 272. *Купавино* — см. примеч. к стр. 21.

С т р. 274. *Христос ∽ придет ∽ со славою...*— Евангелие от Матфея, гл. 25, стих 31.

С т р. 276. *...о граде Китеже...*— Подобного варианта стихов о Китеже в фольклорных сборниках найти не удалось. Исследователь китежской легенды В. Л. Комарович квалифицирует текст, приведенный в повести Горького, следующим образом: «Среди устных пересказов легенды есть один, которому прямо придана даже форма духовного стиха» (В. Л. Комарович. Китежская легенда. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1936, стр. 94).

С т р. 281. *...в чистый-то понедельник...*— Первый день великого поста, следующий за прощеным воскресеньем (см. примеч. к стр. 165).

С т р. 282. *...к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому.*— Д. В. Покровский был священником церкви при Мининской богадельне. Дом Покровского на Звездинской стоял рядом с домом Гогина, где жили Сергеевы. Об участии Доримедонта Покровского в «народных чтениях с охранительной пропагандой» см.: *Г и его время*, стр. 595—596.

С т р. 285. *Дьячку за теплоту...*— В православной церкви вино, разбавленное теплой водой, дается верующим при совершении обряда причастия.

С т р. 285. *...из Оранского монастыря чудотворную икону...*— Оранский Богородицкий монастырь, в деревне Оранки Нижегородского уезда. Встреча иконы Владимирской божией матери происходила в субботу на «святой неделе», проводы — 19 июня/1 июля (местный праздник).

С т р. 286.— *О, всепетая мати...*— Кондак пресвятой богородице (Канонник, стр. 101).

С т р. 288. *Иди-ко на «Добрый» ∽ Я пошел...*— Весной 1881 г., убежав от В. С. Сергеева, Алексей Пешков нанялся посудником на буксирно-пассажирский пароход У. С. Курбатова «Добрый». Впоследствии Горький вспоминал: «...Две навигации служил „посудником" на пароходах, сначала „Добром" Курбатова, потом „Перми" Любимова» («Былое», 1921, № 16, стр.184). «„Добрый" принадлежал купцу И. С. Колчину, который еще с 1864 года открыл буксирно-пассажирскую линию и по контракту с казной перевозил из Нижнего до Перми арестантов, ссылаемых в Сибирь. (С 1880 г. пароходство Курбатова явилось преемником пароходства Колчина и тоже перевозило арестантов)» (А. Н. Свободов. Волга в жизни и творчестве Горького.—«Горьковский рабочий», 1936, 21 июня, № 141). Летом 1880 г. на арестантской барже, буксируемой небольшим буксирно-пассажирским пароходом Курбатова, ехал в сибирскую ссылку В. Г. Короленко («История моего современника», кн. III, ч. 2, гл. X).

С т р. 290. *За столом около отвода...*— Отвод — ответвление в трубе.

С т р. 291. *Смурый ∽ сует мне книжку в кожаном переплете...*— В автобиографии, написанной в 1897 г., Горький вспоминал о Смуром: «...он возбудил во мне интерес к чтению книг 〈...〉 У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартсгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом „Современника", тут же была „Искра" за 1864 год, „Камень веры" и книжки на малорусском языке» (*Г-30*, т. 23, стр. 270—271). «До повара — терпеть не мог книг, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно»,— свидетельствовал Горький в другой своей автобиографической заметке 90-х годов (там же, стр. 438). В «Слове о Горьком» Л. М. Леонов, указывая на важность «самого выбора точки для обозрения горьковской биографии», сказал: «Всё в особенности важно в ней, но 〈...〉 по утвердившемуся в моей художнической практике приему я уделил бы наибольшее время рассмотрению привычного, только что брошенного в борозду жизни зерна, из которого впоследствии возникла эта поразительная, на рубеже двух столетий, человеческая вспышка. И в самом зародыше зерна я поместил бы встречу юного поваренка Алеши Пешкова со скромным книжным сундучком, где хранились старопечатные сокровища унтера Смурого. Для подростка это было всё равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже не подоз-

реваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира» («Литературная газета», 1968 г., № 14, 3 апреля).

Стр. 291—292. «*Умбракул, распещренный звездами ∽ знать наши дела...*» — Алеша читает Смурому книгу «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно» Т. Уилсона, пер. с франц. И. В. Соца. СПб., 1784 (раскрыто впервые в подготовленном к печати исследовании В. Д. Рака «Умбракул, распещренный звездами...»). «Масон без маски...» — антимасонский памфлет, в котором подробно описывается масонский ритуал и воспроизводится масонская терминология. *Умбракул* (от лат. umbraculum) — тенистое место, навес. Этим словом И. В. Соц в своем переводе назвал балдахин небесного цвета, в масонской обрядовости символизировавший «сообщение с небом». *Профаны* — в масонской терминологии непосвященные, не масоны. «*Оголение левой груди...*» — деталь ритуала посвящения в масоны. *То значит — у баб...*— см. в книге Т. Уилсона: «Масоны за обиду почитают, когда скажут, что сия церемония делается для того, чтобы узнать, мужчина или женщина кандидат» (стр. 7). *Венерабль* (франц. vénérable — почтенный) — «великий мастер», масон, возглавлявший ложу. *Фрер* (франц. frère — брат) — обращение, принятое у масонов. *Сюверьян* — искаженное «Сюрвельян» из русского перевода книги Т. Уилсона (франц. surveillant — надзиратель)— помощник мастера в ложе. *Профаны, любопытствующие знать наши дела...*— масонская песня, помещенная действительно в конце книги «Масон без маски» (стр. 98).

Стр. 292. «*Омировы наставления*» — по-видимому, «Омаровы наставления, книга для света, каков он есть, а не каким быть должен», ч. I—II. М., 1819 — сочинение Карла Эккартсгаузена (1752—1803), немецкого литератора и философа-мистика. «Омаровы наставления» — собрание чувствительных повестей с нравоучениями.

Стр. 292. «*Мемории артиллерийские*» — Пьер Сюрирей де Сен-Реми. Мемории, или записки артиллерийские, в которых описаны мортиры, петарды, доппельгакены, мушкеты, фузеи и всё, что принадлежит ко всем сим оружиям..., в 2 томах, СПб., 1732—1733; перевел с франц. Христофор граф фон Минних; значительную часть книги перевел В. К. Тредиаковский.

Стр. 292. «*Письма лорда Седенгали*» — вероятно, «Адель де Сенанж, или Письма лорда Сиденгама», в 2 частях. М., 1803, пер. с франц. П. Пельского. Автор книги — французская писательница Аделаида де Флао, во втором замужестве маркиза де Суза (1761—1836).

Стр. 292. *Гервасий!* — Очевидно, «Толкование воскресных евангелий, с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором, архиепископом Славенским; переведено с греческого в Казанской академии иеродиаконом Гервасием», ч. 1—2 (несколько изданий: М., 1803; М., 1804; М., 1805; М., 1819). Установил В. Д. Рак.

Стр. 297. «*Ивангоэ*» ∽ *Плантагенет.*— «Ивангоэ» — роман «Айвенго» (Ivanhoe) Вальтера Скотта (1771—1831). Ричард

Плантагенет — герой романа «Айвенго», английский король Ричард I Львиное Сердце (1157—1199), участник крестовых походов.

С т р. 297. «*Повесть о Томасе Ионесе*» — *старинный перевод* «*Истории Тома Джонса, найденыша*» — роман Генри Филдинга (1707—1754). 13 апреля 1933 г. Горький писал И. А. Груздеву: «„Фильдинг" — попал в число книг Смурого незаконно, тут я напутал, смешав Фильдинга с кем-то другим, м. б.— Фенимор Купером. Если не ошибаюсь — у нас переведена только „История Тома Джонса — найденыша" и — гораздо позднее» (*Архив Г*XI, стр. 318). Горький ошибался. Роман Филдинга был дважды издан по-русски еще в XVIII веке под тем старинным названием, которое приводится в повести «В людях»: «Повесть о Томасе Ионесе, или найденыше, сочиненная на английском языке г. Фильдингом», пер. с франц., тт. 1—4. СПб., 1770—1771, и М., 1787—1788.

С т р. 301. *Пьяный Бор* — пристань на Каме (теперь — Красный Бор). *И река есть — Пьяная.*— Возможно, река Пьяна, приток Суры.

С т р. 301. *Трушша* — вероятно, чувашское «тăрăшша» в значении «живее».

С т р. 302. *Сарапул* — город па Каме.

С т р. 310. «*Предание о том, как солдат спас Петра Великого*» — копеечная лубочная книжка в цветной обложке с картинкой, изображавшей подвиг храброго солдата, отрубающего головы шведам. Издания: М., 1873; М., 1877; М., 1879. Горький писал в автобиографии 1897 г.: «Первая понравившаяся мне до безумия книга — „Предание о том, как солдат спас Петра Великого"» (*Г-30*, т. 23, стр. 270).

С т р. 312. *...снова переехали в город.*— Осенью 1881 г., до вторичного поступления на работу к Сергеевым, Алеша Пешков жил у деда.

С т р. 315. «*Бугровский скит*» — старообрядческое кладбище; помещалось на окраине Окской части Нижнего Новгорода; на территории кладбища купец Н. А. Бугров основал скит и построил молельню. Кладбище сохранилось до наших дней.

С т р. 315. *У Девичьего монастыря...*— Крестовоздвиженский женский монастырь в Нижнем Новгороде.

С т р. 316. *Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже́ гневом твоим накажеши мене...*— 37 псалом Давида.

С т р. 319. *...ходил со в Кстовский лес...*— Кстовский лес и село Кстово — на берегу Волги. «Молодой Горький, предприняв в 1891 г. свое знаменитое путешествие по родной стране, начинает его из Нижнего Новгорода по Казанскому тракту, вдоль великой русской реки Волги». Кстово на этом пути было первой остановкой. В 1965 г. в Кстове был открыт памятник — бюст Горького (см. статью П. Софийского. Рукописный журнал Государственного музея А. М. Горького в г. Горьком. — «Памятные записки», 1965, кн. 4).

С т р. 320. *...князь Михаила Черниговского и болярина Феодора, «не поклонившихся солнцу»...*— Герои древнерусского «Ска-

зания об убиении в Орде кн. Михаила Черниговского с боярином Феодором»; отказались поклоняться татарским идолам и были замучены в 1246 г. в Золотой Орде. В *ЛБГ* хранится книга «О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время» (исследование Р. Вл. Зотова. СПб., Археографическая комиссия, 1892) с пометками Горького.

С т р. 321. *Эльфы* — волшебные человекоподобные существа в германской и скандинавской мифологии и западноевропейском средневековом фольклоре, олицетворение сил природы.

С т р. 323. *...через весь город до казарм...*— До Печерских (или Красных) казарм, которые находились в конце Верхневолжской набережной, недалеко от Старой Сенной площади.

С т р. 324. *Печерская слобода* — слобода на окраине Нижнего Новгорода, в районе Печерского монастыря, на склоне высокого берега Волги.

С т р. 325. *Старая Сенная площадь* — площадь «в северо-восточной части города — на окраине его, в конце Верхне-Набережной Волги, Жуковской ул. и Большой Печорки. Площадь служила местом торговли сеном, овсом, мукой» («Путеводитель по Нижнему Новгороду», изд. Л. А. Мукосеева, 1904).

С т р. 327. *Институт благородных девиц* — Мариинский женский институт на Верхневолжской набережной; был открыт в 1852 г.

С т р. 327. *Около церкви Георгия Победоносца* —на высоком правом берегу Волги, на Откосе.

С т р. 327. *...к сестре бабушки.*— См. примеч. к стр. 147. Зиму 1881/82 г. А. Пешков жил снова в доме В. С. Сергеева. «В период жизни в семье моего отца Алексея Пешкова,—вспоминал С. В. Сергеев,— отец мой был архитектором Варшавского страхового общества и главным образом работал по составлению проектов на постройки...» (Архив А. М. Горького, МоГ-12-18-1).

С т р. 328. *...после родов...*— В 1881 г. у Сергеевых родился второй сын, Леонид (ум. в 1930 г.).

С т р. 330. *Жандармский ключ.*— Это название ключ получил от жандармских конюшен, находившихся поблизости от него. «Вода в этом ключе чистая, легкая, приятная на вкус,— писал Н. И. Храмцовский,— ее доставляли для употребления императрице Екатерине II, когда государыня изволила быть в Нижнем в 1767 г. Ее величество нашла, что вода этого ключа не уступает невской» («Краткий очерк истории и описания Нижнего Новгорода», ч. II, 1859, стр. 29). О том, как Пешков полоскал белье в Жандармском ключе, вспоминает М. Т. Мигунов: «Здесь моя старшая сестра видела его, усердно полоскавшего детское белье в холодной воде родника, бившего круглый год очень сильно из-под горы». В этом месте рукописи Мигунова Горький приписал (о ключе): «не замерзал и зимою» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-33-1).

С т р. 330. *...поле, названное именем древнего бога — Ярило.*— В рукописи Ф. П. Хитровского «Дела и люди старого города», которую автор послал Горькому для ознакомления, утверждается: «Ярило — площадь на окском откосе — место кровавых

схваток-драк обывателей верхних подгорных слобод». В этом месте Горький сделал сноску и в конце страницы приписал: «место, где еще в 40—50 гг. XIX в. праздновался день языческого весеннего бога Ярилы» (Архив А. М. Горького, Рав-пг-42-2-1, стр. 9).

Стр. 330. *Семик* — весенний народный праздник поклонения душам умерших; справлялся в четверг на седьмой неделе после Пасхи («зеленый четверг»); празднование сопровождалось хороводами, плетением венков из молодых берез, играми. В православном быту славянский праздник семик сливался с церковным праздником Троицы и Духова дня.

Стр. 338. «*Ниву*» *со три тома «Живописного обозрения»*.— «Нива» (изд. с 1870 г.) и «Живописное обозрение» (изд. с 1872 г.) — иллюстрированные еженедельные журналы «для семейного чтения». «*Русский курьер*» — газета, издававшаяся в Москве с 1879 г.

Стр. 339. *...роман Ксавье де-Монтепэна...*— Ксавье де Монтепен (1823—1902) — французский писатель и журналист, автор многочисленных авантюрных романов и мелодрам. В России во второй половине XIX века было переведено и опубликовано более 60 его романов. Один из них — «Трагедии Парижа», вышедший в Париже в 1875 г., в переводе на русский язык печатался в журнале Н. С. Львова «Переводы отдельных романов». Первая фраза, по памяти воспроизведенная Горьким: «Дома, как и люди, имеют свою физиономию» («Переводы отдельных романов», 1876, № 6, стр. 1).

Стр. 340. *...читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...*— Речь идет о неудавшемся покушении на Александра II (взрыв на липии Московско-Курской ж. д. 19 ноября/1 декабря 1879 г.).

Стр. 341. *...при со государе Александре Павлыче...*— В последние годы царствования Александра I масонское движение подвергалось преследованию: в 1822 г. были закрыты все масонские ложи, в которых Александр усматривал рассадник вольнолюбивых идей. В это же время подверглись разгрому Петербургский и Казанский университеты, была усилена цензура. Вдохновителем политической и идейной реакции был А. А. Аракчеев, военный министр и главный советник царя.

Стр. 344. *Книжонки Миши Евстигнеева* — многочисленные сочинения, принадлежавшие к так называемой литературе «Никольского рынка» (предприятия по изданию лубочной литературы помещались в Москве по Никольской улице, Лубянскому проезду и у пролома Китайгородской стены). Вот для примера названия книг Миши Евстигнеева: «Вернейшее лекарство от пьянства». М., 1871; «Вор Яшка — медная пряжка». Народный шуточный рассказ. М., 1881.

Стр. 344. «*Гуак, или Непреоборимая верность*» — рыцарская повесть; впервые издана в Москве в 1789 г.; много раз выходила в XIX веке у лубочных издателей (А. Абрамова, А. Манухина, Л. Морозова) — М., 1871, 1876, 1881, 1882.

Стр. 344. «*Франциль Венециан*» — «История о храбром ры-

царе Франциле Венциане и о прекрасной королевне Рецкывене», лубочная переделка западноевропейской рыцарской повести, сочинение Андрея Филиппова (дворового человека), изд. 1. М., 1787; в XIX веке — М., 1869.

Стр. 344. «*Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга*» — роман Н. Зряхова, лубочного автора 20—40-х годов XIX века, изд. 20. М., 1879.

Стр. 344. «*Стрельцы*», «*Юрий Милославский*», «*Таинственный монах*».— Алеша Пешков читал лубочные переделки исторических романов: «Стрельцы» К. Масальского, «Юрий Милославский» М. Загоскина, «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I» Р. Зотова.

Стр. 344. «*Япанча, татарский наездник*» — «Япанча, татарский наездник, или Гибель последнего царя Казани», части 1—3. М., 1875, без обозначения автора; автор — Иван Семенович Кассиров, один из сочинителей лубочных исторических романов второй половины XIX века.

Стр. 346. «*Московский листок*» — бульварная газета, популярная в мещанской среде; издавалась Н. И. Пастуховым с августа 1881 г.

Стр. 346. *Вашков, Рокшанин, Рудниковский* — постоянные авторы «Московского листка». Рассказы, статьи, фельетоны и стихи И. А. Вашкова регулярно появлялись здесь в 1881—1882 годы. Повесть Рудниковского «Ангел смерти» печаталась в «Московском листке», 1882, с 12 июля по 1 ноября; его же рассказ «Первый лед» — 23 ноября 1882 г.

Стр. 346. *...приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине...*— «Разбойник Чуркин», лубочная повесть издателя «Московского листка» Пастухова; за подписью «Старый знакомый» регулярно печаталась фельетонами в этой газете, начиная с января 1882 г. на всем протяжении этого и следующего годов. Братья Чуркины (Василий и Степан) — реально существовавшие лица, в 70-е годы прошлого века разбойничали во Владимирской и Рязанской губерниях. «Московский листок» от 18 апреля 1882 г. сообщал о деле Степана Чуркина, разбиравшемся в Московском окружном суде 16 апреля. «Разбойник Чуркин» издан отдельной книгой в двух томах в типографии «Московского листка» в 1883—1884 годы (1688 стр. с иллюстрациями). «Фома Кручина (из рогожских нравов)» — повесть П. Богатырева о ямщике с «широкой русской натурой»; печаталась в «Московском листке», 1882, с 6 марта по 31 мая.

Стр. 346. *...встречаются стихи Леонида Граве...*— Леонид Граве (1842—1891) — нижегородский адвокат, поэт. Зная, что Ф. П. Хитровский пишет книгу о Нижнем Новгороде, в которой будет и о Л. Граве, Горький напоминал о стихах Граве и советовал поискать его же поэму под названием «Балахна, или Приключения одного администратора» (письмо к Ф. П. Хитровскому от 25 сентября 1934 г.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-48-7-11).

Стихи Л. Граве часто появлялись в «Московском листке» в 1881—1882 годы.

С т р. 347. *...стихи Стружкина, графа Мементо-Мори...* — Н. Стружкин и гр. Мементо-Мори — юмористы «Московского листка». Стихи Н. Стружкина (он же — Еж) печатались почти в каждом номере газеты в 1881—1882 годы; стихотворные фельетоны гр. Мементо-Мори появлялись в газете в ноябре — декабре 1882 г.

С т р. 348. *«Огонек»* — «иллюстрированный еженедельный журнал литературы, науки, искусств и политики»; издавался с 1879 г.

С т р. 348. *...читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский».* — Е. А. Салиас де Турнемир (1840—1908) — автор исторических и бытовых романов. Роман Салиаса «Граф Тятин-Балтийский» печатался в «Огоньке», 1879, №№ 6—17.

С т р. 349. *Хилиазм* (от греч. «хилиас» — тысяча) — мистическое учение раннего христианства, вера в тысячелетнее царствование Христа после его второго пришествия, перед концом мира.

С т р. 349. *В сталь закован, по безлюдью...* — «Атилла (из Залесского)» — пер. В. И. Славянского (псевд. Вас. И. Немировича-Данченко) — «Живописное обозрение», 1877, № 15, стр. 234. Горький цитирует по памяти, переставляя строчки. В журнальном тексте стихотворения: «В сталь закован, по безлюдью,/ Едет гуннов царь — Атилла, /Как медведь мохнат и крепок,/ Нем и мрачен как могила!...» Стихотворение «Атилла» представляет собой перевод фрагмента из поэмы польского поэта-романтика Юзефа Богдана Залесского «Дух степей» (1836, опубл. в 1841). Указано в ст.: Henrik Markiewicz. Bohdan Zaleski wśród lektur Maksyma Gorkiego. «Przeglad humanistyczny», 1972, № 1, s. 139).

С т р. 352. *Царя убили!* — Имеется в виду убийство Александра II народовольцами 1 (13) марта 1881 г.

С т р. 352. *Старший ребенок* — Сергей Васильевич Сергеев (род. в 1880 г.) — см. примеч. к стр. 328.

С т р. 354. *...книги Дюма-отца, Понсон де Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ...* — Здесь называются имена французских писателей, авторов многочисленных остросюжетных романов. Среди этих писателей выделяется своим талантом Александр Дюма-отец (1802—1870). *Понсон дю Террайль* (1829—1871) — автор многотомной серии «Приключения Рокамболя» с продолжением «Воскресший Рокамболь» (СПб., 1868), а также множества других романов, вышедших в русском переводе в 60—80-е годы. *Монтепэн* — см. примеч. к стр. 339. *Законнэ* — П. Законн, автор «Записок полицейского сыщика»; печатался в «Переводах отдельных романов». *Э. Габорио* (1832—1873) — один из родоначальников жанра детективного романа; в «Переводах отдельных романов» были напечатаны: «Преступление в Орсивале» и «Золотая шайка». Романы *Г. Эмара* (1818—1883) «Атласная змея», «Воладеро», «Капитан Кильд» печатались в «Переводах отдельных романов», 1876, № 4—6. *Буагобэ* — Фортюне Дю-

буагобей (1821—1891); его роман «Тайны нового Парижа» напечатан в «Собрании иностранных романов» за 1877 г.; другие русские издания его романов: «Каторжник-полковник». М., 1874; «Убийство в маскараде», ч. 1—4, 1880; «Дело Матапана». СПб., 1881. Произведения названных французских писателей в 60—80-е годы прошлого века широко издавались в России и имели большой успех; в частности, среди детей и подростков были весьма популярны романы Густава Эмара, повествующие о борьбе индейских племен с белыми завоевателями, о покорении дикой природы, о смелых охотниках и путешественниках.

В письме И. А. Груздеву от 23 января 1928 г. Горький, возражая Б. М. Эйхенбауму, утверждавшему в статье об О'Генри (1925), что «лет 10—15 тому назад переводные романы скромно ютились в журналах», писал: «А как же „Собрание иностр⟨анных⟩ романов" Ахматовой, „Пантеон литературы", издательство Саблина, „Шиповник", „Журнал иностр⟨анной⟩ литературы" Пантелеева ⟨...⟩ Это началось с 50-х годов и продолжалось непрерывно до 17-го. Может ли он назвать страну, которая издавала бы иноземную лит⟨ературу⟩ в таком чудовищном количестве?» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 165).

Стр. 356. «*Братья Земганно*»...— Роман французского писателя Эдмона Гонкура; вышел в русском переводе в 1879 г. В *ЛБГ* есть «Братья Земганно», пер. З. Журавской. Пб., 1919.

Стр. 356. «*Подлинная история маленького оборвыша*»...— Повесть английского писателя Джеймса Гринвуда (1833—1929) в русском переводе Марко Вовчок появилась в 1868 г.

Стр. 356. *Старик Гранде ярко напомнил мне деда*...— Ср. «Мой дед был жесток и скуп, но — я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака „Евгения Гранде"» (*Г-30*, т. 24, стр. 484).

Стр. 357. ...*великий праздник «хорошая, правильная» книга*.— «Настоящее глубокое воспитательное влияние на меня как писателя,— признавался Горький в статье „О том, как я учился писать",— оказала „большая" французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать „начинающим"» (*Г-30*, т. 24, стр. 485—486).

Стр. 357. ...*книга Арсена Гуссэ «Руки полны роз, золота и крови»*.— В русском переводе книга вышла в 1875 г. (СПб.).

Стр. 357. *Бэло*, *Поль де Кок*, *Поль Феваль* — французские романисты. Русские переводы: А. Б э л о. Любовники убийцы. СПб., 1875; Светские тайны, тт. 1—4. М., 1875—1876. П о л ь д е К о к. Дети бульвара. М., 1864; Женщины — мужчины. М., 1873; Парижские повесы. М., 1874, и др. П. Ф е в а л ь. Двумужница. М., 1850; Лондонские тайны, тт. 1—2. М., 1875; Королевский фаворит. СПб., 1879.

Стр. 357. ...*романы Марриета*...— Фредерик Маррнет (1792—1848) — английский писатель, автор «морских» романов. В русском переводе «Сочинения капитана Марриэта», тт. 1—5, выходили в 1868—1882 годах.

Стр. 357. *Вернер* — Элизабет Вернер (1838—1918), немецкая романистка. Русские переводы: «В добрый час». М., 1873; «Сила

воли», тт. 1—2. М., 1877; «Предвестники весны». М., 1881, и др.

Стр. 357. *Шпильгаген*, Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, автор «тенденциозных» романов; был популярен в России (особенно известны его романы «Между молотом и наковальней». СПб., 1869, 1871; «Один в поле не воин», тт. 1—2. СПб., 1867—1868, 1873). В своих произведениях Шпильгаген отразил рабочее и социалистическое движение в Западной Европе. А. С. Деренков рассказывал в воспоминаниях о Горьком: «Помню, мы долго разговаривали с ним о романе Шпильгагена „Один в поле не воин". Я объяснил ему, что герой романа Лео списан Шпильгагеном с руководителя рабочего движения в Германии Ф. Лассаля, рассказывал ему о жизни Лассаля и его деятельности» («Молодой Горький». Воспоминания А. С. Деренкова.— «Горьковская коммуна», 1945, № 141, 17 июня).

Стр. 357. *Ауэрбах* — Бертольд Ауэрбах (1812—1882), немецкий писатель, автор известных рассказов о жизни крестьян. Русские издания: «Повести и деревенские рассказы Бертольда Ауэрбаха», ч. 1—2. СПб., 1871; «В добрый час. Национальные повести и рассказы Бертольда Ауэрбаха». М., 1873. В статье «О том, как я учился писать» Горький замечает: «...книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в 〈...〉 немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем Новгороде, на Звездинской улице, но — не многим лучше» (*Г-30*, т. 24, стр. 484).

Стр. 357. *Сю* — Эжен Сю (1804—1857), французский писатель, автор социальных романов («Вечный жид», «Парижские тайны»; русские переводы: СПб., 1844, и СПб., 1845).

Стр. 359. *...Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла Вальер...*— *Диана Пуатье* — героиня романов А. Дюма «Асканио» и «Две Дианы», герцогиня, фаворитка короля Франции Генриха II. *Королева Марго* — героиня одноименного романа Дюма, Маргарита, жена Генриха Наваррского, будущего короля Франции Генриха IV. *Ла Вальер* — героиня романов Дюма «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон».

Стр. 363. *«Тайны Петербурга» князя Мещерского...*— «Тайны современного Петербурга. Записки магистра Степана Боба», тт. 1—4. СПб., 1876, «антинигилистический» роман кн. В. А. Мещерского (1839—1914), реакционного писателя и публициста. В 1-й части романа (которая имеет название «Нигилисты») рассказана басня про двух сестер — Свободу и Палку; у Горького она изложена близко к тексту, за исключением конца: Свобода не умерла в больнице, а Палка только «избила Свободу до полусмерти — так, что ее отправили в больницу...» (стр. 15).

Стр. 364. *«Душою черной зло любя...»* — Из поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина.

Стр. 365. *«Песни Беранже», превосходное издание...*— Вероятно, издание: Песни Беранже. Пер. Василия Курочкина. СПб., 1864, роскошное издание с французскими гравюрами на стали.

Стр. 365. *«Жизни веселой наука...»* — Из «Песни труда» Беранже.

С т р. 366. «*А девушке в семнадцать лет...*» — Из «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина.

С т р. 367. «*Только песне нужна красота...*» — Не совсем точная цитата из стихотворения А. Фета «Только встречу улыбку твою...» (1873). У Фета: «...и песен не надо».

С т р. 368. *Скобелев* — М. Д. Скобелев (1843—1882), генерал, руководитель ряда военных операций русской армии в Средней Азии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

С т р. 373. *...к знакомому доктору-акушеру Генриху Родзевичу...*— Городской врач, венеролог, Г. О. Родзевич был знаком с семьей Сергеевых, у которых жил А. Пешков. Как свидетельствует сын В. С. Сергеева, Алеша брал книги в личной библиотеке Родзевича (Архив А. М. Горького, МоГ-12-48-1).

С т р. 379. *Я снова посудником на пароходе «Пермь»...*— Пешков работал на пароходе «Пермь» с весны 1882 г. до поздней осени (см.: *Архив Г*$_{XI}$, стр. 354).

С т р. 380. *Офени* — странствовавшие по России торговцы различными товарами, в том числе и книгами.

С т р. 386. *Белгород, стоит на Дунай-реке...*— Белград.

С т р. 394. *...рыцарские черты Ля-Моля и Аннибала Коконна...*— Ля Моль и Аннибал де Коконнас — персонажи романа Дюма «Королева Марго».

С т р. 394. *Людовик XI — черты отца Гранде...*— Людовик XI — французский король (с 1461 по 1483), известный своей хитростью и скупостью, действующее лицо романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Отец Гранде — герой романа Бальзака «Евгения Гранде».

С т р. 394. *Корнет Отлетаев* — персонаж из появившейся в 1856 г. одноименной повести князя Г. В. Кугушева (ум. в 1871), бравый кавалерист, беспутный помещик — прожигатель жизни.

С т р. 394—395. *...герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу.*— Горький и в поздние годы с удовольствием читал романы Дюма. См. об этом в его письмах И. А. Груздеву (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 162; там же см. стр. 188, 191, 370).

С т р. 395. *Генрих IV* — король Наваррский, потом король Франции (1589—1610); изображен в нескольких романах Дюма. Убит Равальяком. После смерти Генриха IV был создан идеализированный образ «веселого» короля, близкого простым людям. Этот образ нашел отражение в песне Беранже «Король Ивето» (строки из нее: «Он мужику дал много льгот...» — цитируются в переводе В. Курочкина, давшего песне руссифицированное заглавие — «Царь Додон»).

С т р. 395. *Анж Питу* — герой одноименного романа Дюма; «Анж Питу» является продолжением романа «Записки врача» («Жозеф Бальзамо»), упомянутого в повести «Детство», стр. 190.

С т р. 396. *Сарапул* — город Вятской губернии, на р. Каме.

С т р. 397. *...я поступил учеником в мастерскую иконописи...*— А. Пешков поступил учеником в иконописную мастерскую купчихи И. Я. Салабановой осенью 1882 г. В «Нижегородском

биржевом листке» 29 января 1883 г. И. Я. Салабанова извещала о смерти своего мужа Д. А. Салабанова и о том, что всё дело перешло в ее руки (см.: *Г и его время*, стр. 576). Иконная лавка помещалась на Рождественской улице (ныне ул. Маяковского) в здании Гостиного двора, которое существовало до 1920 г.

Стр. 398. «*Виноград*» — тиснение на металле, служившее традиционным украшением икон.

Стр. 398. *Мстёрской работы...*— См. примеч. к стр. 420.

Стр. 398. *Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая со Семистрельная... — Скорбящая* («Всех скорбящих радости») — изображение богоматери без младенца, во весь рост, в окружении ангелов и страждущих. *Троеручица* — богородица с младенцем на правой руке, внизу иконы третья рука, принадлежащая, по преданию, защитнику иконописания в эпоху иконоборчества Иоанну Дамаскину. *Утоли моя печали* — икона богоматери с младенцем на левой руке (XVII в.). *Покрова* — изображение богородицы, распростершей свой плат — покров — над молящимися. *Дейсус*— трехличная икона: в центре — Христос, по сторонам — богоматерь и Иоанн Предтеча. *Семистрельная* — богородица без младенца, в грудь которой направлено семь стрел — символ испытаний ее сына. *Абалацкая — Знамение* — см. наст. изд., т. IX, стр. 561. *Не рыдай мене, мати*; *Казанская* — см. примеч. к стр. 55 и 85.

Стр. 398. *Трудных родов разрешитель* — святой христианской церкви Пантелеймон.

Стр. 399. *...старообрядцы из Заволжья...*— В Заволжье, на реках Керженце и Иргизе, находились центры («скиты») старообрядчества. В 1936 г. Горький писал Груздеву о «начетчиках» Заволжья как о «жесточайших догматиках и крайне озлобленных людях»: «В практике своей ненасытные честолюбцы, чувственники и сладострастники, на словах они были апологетами страдания, идиотически убежденными в его неустранимости» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 364).

Стр. 399. *Псалтири следованные и толковые...* — Следованные — вместе с часословом; толковые — содержащие в себе толкования важнейших псалмов.

Стр. 399. *Устав* — церковно-богослужебная книга о порядке совершения служб.

Стр. 401. *Господь не изменял, да Никон изменил.*— В середине XVII века патриарх Никон провел церковную реформу, заключавшуюся в исправлении церковных обрядов и русских богослужебных книг по греческим образцам. Церковный собор 1666—1667 г. предал анафеме тех, кто противился исправлениям. Вступив в раскол с господствующей церковью, старообрядцы считали себя хранителями «древлего благочестия» и истинного православия.

Стр. 401. *...не правленных Дмитрием Ростовским...*— Димитрий Ростовский (1651—1709), монах и церковный писатель, выступал против раскола; издал «Минеи-четьи» — жития святых, расположенные по дням их памяти. Старообрядцы противопоставляли им древние минеи «дониконовских времен».

С т р. 401. *Медные складни с финифтью* — иконы с изображениями на двух или трех складывающихся створках и покрытые особой эмалью — финифтью.

С т р. 402—403. *Симон Ушаков со еретик был,— сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас наводил...*— Симон (Пимен) Федорович Ушаков (1626—1686) — крупнейший художник-иконописец XVII века; еретик — с точки зрения старообрядцев. *Доличное* — всё то, что изображалось иконописцем до лика, т. е. одежда, пейзаж, палаты. *Чка* — доска, на которой писалась икона. *Левкас* — смесь мела с клеем, служившая иконописцам для наведения грунта под краску и позолоту. Ко времени, о котором рассказывает Горький, иконописание превратилось в массовое ремесленное производство с развитым разделением труда: в процессе создания икона проходила через много рук (один наводил левкас, другой рисовал доличное, третий — лик и т. д.).

С т р. 407. *Батман окорока...*— *Батман* — мера веса у азиатских народов, которая колеблется в зависимости от местности; в районах Поволжья, где она была принята, равнялась 10 фунтам.

С т р. 411. *Кириллов двое было...*— *Кирилл*, епископ Александрийский (ум. в 444 г.), один из «отцов церкви», главный противник несторианской ереси, основоположник которой, константинопольский патриарх Несторий, учил, что Христос — не сын божий, но только самый праведный из людей. Несторий предлагал называть «богородицу» «христородицей». *Кирилл*, епископ Иерусалимский (IV в.) — борец против другой главнейшей (наряду с несторианством) церковной ереси — арианства. Арий отрицал основной православный догмат единосущности бога-сына богу-отцу, считая, что можно говорить только о подобосущности. В истолковании ариан Христос — младшее божество, промежуточное между богом и человеком.

С т р. 413. *...к суду по 103 статье.*— Статья 103 «Уложения о наказаниях» предусматривала меры наказания для раскольников.

С т р. 414. *...еврей-ешиботник знает Талмуд...*— Ешиботник — ученик еврейской духовной школы (ешибот), готовящей раввинов. *Талмуд* — собрание религиозно-догматических, бытовых, этических и правовых предписаний иудаизма, сложившихся в V в. до н. э.— III в. н. э.

С т р. 414. *...на книге князя Мышецкого «Виноград российский»*...— «Виноград российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (княз. Мышецким)». М., 1906. Книга есть в *ЛБГ*. Автор книги — Семен Денисов (1682—1741), вместе со старшим братом Андреем был основателем и настоятелем Выговской обители (в Олонецкой губ.), сыгравшей большую роль в истории старообрядчества. В различных списках книга называлась также «Вертоград духовный», «Вертоград Христов». *...«многотерпеливые и многомужественные страдания...»* — цитата из «Вступле-

ния» к «Винограду российскому». О Киприане Благоюродивом см. гл. 12 и о Дионисии Целомудром гл. 39 этой книги.

С т р. 415. *...любил упрекать всех товарищей своих, что они ∽ впадают в «нетовщину».*— Нетовщина, или «спасовский толк» — одна из крайних форм того направления в старообрядчестве, которое получило название «беспоповщины». Сторонники «беспоповщины» отвергали церковную православную иерархию, священников. «Нетовщина», зародившаяся в конце XVII века в керженских лесах, носила еще более радикальный характер, отрицая все «таинства» и учение о «благодати». «Нетовщина» была распространена в Нижегородской, Ярославской и Костромской губерниях.

С т р. 415. *Алексаша* — см. примеч. к стр. 416—417.

С т р. 415. *...от немцев саратовских, от Лютора...*— Начетчик связывает «нетовщину» с течениями западного протестантизма, который исповедовали в России «немцы саратовские» (немецкие колонии на Волге). Мартин *Лютер* (1483—1546) — родоначальник протестантского религиозного движения на Западе.

С т р. 415. *«Имя себе прилично ∽ любо люто!»* — Цитата из кн. «Послание к неизвестному против лютеров. Творение Парфения уродивого, писателя XVI века». СПб., 1886, стр. 2. Книга имеется в *ЛБГ*.

С т р. 415. *Шалопуты* (шелапуты) — секта, родственная мистической секте хлыстов; возникла в 60-х годах XIX века.

С т р. 415. *Штунда* (от нем. Stunde — час для чтения Библии) — название секты, близкой к лютеранству; в дальнейшем соединилась с баптизмом. Штундисты отрицали официальную церковь и духовенство; главной формой религиозной жизни считали чтение Библии, особенно Нового завета.

С т р. 416. *Богомилы* — последователи христианской ереси, зародившейся в X веке в Болгарии и распространившейся в странах Западной и Восточной Европы; богомильство — источник многих позднейших еретических и сектантских движений. Богомилы учили, что бог породил двух сынов — Сатанаила (восставший и падший ангел, начало зла, творец материального мира) и Логоса (духовное начало мира, Христос). Богомильство требовало аскетической жизни и призывало к неподчинению мирским властям.

С т р. 416. *...камо бегу от вас?* — Псалтырь, псалом 138, стих 7.

С т р. 416. *Вон у хлыстов...*— Хлыстовство — мистическая секта, возникшая в России во второй половине XVII — начале XVIII веков. Хлысты противопоставляли внешней обрядовости и «букве» церковной книги истинную, «духовную» церковь. По представлениям хлыстов, «святой дух» может воплощаться в наиболее «праведных» людях, становящихся после этого «Христами» или «богородицами».

С т р. 416. *...наставник Данило ∽ ни старые, ни новые книги не нужны, собрал их в куль да — в воду!* — «Основателем хлыстовщины считается крестьянин Юрьевецкого уезда Костромской губернии Данило Филиппович (ок. 1600—1700), отданный в сол-

даты и бежавший с военной службы. По сказанию хлыстов, он был беспоповец и имел много старых книг; объявивши народу, что ни старые, ни новые книги не ведут ко спасению, он те и другие собрал в один куль и бросил в Волгу» («История русских мистических и рационалистических сект, магистра богословия Сергия Маргаритова». Симферополь, 1914, стр. 16; книга имеется в *ЛБГ*).

Стр. 416—417. *...Алексаша ☞ Александра Васильев...*— По свидетельству Горького, сектант-бегун, которого он в юности видел в иконописной лавке,— это П. В. Рябинин, беглый каторжник, в сектантстве принявший имя Александра Васильевича. За год до смерти Горький передал В. А. Десницкому конверт с заметками для задуманного романа «О российском Жане Вальжане», а также газетной вырезкой, в которой рассказывалась история П. В. Рябинина и сообщалось о его дальнейшей судьбе; после многолетних розысков полиция опознала в Александре Васильевиче беглого каторжника; он был арестован и умер в тюрьме до суда (см. т. XI наст. изд., стр. 599).

Стр. 418. *...«Господи, Владыко живота моего...»* — Великопостная молитва Ефрема Сирина (Молитвослов, стр. 103).

Стр. 418. *...отца-мать брось, указано ☞ и даже око, соблазняющее тебя,— вырви!*—Евангелие от Матфея, гл. 10, стих 35, и гл. 18, стих 9.

Стр. 419. *Ну — трегубая аллилуйя, ну — сугубая...*— Речь идет об одном из спорных вопросов церковной обрядовости, породивших (наряду с вопросом об исправлении богослужебных текстов) раскол (см. примеч. к стр. 401). Старообрядцы стояли за то, чтобы при богослужении произносить «аллилуйя» два раза (сугубая аллилуйя), Никон ввел «трегубую аллилуйю» (аналогичен спор о двоеперстии и троеперстии). Эти реплики характеризуют Александра Васильевича как сектанта-бегуна, отрицательно относящегося и к официальной церкви и к старообрядчеству. *Аллилуйя* (др. евр.) — «хвалите господа», припев в христианском богослужении.

Стр. 419. *Бегуны, или странники* — разновидность «нетовщины» (см. примеч. к стр. 415); иногда рассматривается как самостоятельная секта. Проповедовали духовное «странничество», «бегство» от общества; уклонялись от гражданских повинностей, военной службы, платежа податей, не признавали паспортов. В приволжских губерниях это движение было особенно распространено. Секта странников «по духу своему крайне неприязненна в отношении к православной отечественной церкви и к самому государству» (цит. по рукописи В. Жаковой «Из истории Нижнего Новгорода», редактированной М. Горьким.— Архив А. М. Горького, Рав-п-19-4-2).

Стр. 420. *Палех, Холуй, Мстёра* — села Владимирской губернии, старинные центры иконописания.

Стр. 421. *Симеон Столпник* — христианский подвижник-аскет, живший, по преданию, в начале V века вблизи Антиохии.

Стр. 423. *Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых...*— цыганская

песня «Запрягу я тройку борзых». См. «Чудный месяц». Новейший песенник. Изд. Е. И. Коноваловой. М., 1895, стр. 45—46.

С т р. 424. «*Уж как под лесом-лесочком*» — вариант хороводной русской песни. См. «Сказания русского народа», собранные И. Сахаровым, т. 1, кн. 3, изд. 3. СПб., 1841, стр. 51.

С т р. 424. «*Как поехал наш Лександра*» — одна из народных песен, появившихся в связи со смертью Александра I в 1825 г. (см.: «Песни», собранные П. В. Киреевским, вып. 10. М., 1874, стр. 197, 198).

С т р. 424. «*Хвалите имя господне...*» — молитвенное песнопение — полиелей (Молитвослов, стр. 50).

С т р. 425. *...по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой.*— По-византийски — в традициях древнего иконописания. С конца XV века эти традиции осложняются влияниями западноевропейской живописи (писать «по-фряжски»), позднее — искусства итальянского Возрождения. Проникновение начал светской живописи в древнее иконописание вызывало протест поборников старины (см. реплику начетчика на стр. 403: «Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне — художество одно...»).

С т р. 425. *Феодоровская, Смоленская, Казанская* — иконы с изображением богоматери, считавшиеся «чудотворными».

С т р. 425. *Связали нас подлиннички эти...*— Подлинники — особые руководства, которым должен был следовать иконописец: сборники образцовых рисунков и «толковые», технические наставления. Подлинники давали очень строгие указания: так, одежда того или иного святого должна была быть определенного цвета, который не мог изменить иконописец.

С т р. 425. *...не в овчине писать, а с крыльями...*— Иоанн Креститель (Предтеча) на иконах обычно изображался, согласно евангельскому рассказу, в овчинной или козьей шкуре; иногда изображался крылатым. В Художественном музее г. Горького хранится «Иоанн Предтеча Крылатый» — икона начала XVI века из Борисоглебской церкви г. Балахны.

С т р. 426. *Кунгур* — уездный город бывшей Пермской губернии.

С т р. 431. *Павел Одинцов* — См. примеч. к стр. 437.

С т р. 432. *...сказано: «человек создан по образу и подобию божию»...* — Библия, Бытие, гл. 1, стихи 26 и 27.

С т р. 432. *Взгляни: вот женщины прекрасной...*— Неточная цитата из стихотворения Бенедиктова «Бездна» (1838). В оригинале:

Взгляни, как высится прекрасно
Младой прельстительницы грудь!

С т р. 434. *Голицинский*, А. П.— автор рассказов из народного быта и «Очерков из фабричной жизни» (1861).

С т р. 434. «*Иван Выжигин*» — нравоописательно-дидактический роман Ф. В. Булгарина (1789—1859), реакционного журналиста, сочинителя мещанской беллетристики.

С т р. 434. *Барон Брамбеус* — литературный псевдоним

О. И. Сенковского (1800—1858), журналиста и писателя, а также ученого-востоковеда, автора бытовых и «восточных», экзотических повестей.

С т р. 435. *...Кочующие караваны...*— Из поэмы Лермонтова «Демон» (ч. 1).

С т р. 436. *Иов — раб, а господь сам говорил с ним!* — Иов— библейский праведник, герой одной из книг Ветхого завета. А. Е. Богданович в своих воспоминаниях передает слова Горького: «Особенно я люблю „Книгу Иова“ ⟨...⟩ в его ламентациях великолепна критика устройства мира, ну, и ответ бога красиво составлен, хотя неоснователен и неубедителен» (*ВН*, стр. 73).

С т р. 436. *Мой-сей, значит — богов человек.*— Своеобразная народная этимология имени библейского пророка. В Библии имя Моисей означает: взятый из воды (Библия, Исход, гл. 2, стих 10).

С т р. 437. *Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер...*— О более поздних встречах Горького с Одинцовым см. в воспоминаниях А. Е. Богдановича: «Между прочим, на Ильинке навещал А. М. его старый товарищ по малярной выучке, который, видимо, много дальше пошел в своем ремесле, сделавшись форменным живописцем. По крайней мере, он написал на мраморной досочке масляными красками свой портрет, весьма похожий, который долго лежал на письменном столе А. М., заменяя пресс-папье» (*ВН*, стр. 96). Сохранились письма Одинцова Горькому, относящиеся к 1900—1902 годам (см.: *Г и его время*, стр. 579—581).

С т р. 440. *...легенда о китайском чёрте...*— См.: Р. З о т о в. Цып Киу-Тонг, или Три добрые дела Духа тьмы. Фантастический роман в 4-х частях. СПб., 1840. В *ЛБГ* хранятся 3-я и 4-я части этого издания, а также часть 1-я второго издания (М., 1858). В романе рассказывается о тщетных попытках падшего ангела делать на земле не зло, а добро.

С т р. 441. *...на иордани.*— По библейскому преданию, Христос крестился в реке Иордан. В православном обиходе «иордань» — место на реке или озере, где в день Крещения производится водосвятие. «Освященная» вода считалась целебной.

С т р. 441. *«Жизнь актера Яковлева».*— А. С. Яковлев (1773—1817) — знаменитый русский трагический актер. Его жизнеописание было составлено Р. М. Зотовым и издано без имени автора под титулом: «Описание жизни актера г-на Яковлева». СПб., 1817.

С т р. 441. *Мария Стюарт* — шотландская королева, казненная в 1587 г. после 18-летнего заточения английской королевой Елизаветой; героиня одноименной трагедии Шиллера.

С т р. 441. *...восхищался «Испанским дворянином».*— «Испанский дворянин» — пьеса в 5 действиях с куплетами. Переделка с франц. (драмы Д'Эннери и Дюмануара) К. А. Тарновского и М. Н. Лонгинова. М., 1858. «Испанский дворянин» был популярен в репертуаре русских провинциальных театров. *Дон*

Сезар де Базан — герой этой пьесы, написанной по мотивам романтической драмы В. Гюго «Рюи Блаз» (1838, русск. пер.— 1868).

Стр. 444. *Без сожаленья, без участья...*— Не вполне точная цитата из поэмы Лермонтова «Демон». У Лермонтова: «Смотреть на землю станешь ты...».

Стр. 448. *...на проталинах Арестантской площади...*— Так называли Сенную площадь, на которой находилось трехэтажное здание арестантских рот.

Стр. 448. *В день моих именин...* — 17 марта ст. ст.

Стр. 449. *...тринадцати годов от роду...*— Судя по документам, опубликованным биографами Горького, А. Пешков работал в мастерской Салабановой зимой 1882—83 годов; в день именин 17 марта 1883 г. ему было не 13, а 15 лет (*Г и его время*, стр. 577).

Стр. 452. «*Уложение о наказаниях уголовных*» — «Полный свод уголовных законов. Уложения о наказаниях, с включением текста статей свода законов». СПб., 1879.

Стр. 454. *...пророк Елисей, одинокий и мстительный.*— *Елисей*, ветхозаветный пророк-чудотворец, в наказание за отступничество и идолопоклонство истребил династию нечестивого Ахава в Израильском царстве (Библия. Четвертая книга царств, гл. 1—9).

Стр. 459. *...на фоминой...*— Вторая неделя после Пасхи.

Стр. 462. *Ружье Лебеля* — введено во французской армии с 1887 г.; называется по имени изобретателя Лебеля (1835—1881).

Стр. 463. *...главной линией к Старому собору ∽ Китайские ряды...*— Ежегодно весной территория ярмарки заливалась водой, передвижение возможно было только на лодках. А. Пешков с хозяином плыли от Главного ярмарочного дома (здание сохранилось до сих пор) в сторону центрального ярмарочного собора вдоль обводного Бетанкуровского канала. Центральный на ярмарке, Спасский собор построен по проекту знаменитого архитектора А. А. Монферрана — автора Исаакиевского собора в Петербурге. По обе стороны от собора располагались Китайские ряды, названные так по своей архитектуре; здесь торговали чаем, сахаром, бумагой.

Стр. 463. *...на белую мечеть...*— На Магометанской площади, в так называемой Азиатской части ярмарки, где торговали персы, армяне, бухарцы. Здание мечети построено архитектором Бетанкуром.

Стр. 464. «*Море синее, море бурное...*» — Песня на стихи И. И. Козлова (1779—1840); см. «Песенник, или Собрание избранных песен, романсов и водевильных куплетов», ч. 1. СПб., 1855, стр. 164—166.

Стр. 465. *...в кусты Мещерского озера...*— В заокской части Нижнего Новгорода, на Стрелке, севернее центральной территории Нижегородской ярмарки.

Стр. 465. *...один в красной рубахе...*— «При сплаве каравана сохранились обычаи далекой старины: так, до сих пор

караванный объезжал свои суда в особой лодке, называемой косной, лодка раскрашена, гребцы в красных рубашках» (*Путеводитель*, стр. 67).

Стр. 466. *Я с жадностью читаю ∽ книги этого порядка.*— Алеша Пешков прочел в то время: «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского; «Мертвые души» Н. В. Гоголя; «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского; «Смерть» и «Живые мощи» — рассказы из «Записок охотника» И. С. Тургенева; «Три смерти» — рассказ Л. Н. Толстого, а также роман «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Прочел он и «Знамения времени» (1869) — роман Д. Л. Мордовцева (1830—1905), «Хронику села Смурина» (1874) П. В. Засодимского-Вологдина (1843—1912), писателей народнического направления, роман «Шаг за шагом» (1870) И. В. Омулевского (псевд. писателя Федорова, 1836—1883), повествующего о «новых людях». Ср. позднейшее свидетельство в «Беседах о ремесле»: «Еще более соломенными и бумажными видел я фигурки Светлова, Стожарова, Володина и других „революционеров", которых паспех делали для „воспитания юношества" Омулевские, Мордовцевы, Засодимские» (*Г-30*, т. 25, стр. 305).

Стр. 467. *...большая компания: братья К., их сестры...*—По-видимому, Картиковские. Один из братьев — друг детства Горького И. А. Картиковский (1869—1931). В своих воспоминаниях Картиковский сообщает, что познакомился с Горьким в 1882 г., когда его «семья переехала на новую квартиру на Звездинскую улицу, или Звездин пруд», в дом Гогина (см. примеч. к стр. 258). О Горьком он пишет: «К писательству Максимыч имел большую страсть, исписывал целые вороха бумаги, но писал исключительно стихами». Здесь же Картиковский вспоминает одну из своих сестер — А. А. Янишевскую, которая хорошо знала «Максимыча» (см. *ВН*, стр. 13, 16, 17).

Стр. 468. *...табаку Лаферм ∽ гильз Викторсон...*— Товариществу «Лаферм» принадлежали Невская табачно-махорочная фабрика в Петербурге и табачные магазины. Викторсон — автор одной из систем гильзо-мундштучных станков, на которых изготовлялись папиросные гильзы в дореволюционной России.

Стр. 472. «*Искушение святого Антония*» — произведение Гюстава Флобера (последняя редакция 1874), написанное по мотивам жития христианского отшельника III — IV веков. Печаталось в извлечениях в «Еженедельном Новом времени», 1880, т. VII, №№ 91—94, 99.

Стр. 472. «*Мемуары Упилио Файмали...*» — См. примеч. к рассказу «В театре и цирке» в наст. томе, стр. 636.

Стр. 474. *Я в Мартыновской.*— Губернская земская больница, крупнейшая в Нижнем Новгороде (ныне — больница им. Семашко), на углу улиц Мартыновской (ныне — ул. Семашко) и Жуковской (ныне — ул. Минина).

Стр. 482. *...наказано богом — в поте лица ешь хлеб...*— Библия, Бытие, гл. 3, стих 19.

Стр. 486. «*Рече безумен в сердце своем: несть бог*» — Псалтырь, псалом 13, стих 1.

С т р. 487. *Петр «Плотничьей артели»* — герой рассказа А. Ф. Писемского.

С т р. 492. *Харламы* — очевидно, «горлопаны» (от глагола «харла́ть» — кричать, горланить).

С т р. 494. *Шестерка* — половой.

С т р. 494. *Года четыре спустя я встретил его в Царицыне...* — В Царицыне А. Пешков был поздней осенью 1888 г.

С т р. 497. *Касимов* — город на Оке (ныне — районный центр Рязанской области).

С т р. 499. *...в Миллионную улицу...*— Квартал в Нижнем Новгороде, где ютились бродяги, босяки, безработные, нищие и т. п., неподалеку от волжских пристаней и Нижнего базара (ныне — район Кожевенной ул. и Рыбного пер.). На «Миллионке» Горький впервые познакомился с жизнью босяков. Много лет спустя он вспоминал: «В Нижнем, в „Миллионке", среди „золотой роты", дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем...» (*Г-30*, т. 24, стр. 496).

С т р. 499. *...на спешных паузках...*— Паузки — перегрузка товара на мелководье с крупных судов на небольшое речное судно (паузок).

С т р. 505. *«Домового ли хоронят, / Ведьму ль замуж выдают?»* — Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы» (1830).

С т р. 506. *Эх, уж как пал туман...*— Народная песня,имеющая множество вариантов. Наиболее близкий—«Эх, уж как пал туман на поле чистое, / Пребольшой густой туман...» (см. в сб. «Полный песенник. Сборник новейших 1000 песен народных русских...» М., 1880, стр. 166).

С т р. 510. *Горе граду Ариилу* (Иерусалиму)...— Библия. Книга пророка Исайи, гл. 29, стих 1.

С т р. 510. *Екклезиаст* — книга Екклесиаста, одна из библейских книг, приписываемая царю Соломону.

С т р. 511. *...в Казанской академии...*— Казанская духовная академия, основана в Казани в 1723 г.

С т р. 511. *Памва Берында* (ум. 1632) — украинский ученый, филолог и поэт, автор словаря «Лексикон славенороссий, имен толкование...» (1627) и стихов духовного содержания.

С т р. 517. *Три лета прожил я «десятником» в мертвом городе...*— А. Пешков работал десятником с весны 1883 г. до осени 1884 г., т. е. два лета.

С т р. 521. *Мне только что минуло пятнадцать лет...*— В марте 1884 г. А. Пешкову исполнилось 16 лет.

С т р. 526. *...в один из трактиров Почаинского оврага...*— В районе Почаинского толкучего рынка, между Лыковой дамбой и Зеленским съездом, были расположены дешевые народные столовые и чайные.

С т р. 530. *Осенью этого года я уехал в Казань...*— Отъезд А. Пешкова из Нижнего в Казань состоялся в конце лета или осенью 1884 г.

II

MUSICA

(Стр. 533)

Впервые напечатано в переводе на итальянский язык в журнале «Primavera» («Весна»), 1911, № 1, стр. 3—11.

Русский текст произведения не обнаружен.

Печатается по тексту журнала «Primavera». Перевод для настоящего издания сделан Р. И. Хлодовским.

Можно предполагать, что «Musica» написана Горьким на Капри в октябре — ноябре 1910 г. По-видимому, осенью 1910 г. с Горьким на Капри встретились издатели выходившего в Риме журнала для юношества «Primavera» — братья Гвидо и Витторио Подрекка. Они попросили у Горького рассказ. В середине ноября писатель отправил в журнал свою фотографию и рассказ «Musica», переведенный на итальянский язык М. Ф. Андреевой. 20 ноября (3 декабря) 1910 г. братья Подрекка писали Горькому:

«Перед этим проявлением гениальности, уважения, любезности, которые мы увидели, получив Ваш подарок, состоящий не только из портрета, но и из рассказа для „Primavera", мы не в состоянии выразить наши чувства.

Признательность Вам мы навсегда сохраним в наших сердцах.

С большим удовольствием вспоминаем визит, который мы нанесли Вам на Капри, и надеемся иметь возможность повторить его. А Вы приедете в Рим?

Предполагаем, что „Primavera" выйдет к Новому году.

Просим Вас, светлый и дорогой друг, принять нашу самую горячую благодарность.

Привет Вам и Вашей синьоре, которая также была исключительно любезна» [1] (Архив А. М. Горького, КГ-ин-и-3-27-1).

«Musica» носит автобиографический характер. В основе рассказа — отдельные эпизоды детства писателя, получившие позднее отображение в повестях «Детство» и «В людях» (ср. в этом томе стр. 195—196, 198, 224, 279).

[1] Перевод с итальянского Е. М. Солоповича.

МУЗЫКА

(Стр. 548)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913, № 150, 30 июня.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф без заглавия (ХПГ-38-7-1) — *ЧА*.

Печатается по тексту газеты со следующими исправлениями по *ЧА:*

Стр. 550, строка 15: «косила глазом лошадь» вместо «косила глаза лошадь».

Стр. 553, строка 7: «Что ж вы» вместо «Что же вы».

Рассказ написан в 1913 г. на Капри. 18—19 июня (1—2 июля) 1913 г. Горький уведомлял И. П. Ладыжникова: «...посылаю два рассказа 〈„Едут“ и „Музыка“〉 для „Рус〈ского〉 слова“, перешлите, пожалуйста, их в редакцию сейчас же, очень прошу!» (*Архив $Г_{VII}$*, стр. 224).

В основу произведения положено реальное событие.

«В этом эскизе,— писал И. А. Груздев о „Музыке“,— еще нет того стиля автобиографической точности, какой мы встречаем в его повестях, но в беседе со мной Алексей Максимович подтвердил, что описанный в рассказе факт был с ним у 〈генерала〉 Познанского.

Изменен ряд деталей, его чин, возраст, время года, дочь пианистка сделана женой, под „поездкой в Ярославль“ нужно разуметь „поездку в Казань“ и т. д.» (*Г и его время*, 1948, стр. 529).

В ночь с 12 (24) на 13 (25) октября 1889 г. Горький был арестован и заключен в Нижегородскую тюрьму (16/28 октября «заключение под стражу» было заменено «особым надзором полиции по месту жительства»). Он обвинялся в укрывательстве бывшего ссыльного С. Сомова, с которым проживал на одной квартире. Дело вел начальник Нижегородского жандармского управления генерал-майор Познанский.

О том, как допрашивал его Познанский, Горький рассказал в произведении «Время Короленко» (см. в наст. изд. т. XVI).

С т р. 549. *Пора вам прекратить это соловецкое сиденье.*— Выражение «соловецкое сиденье» связано с социальной борьбой второй половины XVII века. Соловецкий монастырь, богатейший на русском севере, отказался повиноваться двум церковным соборам (1666 г. и 1666—1667 гг.), одобрившим и утвердившим реформы патриарха Никона и решительно осудившим ревнителей «старой веры». В Соловки было послано войско, но монастырь затворился и оказал вооруженное сопротивление. Оборона монастыря — «соловецкое сидение» — была настолько упорной, что царское войско в течение восьми лет, с 1668 по 1676 г., вынуждено было осаждать монастырь. Когда он был взят, правительство учинило жестокую расправу над восставшими монахами и монастырскими крестьянами.

В ТЕАТРЕ И ЦИРКЕ

(Стр. 554)

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1914, № 297, 25 декабря, с примечанием от редакции: «Глава из нового произведения М. Горького „В людях“, которое будет напечатано в 1915 г. в „Русском слове“».

Печатается по тексту газеты с исправлением (по смыслу): «жестокая душа» (стр. 556, строка 3) вместо «жесткая душа».

Первоначально входило в повесть «В людях», о чем свидетельствует переписка Горького с издателем газеты «Русское слово» И. Д. Сытиным. 12 (25) декабря 1914 г. Сытин телеграфировал Горькому в Мустамяки (Финляндия): «Очень прошу прислать рассказ на Рождество к 18 или разрешить напечатать в рождественском номере из Вашего произведения „В людях“ одну главу, представляющую самостоятельный интерес. Благоволите сказать, что именно взять. Телеграфируйте» (Архив А. М. Горького, КГ-п-74-11-5). Не получив ответа, Сытин 14 (27) декабря снова телеграфировал Горькому: «Если возможно, разрешите напечатать ⟨в⟩ праздничном номере ⟨из⟩ 19 гл⟨авы⟩ 286—291 ст⟨раницы⟩ включительно. Дайте заглавие. Сердечный привет» (там же, КГ-п-74-11-6).

Горький ответил согласием: «Печатайте, начиная словами „Я — статист“. Для рассказа не было времени. Сегодня только вернулся домой» (там же, ПГ-рл-42-12-11).

Текст «В людях», на который ссылается Сытин в телеграмме, сохранился в Архиве А. М. Горького (ХПГ-3-1-1). Из XIX главы с середины 286 страницы по 291 страницу изъят машинописный текст и рукою Горького написано новое продолжение главы.

В таком виде, без включения эскиза «В театре и цирке», и печаталась повесть «В людях».

Позднее некоторые впечатления, отразившиеся в данном произведении (фигура английского клоуна), были также использованы Горьким в рассказе «Клоун» (см. в наст. изд. т. XIV, стр. 464).

«В театре и цирке» — произведение автобиографическое. Летом 1883 г. будущий писатель поступил в Нижегородский ярмарочный театр статистом. Но закулисная жизнь произвела на пятнадцатилетнего юношу такое тяжелое впечатление, что он вскоре ушел из театра. Новым его увлечением стал цирк, и впоследствии Горький с большой теплотой вспоминал артистов цирка. В ответ на просьбу И. А. Груздева рассказать о своем увлечении цирком он писал 13 сентября 1926 г. из Сорренто: «С цирковыми артистами познакомился в Казани же через конюхов, которым помогал чистить конюшни. Затем — в Нижнем, на ярмарке. С Акимом Никитиным ⟨владельцем цирка⟩ был в дружбе, обожал клоунов бр⟨атьев⟩ Джеретти, наездника Нони Бедини и вообще — итальянцев» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 80).

Сохранилось полученное 20 января 1915 г. редакцией «Русского слова» письмо артистов цирка:

«В номере Вашей уважаемой газеты от 25 декабря 1914 года,— писал по поручению артистов Николай Никитин,— был помещен отрывок нового произведения Максима Горького „В людях“.

Эти строки — воспоминаний ребенка о цирке — явились для нас, цирковых артистов, милым праздничным подарком.

Не откажите, м. г., поместить на страницах Вашей газеты прилагаемую статью „Нечаянная радость“, которая является нашей посильной благодарностью многоуважаемому Алексею Максимовичу».

К письму приложен текст этой статьи, которая в «Русском слове» не была напечатана. В ней есть такие строки: «Мы бесконечно благодарны Вам, Алексей Максимович; мы, „циркачи“, будем ждать новых страниц, которые составят повествование „В людях“. И, может быть, не одно теплое слово тех страниц придется на долю нас, театральных париев» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-19-46-1).

С т р. 554. «*Христофор Колумб*» — «Христофор Колумб, или Открытие Америки». Пьеса шла в Нижегородском ярмарочном театре. Еще в 1878 г. в «Нижегородском биржевом листке» сообщалось: «В большом каменном ярмарочном театре артистами драматической труппы под управлением П. М. Медведева во вторник, 15 августа, представлено будет в первый раз „Христофор Кулумб, или Открытие Америки“. Драма в 5 действиях, с прологом, в прозе и стихах, с хорами и танцами, соч. Листепе и Борре, пер. с франц. А. Соколова...» («Нижегородский биржевой листок», 1878, № 82, 15 августа).

Известный актер В. Н. Давыдов, вспоминая о своей игре на провинциальной сцене, писал: «Играли мы 〈...〉 оперетку, и Островского, и водевили, и обстановочные мелодрамы, вроде „Две сиротки“, „Хижина дяди Тома“, „Христофор Колумб“» (В. Н. Давыдов. Рассказ о прошлом. М.— Л., 1931, стр. 334).

С т р. 554. ...*книжка Прескотта*...— Уильям Хиклинг Прескотт (1796—1859) — американский историк, автор работ по истории Испании и испанских завоеваний в Америке. По-видимому, речь идет о его книге: «История царствования Филиппа Второго, короля испанского», части 1—2. СПб., 1858.

С т р. 554. *Я читал Майн-Рида, Эмара*...— В последней четверти XIX и в начале XX века романы английского писателя Майн-Рида (1818—1883) и французского писателя Гюстава Эмара (псевдоним; наст. имя Оливье Глу; 1818—1883) приобрели огромную популярность в России (см. примеч. к стр. 354). Шаляпин в детстве зачитывался Майн-Ридом (см.: сб. «Федор Иванович Шаляпин», т. 1, 1957, стр. 54—55). Увлекался в отроческие годы Майн-Ридом и Горький; увлекался он и Густавом Эмаром (см.: *ВН*, стр. 17). Герой ряда романов Эмара — благородный индейский вождь Курумилла упоминается в «Записках доктора Рыхина» (наст. изд., т. X, стр. 667).

С т р. 555. *Андреев-Бурлак* — В. Н. Андреев-Бурлак (1843—1888), драматический актер; выступал главным образом в городах Поволжья. В 1882 г. организовал «1-е товарищество русских актеров». 29 апреля 1883 г. Пешков смотрел в городском театре Нижнего Новгорода в постановке «Московского драматического товарищества» спектакль «Иудушка», о котором в театральном обозрении «Нижегородского биржевого листка» 1 мая 1883 г. сообщалось: «В пятницу 〈...〉 был дан первый спектакль под управлением г. Андреева-Бурлака; представлено было „Иудушка", комедия в 5 действиях, составленная из сатиры М. Е. Щедрина „Господа Головлевы"». Хроника Щедрина была инсценирована Н. Н. Куликовым в 1880 г. и шла с большим успехом в Москве и провинции. В письме Н. В. Яковлеву от 30 сентября 1934 г. Горький писал: «„Господ Головлевых" 〈...〉 особенно оценил после того, как увидал Андреева-Бурлака в роли Иудушки...» (*Г-30*, т. 30, стр. 359).

С т р. 556. *...читая книгу о Федоре Карамазове.*— Имеется в виду роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879—1880).

С т р. 556. *...как братья Земганно...*— См. примеч. к стр. 356.

С т р. 558. *...проходя по мосту через Оку...*— Плашкоутный мост в Нижнем Новгороде.

С т р. 558. *...на горе, около церкви Успения.*— См. примеч. к стр. 23.

С т р. 558. *Он смотрел на ярмарку, клином врезанную между двух рек...*— См. примеч. к стр. 31.

С т р. 559. *...книгу Гонкура...*— См. примеч. к стр. 356.

С т р. 559. *...мемуары Файмали...*— Упилио Ф а й м а л и. «Мемуары укротителя диких зверей», собранные Павлом Мантегацца, профессором антропологии во Флоренции («Еженедельное новое время», 1880, т. 6, №№ 75, 77, 78; т. 7, №№ 79, 80, 82).

ТЕАТРАЛЬНОЕ

(Стр. 560)

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1915, № 357, 25 декабря под заглавием «В театре. (Отрывок из повести „В людях")» Максима Горького.

В Архиве А. М. Горького хранится вырезанный из газеты текст с авторской правкой; в частности, здесь произведению дано другое название — «Театральное» (ХПГ-46-27-1).

Печатается по тексту вырезки из «Киевской мысли».

«Театральное» представляет собой вариант произведения «В театре и цирке».

С т р. 563. *Где же Кин?* — Речь идет о герое пьесы А. Дюма-отца «Кин, или Беспутство и гений» (СПб., пер. П. Вейнберга,

1877), посвященной жизни и творчеству английского актера-романтика Эдмунда Кина (1787—1833). В «Нижегородском биржевом листке» 1 августа 1883 г. сообщалось: «Понедельник 1 августа. Большой ярмарочный театр ⟨...⟩ русскими артистами под управлением М. В. Л⟨ентовского⟩ представлено будет в 1-й раз „Кин, или Беспутство и гений“. Комедия в 4-х действиях и 5 картинах, соч. А. Дюма».

С т р. 563. *Я — страдала...*— Ср. текст песни: Я страдала, страданула,/ С баржи в реку стриганула,/Стриганула поневоле,/ От несчастной от любови (сб. «Сказки, рассказы, песни Горьковской области». Горький, 1956, стр. 206).

С т р. 564. *...несчастный актер Яковлев...*— Видимо, речь идет о герое пьесы Н. И. Куликова «Актер Яковлев» (1859).

С т р. 564. *Несчастливцев* — персонаж пьесы А. Н. Островского «Лес» (1871).

С т р. 564. *Дон Сезар де Базан* — См. примеч. к стр. 441.

С т р. 564. *Карл Моор* — персонаж драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

С т р. 564. *Квазимодо* — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

С т р. 564. *А благороднейший отец, только что оплакав на сцене свою несчастную дочь...*— По-видимому, речь идет о последней сцене из драмы Шиллера «Коварство и любовь» (1784), когда музыкант Миллер оплакивает свою отравившуюся дочь Луизу. Драма шла в Нижегородском ярмарочном театре 30 июля 1883 г. («Нижегородский биржевой листок», 1883, № 173, 2 августа).

С т р. 564. *Эсмеральда* — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

С т р. 564. *...актер Киселевский...*— И. П. Киселевский (1839—1898), русский актер; играл во многих городах. С 1879 г. входил в труппу Александринского театра. В июле — августе 1883 г. выступал в Нижегородском ярмарочном театре, играл в трагедиях Ф. Шиллера «Коварство и любовь», В. Шекспира «Отелло» и «Король Лир», в комедиях Н. Гоголя, А. Островского. 21 июля 1883 г. «Нижегородский биржевой листок» сообщал: «19 июля играли известную комедию Островского „Лес“ ⟨...⟩ Пальма первенства в этот спектакль принадлежит г. Киселевскому (Несчастливцев)».

С т р. 565. *Успеньев день* — 15 августа (ст. ст.), день смерти «богородицы».

С т р. 565. *«Каширская старина»* — пьеса Д. В. Аверкиева (1872); шла в Нижегородском ярмарочном театре 18 июля 1833 г., но В. Н. Андреев-Бурлак в ней не участвовал (см.: «Нижегородский биржевой листок», 1883, № 163, 21 июля). Возможно, Горький имел в виду участие Андреева-Бурлака в пьесе Аверкиева «Фрол Скобеев», которая шла в ярмарочном театре 22 августа 1882 г. (там же, 1882, № 188, 22 августа). «Каширская старина» шла 19 августа 1882 г., но с участием М. Стрельского (там же, 1882, № 185, 19 августа).

С т р. 565. *Пески* — См. примеч. к стр. 197.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Париж, 1912 г. 4

«Детство». Страница печатного текста с правкой М. Горького для издательства «Жизнь и знание» 17

«Детство». Вопросы редактора и ответы М. Горького 139

«В людях». Стихи о граде Китеже. Автограф 273

«В людях». Машинописная страница с правкой М. Горького 299

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
I		
Детство	7	572
В людях	211	600
II		
Musica	533	632
Музыка	548	633
В театре и цирке	554	634
Театральное	560	636
ПРИМЕЧАНИЯ	567—637	
Условные сокращения	569	
Вступительная заметка	571	
Список иллюстраций	638	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили
И. А. Бочарова и *Т. Б. Дмитриева*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор пятнадцатого тома *В. М. Озеров*

*

Редакторы издательства
А. И. Корчагин и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 27/III 1972 г. Подписано к печати 11/IX 1972 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 32,8
Уч.-изд. л. 34,5. Тираж 298 500 экз.
Тип. зак. № 2826
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука» 103717 ГСП,
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Москва, М-54, Валовая, 28

Ф 50 к

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»